

## Вальтер Скотт Ламмермурская невеста

### Глава I

*Тот бедняк, кто малеваньем  
Добывает пропитанье,  
Всем капризам и желаньям  
Должен угождать  
Старинная песня<sup>1</sup>*

Мало кого посвятил я в свою тайну: мало кто знал о том, что я сочиняю повести, и, надо полагать, повести эти едва ли увидят свет при жизни их автора. Но если бы даже их напечатали, я не стал бы стремиться к известности, *digito monstrari*.<sup>2</sup> А если бы я все же лелеял такую опасную надежду, то, признаться, предпочел бы, подобно искусному кукольнику, разыгрывающему перед зрителями веселую историю Панча и супруги его Джоан, сдаваться за ширмами и, невидимый, наслаждаться изумлением и сметливостью моей публики. Тогда, быть может, я услышал бы, как знатоки с похвалою отзываются о сочинениях никому неведомого Питера Петтисона, а люди чувствительные приходят от них в восторг; я узнал бы, что молодежь зачитывается моими повестями и что даже старики не обходят их своим вниманием; что критики спешат приписать их какому-нибудь прославленному имени, а в литературных кружках и салонах только и разговору, кто и когда сочинил эти повести. Но вряд ли мне суждено такое счастье при жизни, на большее же мне, безусловно, нечего рассчитывать.

Я слишком закоснел в своих привычках, слишком мало знаком со светским обхождением, чтобы притязать или надеяться на почести, воздаваемые моим знаменитым собратом по перу. К тому же вряд ли я возвысился бы в собственном мнении, когда б меня сочли достойным занять на один сезон место среди знаменитых «пльвов» нашей великой столицы. Я не сумел бы вскакивать, поворачиваться к публике, выставляя напоказ все свои прелести, от косматой гривы до украшенного кисточкой хвоста, «рычать, что твой соловушко», и снова опускаться на брюхо, как то подобает благовоспитанному питомцу балагана, – и все это за несчастную чашку кофе и жалкий ломтик хлеба с маслом, не толще облатки. Я не смог бы переварить грубую лесть, которую в таких случаях хозяйка дома расточает своему зверинцу, что она делает с таким же усердием, с каким пичкает леденцами попугаев, чтобы заставить их болтать при гостях. Я не смог бы ради подобного признания заставить себя ходить на задних лапах и, не будь у меня иного выбора, предпочел бы, как пленный Самсон, всю жизнь вертеть жернова, нежели развлекать филистимлянских дам и вельмож, и не из-за какой-то там неприязни – подлинной или напускной – к нашей аристократии: они занимают в свете свое место, а я свое, и доведись нам столкнуться, как это случилось в старинной басне о чугунном и глиняном горшках, то худо пришлось бы мне. Иное дело эти страницы. Читая их с удовольствием, великие мира сего не возбудят в душе их автора пустых надежд, а выказав к ним пренебрежение или хулу, не причинят ему страданий, а между тем при личном общении с теми, кто трудится для его развлечения, вельможе редко удается избежать того или другого.

Лучше и мудрее меня эти чувства выражены в словах Овидия, которые я охотно предпослал бы этим страницам:

*Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem.*<sup>3</sup>

Правда, прославленный изгнанник тут же опровергает эту мысль, но я не могу с ним согласиться и не разделяю его печали о том, что он не может собственной персоной сопровождать свою книгу на ярмарку, где торгуют литературой, роскошью и наслаждениями. И если бы даже не было известно множества подобных примеров, достаточно одной истории моего бедного друга и

<sup>1</sup> Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены Ю. Левиным.

<sup>2</sup> Чтобы на меня показывали пальцем (лат.).

<sup>3</sup> Не завидует тебе, книжка-малютка, что без меня ты отправишься в город (лат.).

школьного товарища Дика Тинто, чтобы удержать меня от желания искать счастья в славе, выпадающей на долю тех, кто успешно трудится на ниве искусства.

Называя себя художником, Дик Тинто обычно не забывал упомянуть, что происходит от древнего рода Тинто из Ланаркшира, а при случае намекал, что в известной степени роняет свое достоинство, добывая средства к жизни карандашом и кистью. Но если только Дик ничего не напутал в своей родословной, то кой-кому из его предков доводилось падать еще ниже, ибо добрый его родитель был портным в селении Лангдирдуме, в западной части Англии, – занятие полезное и, несомненно, честное, но, уж конечно, не аристократическое. Дик родился под скромной кровлей портного и, вопреки собственному желанию, с детства был определен учиться этому скромному ремеслу. Однако старому Тинто не пришлось радоваться победе, одержанной над врожденными склонностями сына. Старик поступил как школьник, который пытается заткнуть пальцем фонтан: разъяренная воздвигнутой преградой, струя вырывается наружу и обдаёт беднягу с головы до ног тысячами брызг. То же произошло и с Тинто-старшим. Мало того, что его многообещающий сынок извел весь мел, упражняясь в рисовании на портняжном столе, он к тому же принялся малевать карикатуры на самых достойных заказчиков отца. Те возроптали и заявили, что не станут терпеть, чтобы отец превращал их в уродов, а сын делал из них посмешище. Видя, что ему грозят позор и разорение, старик портной покорился судьбе и, вняв мольбам Дика, разрешил ему попытаться счастья на ином поприще, более соответствовавшем его наклонностям.

Как раз в ту пору проживал в Лангдирдуме некий странствующий служитель муз, занимавшийся своим искусством *sub Jove frigido*<sup>4</sup> и покоровший сердца всех местных мальчишек, в особенности же Дика Тинто. В те времена еще не вошло в обычай наводить на все экономию и, в числе прочих недостойных ограничений, заменять сухой надписью символическое изображение ремесла, преграждая тем самым художникам дорогу к доселе всегда открытому и доступному источнику совершенствования и доходов. Тогда еще не разрешалось писать на оштукатуренной притолоке у входа в трактир или на вывеске над дверью гостиницы: «Старая сорока» или «Голова сарацина», заменяя бесстрастными словами живой образ пернатой болтуни или кривой оскал страшного турка в тюрбане. В те далекие и простые времена умели уважать нужды всех сословий и писали трактирные вывески – эти эмблемы веселья – с таким расчетом, чтобы они были понятны каждому, без различия положения и звания, не забывая, что иной бедняк, не умеющий сложить и двух слогов, может любить кружку доброго эля не меньше, чем его грамотеи соседи или даже сам пастор. Руководствуясь столь либеральными правилами, трактирщики заявляли о своем промысле красочными символами, и художники если и не жили в роскоши, то по крайней мере не умирали с голоду.

Итак, Дик Тинто поступил в учение к достойному представителю этой, как мы говорили, пришедшей в упадок профессии и, как это нередко случается со многими гениями в этой области, начал писать красками, еще не имея понятия о том, что такое рисунок.

Врожденная наблюдательность вскоре помогла ему избавиться от ошибок своего учителя и обходиться без его наставлений. Особенно хорошо Дик рисовал лошадей, которых так любили изображать на вывесках в шотландских деревнях; проследившая путь молодого художника, отрадно видеть, как мало-помалу он научился укорачивать спины и удлинять ноги этим благородным животным, отчего они становились меньше похожими на крокодилов и больше – на самих себя. Клеветники, всегда готовые преследовать талант с рвением, пропорциональным его успехам, распустили слухи, что Дик однажды изобразил лошадь о пяти ногах вместо четырех. В его оправдание я мог бы сослаться на то, что художники пользуются свободой создавать любые, даже необычные и не правильные, сочетания, а поэтому нет ничего недозволенного в том, чтобы пририсовать излюбленному предмету изображения одну конечность сверх положенных. Но я свято чту память моего покойного друга, и мне не по душе столь малообоснованная защита.

Я видел вышеупомянутую вывеску, еще и поныне красующуюся в Лангдирдуме, и готов поклясться, что предмет, который по ошибке или по недоразумению был принят за пятую ногу, на самом деле есть не что иное, как хвост, и эта деталь, принимая во внимание позу, в которой изоб-

---

<sup>4</sup> Под холодным небом (лат.).

ражено благородное парнокопытное, введена и выполнена с величайшим искусством и смелостью. Конь поднят на дыбы, и хвост, доходя до земли, словно образует *point d'appui*,<sup>5</sup> придавая всей фигуре устойчивость треножника; не будь этого, осталось бы непонятным, каким образом всаднику удается удерживать лошадь в таком положении и при этом не перекувырнуться.

По счастью, дерзновенное творение попало в руки человека, сумевшего оценить его по достоинству, и, когда Дик, поднявшись на новую ступень совершенства, усомнился, прилично ли ему столь дерзко отступать от принятых в искусстве правил, и пожелал изъять это юношеское произведение, предложив взамен владельцу написать его портрет, рассудительный трактирщик отклонил это любезное предложение, заявив, что всякий раз, когда его эль не способен развеселить посетителей, им стоит взглянуть на вывеску, чтобы тотчас прийти в хорошее расположение духа.

Я не ставлю себе здесь целью проследить шаг за шагом, как Дик совершенствовал свое мастерство и с помощью правил умерял излишнюю пылкость воображения. Когда он увидел картины своего современника, шотландского Тенирса, как тогда заслуженно называли Уилки, с его глаз спала пелена. Он бросил кисть, взялся за мелки и, невзирая на голод и тяжкий труд, безвестность и неуверенность в завтрашнем дне, продолжал идти по избранному пути, постигая искусство живописи под руководством учителей, лучших, чем его первый наставник. Тем не менее первые неумелые опыты гениального художника (подобно детским стихам Попа, если бы их можно было разыскать) навсегда останутся дороги друзьям его юности. Так, над дверью маленькой харчевни, расположенной в глухом переулке в Гэндерклю, сохранились чан и рашпер, нарисованные Диком Тинто... Но я чувствую, что пора расстаться с этой темой, ибо я могу говорить о моем друге бесконечно.

Живя в нужде и ведя постоянную борьбу за существование, художник прибегнул к средству, обычному среди его собратьев по кисти: не будучи в силах обложить данью вкус и щедрость, он принялся взимать ее с людского тщеславия – одним словом, пустился писать портреты. И вот после того как многие годы мы ничего не знали друг о друге, в ту пору, когда Дик достиг уже значительных успехов и, высоко поднявшись над первоначальными своими опытами – трактирными вывесками, – не выносил даже намека на них, мы снова встретились в селении Гэндерклю, где я занимал нынешнюю свою должность, а Дик изготовлял копии с человеческих лиц, созданных всевышним по собственному образу и подобию, и брал по гинее за штуку. Это было, конечно, жалкое вознаграждение, но на первых порах его с избытком хватало, чтобы удовлетворить скромные потребности моего друга: Дик занял номер в гостинице «Уоллес» и, отпуская дерзкие шутки на счет ее обитателей, а порою не щадя даже самого хозяина, мирно жил, пользуясь уважением, равно как и услугами горничной, конюха и трактирного слуги.

Эти безмятежные дни были слишком хороши, чтобы длиться долго. Как только его милость лэрд Гэндерклю с супругою и тремя дочерьми, пастор, акцизный, мой достойный покровитель мистер Джедедия Клейшботэм и несколько богатых арендаторов и фермеров обеспечили себе бессмертие с помощью кисти Тинто, заказы почти совсем прекратились; что же до крестьян, которых тщеславие изредка приводило в мастерскую художника, то из их мозолистых рук обычно не удавалось вырвать больше кроны.

И все же, хотя горизонт заволокло тучами, буря пока еще не разразилась. Владелец гостиницы обходился по-христиански с постояльцем, исправно вносившим плату, куда водились деньги. Внезапное же появление в парадной зале семейного портрета во вкусе Рубенса, на котором сам хозяин красовался рядом с женой и дочерьми, свидетельствовало о том, что Дик нашел все же способ обменивать плоды искусства на необходимые средства к жизни.

Нет, однако, ничего ненадежнее источников такого рода. Теперь уже Дик, в свою очередь, сделался мишенью для насмешек хозяина, не смея при этом защищаться или платить ему тем же: мольберт был снесен на чердак, где его даже невозможно было поставить как следует, а сам Тинто перестал посещать еженедельные собрания в трактире, на которых прежде бывал душою общества.

---

<sup>5</sup> Точку опоры (франц.).

В конце концов друзья Дика Тинто стали опасаться, как бы он не уподобился животному, известному под названием ленивец, которое, истребив начисто все листья на приютившем его дереве, сваливается на землю и подыхает от голода. Я даже взял на себя смелость намекнуть Дику на грозящую ему опасность, советуя покинуть гостеприимные пределы, истощенные им дотла, чтобы использовать бесценный свой талант в каком-нибудь другом месте.

– Существует одно обстоятельство, мешающее мне уехать отсюда, – печально сказал мой друг, пожимая мне руку.

– Неоплаченный счет? – спросил я с искренним участием. – Если мои скромные средства смогут выручить тебя из беды...

– Нет, нет, – поспешил прервать меня благородный юноша, – клянусь душою сэра Джошуа, я не стану перекладывать на плечи друга бремя собственных неудач. У меня есть средство вернуть себе свободу; лучше уж выбраться через сточную трубу, чем оставаться в тюрьме.

Я так и не понял, что имел в виду мой приятель.

Муза живописи, по-видимому, обманула его ожидания. Какую же другую богиню собирался он призвать себе на помощь? Это оставалось для меня тайной.

Мы расстались, так и не объяснившись друг с другом, и увиделись только три дня спустя на прощальной трапезе, которую хозяин устроил для Дика по случаю его отъезда в Эдинбург.

Я застал Тинто в превосходном расположении духа: он насвистывал, укладывая в котомку краски, кисти, палитру и чистую рубашку. Внизу, в зале, нас ожидали холодная говядина и две кружки отличного портера, из чего я заключил, что Дик уезжает, не нарушив доброго согласия с хозяином. Признаться, любопытство мое было сильно возбуждено, и мне не терпелось узнать, каким образом дела моего друга так внезапно поправились. Я не мог заподозрить Дика в сообщничестве с дьяволом и терялся в догадках.

Он заметил мое нетерпение и, взяв за руку, сказал:

– Друг мой, я охотно скрыл бы даже от тебя унижение, через которое мне пришлось пройти, чтобы иметь возможность пристойно распрощаться с Гэндерклю. Но к чему пытаться скрыть то, что все равно обнаружится само собой! Все селение, весь приход, весь свет скоро увидят, на что толкнула бедность Ричарда Тинто.

Внезапная догадка вдруг осенила меня – я заметил, что в это памятное утро хозяин разгуливал по гостинице в совершенно новых бархатных панталонах, сменивших старые, заношенные штаны.

– Как! Ты снизошел до отцовского ремесла! – воскликнул я и, сложив щепотью пальцы правой руки, быстро провел ею от бедра к плечу, словно делая наметку. – Ты взялся за иглу? Эх, Дик!

В ответ на это нелепое предположение Дик только нахмурился и фыркнул, что означало у него крайнее возмущение, а пройдя со мной в другую комнату, указал на прислоненное к стене изображение величественной головы сэра Уильяма Уоллеса, столь же обратной, как в тот момент, когда ее сняли с плеч по приказу вероломного Эдуарда. Картина была написана на толстой доске, увенчанной железной скобой, и, по-видимому, предназначалась в качестве вывески.

– Вот, друг мой, – сказал Тинто. – Вот слава Шотландии и мой позор. Или, вернее, позор тех, кто вместо того, чтобы поощрять художников, помогая им служить искусству, толкает их на подобные недостойные и низкие поделки.

Я старался успокоить моего обиженного и возмущенного друга. Я напомнил ему, что не следует уподобляться оленю из известной басни, презирая талант, который вывел его из затруднения, тогда как другие его высокие качества портретиста и пейзажиста оказались бессильны ему помочь. Я особенно хвалил исполнение, равно как и замысел картины, уверяя, что он не только не покроет себя позором, представив на всеобщее обозрение столь совершенный образец таланта, но, напротив, приумножит свою славу.

– Ты прав, друг мой, ты бесконечно прав, – ответил Дик, обращая на меня восторженно горящий взгляд. – Зачем мне стыдиться звания... звания... (он искал нужное слово) уличного живописца. Разве Хогарт не изобразил себя в таком виде на одной из лучших своих гравюр? Доменикино или, возможно, кто-то другой – в былые времена, Морленд – в наши дни не гнушались работать в этом жанре. Где это сказано, что только богатые и знатные должны наслаждаться про-



изведениями искусства, тогда как они рассчитаны на все классы без изъятия. Статуи выставляют под открытым небом, так почему же, показывая свои шедевры, Живопись должна быть скареднее своей сестры Скульптуры? Однако, дорогой мой, нам пора прощаться! Сейчас придет плотник, чтобы повесить эту... эту эмблему, а, право, несмотря на все мои рассуждения и твои утешающие речи, я предпочел бы расстаться с Гэндерклю до того, как произойдет это событие.

Мы отведали угощения, предложенного нам добросердечным хозяином, и я пошел проводить Дика по дороге в Эдинбург. Мы простились в миле от селения в ту самую минуту, когда раздалось радостное «ура», – это мальчишки приветствовали водружение новой вывески с изображением головы Уоллеса. Дик Тинто прибавил шагу, чтобы скорее уйти подальше от веселых криков, – ни прежнее ремесло, ни недавние рассуждения не могли примирить его с ролью живописца, малюющего вывески.

В Эдинбурге талант Дика был замечен и оценен по заслугам. Несколько прославленных знатоков искусства удостоили его своими советами и приглашением на обед. Но господа эти оказались более щедрыми на советы, чем на деньги; по мнению же Дика, последние принесли бы ему больше пользы, нежели первые. Поэтому он избрал путь на Лондон, эту всемирную ярмарку талантов, где, однако же, всегда больше товару, чем покупателей.

Дик, за которым всерьез признавали недюжинные способности к живописи и чье самолюбие и сангвинический характер не позволяли ему усомниться в конечном успехе, ринулся в толпу тех, кто толкается и дерется из-за славы и чинов. Одних ему удавалось отпихнуть, другие отталкивали его. Наконец благодаря своему упорству он добился некоторой известности: писал картины на приз Общества, выставлялся в Соммерсет-хаузе и осыпал проклятиями учредительный комитет, но так и не одержал победы на избранном поприще, на котором сражался с таким бесстрашием. В изящных искусствах не существует середины между блистательным успехом и полным провалом, а так как рвение и усердие не помогли Дику обеспечить себе славу, он подвергся всем тем несчастьям, кои выпадают на долю безвестности. Некоторое время ему покровительствовали два-три знатока, почитавшие за доблесть слыть оригиналами и во всем идти наперекор мнению света, но вскоре художник наскучил им, и они бросили его, как балованное дитя бросает игрушку. Тогда злосчастье привязалось к нему и уже не отпускало его, сведя преждевременно в могилу. Смерть избавила Тинто от мрачной конуры, где он жил на Суоллоу-стрит, преследуемый дома за долги хозяйкой и подстерегаемый на улице судебными приставами. «Морнинг пост» уделила его памяти четверть столбца, великодушно заявив, что в манере живописца угадывался немалый талант, хотя в картинах его не было законченности. Тут же сообщалось, что известный торговец гравюрами мистер Варниш, располагая несколькими рисунками и эскизами Ричарда Тинто, эсквайра, приглашает знатных господ и других джентльменов, желающих пополнить свои собрания современной живописи, незамедлительно ознакомиться с ними. Так кончил свою жизнь Дик Тинто: прискорбное доказательство той непреложной истины, что искусство не терпит посредственности и что тому, кто не может вскарабкаться на вершину лестницы, уж лучше не ставить ногу даже на первую ступеньку.

Мне дороги воспоминания о Тинто, особенно же о наших беседах, в которых мы чаще всего обращались к предметам моих настоящих занятий. Дик радовался моим успехам и предлагал выпустить роскошное иллюстрированное издание с заставками, виньетками и *culs de lampe*,<sup>6</sup> выполненными его рукой, движимой дружескими чувствами к автору и любовью к родному краю. Он даже уговорил одного старого калеку, сержанта, позировать ему для Босуэла, сержанта лейб-гвардии Карла II, и стал писать гэндерклюского звонаря для портрета Дэвида Динса. Однако, предлагая объединить наши усилия, Дик высказал мне множество замечаний, примешивая немалую дозу здоровой критики к тем похвалам, которые мои сочинения нередко имели счастье снискать у читателя.

– Твои герои, любезный Петтисон, – говорил он, – слишком пустозвонят. Они слишком много трещат. (Изящные выражения, заимствованные Диком из лексикона странствующей труппы, для которой он писал декорации.) У тебя целые страницы заполнены болтовней и всякими диало-

---

<sup>6</sup> Концовками (франц.).

гами.

– Один древний философ любил повторять: «Говори, дабы я мог познать тебя», – возразил я, – и, мне кажется, нет более верного и сильного средства представить действующих лиц читателю, чем диалог, в котором каждый герой раскрывает присущие ему черты.

– Совершенно несправедливая мысль! – воскликнул Тинто. – Она столь же ненавистна мне, как пустая фляга. Я допускаю, что разговоры имеют какую-то ценность при общении людей между собой, и вовсе не придерживаюсь теории пифагорейского пьяницы, утверждавшего, что болтать за бутылкой – только портить добрую беседу. Но я не могу согласиться с тем, что писатель, желая убедить публику в правдивости изображаемого им события, передает его с помощью диалога. Напротив, я убежден, что большинство твоих, читателей – если повести эти когда-нибудь увидят свет – признает вместе со мной, что ты нередко заполняешь целую страницу разговорами в тех случаях, где хватило бы и двух слов; а между тем, изобразив точно и в должных красках позы, манеры и само событие, ты сохранил бы все ценное и избежал бы при этом бесконечных «он сказал», «она сказала», которыми пестрят твои произведения.

– Ты забываешь о различии, существующем между пером и кистью, – сказал я. – Живопись, это безмятежное и безмолвное искусство, как назвал ее один из лучших современных поэтов, по необходимости обращается к зрению, не располагая средствами взывать к слуху; поэзия же и все прочие родственные ей виды словесности вынуждены взывать к слуху, дабы вызвать интерес, который не могут пробудить с помощью зрения.

Мне не удалось поколебать мнение Тинто этими доводами, построенными, как он заявил, на ложной посылке.

– Для сочинителя романов, – заявил он, – описание – все равно что рисунок и колорит для живописца. Слова – те же краски, и если писатель употребляет их со знанием дела, то нет такой сцены, которой он не мог бы вызвать перед мысленным взором читателя с той же яркостью, с какой живописец представляет ее глазам зрителя на гравировальной доске или холсте. И тут и там одни и те же законы; чрезмерное же увлечение диалогом, этой многословной и утомительной формой, привело к смешению художественного повествования с драмой – совершенно иным видом литературного сочинения, в котором диалог действительно является основой, ибо, за исключением реплик, решительно все – костюмы, лица, движения актеров – обращено здесь к зрению. Нет ничего скучнее, чем длинный роман, написанный в форме драмы, – продолжал Дик, – и всякий раз, когда ты прерываешь повествование длинными разговорами, приближая его к этому жанру, оно становится холодным и неестественным; ты же утрачиваешь способность привлекать внимание читателя и возбуждать его воображение, что во всех иных случаях, мне кажется, тебе вполне удастся.

Я поклонился в благодарность за комплимент, сказанный, очевидно, с единственной целью – позолотить пилюлю, и тотчас изъявил готовность написать – во всяком случае, попытаться – роман в стиле, более согласном с вышеозначенными правилами, где герои будут действовать больше, а говорить меньше, чем во всех предыдущих моих произведениях. Дик одобрительно кивнул и прибавил покровительственным тоном, что в награду за послушание подарит моей музе сюжет, которым в свое время заинтересовался, имея в виду собственное искусство.

– Если верить преданию, – сказал он, – эта история действительно имела место; однако с тех пор прошло уже более ста лет, и разумно усомниться в точности всех подробностей.

С этими словами Тинто полистал кипу набросков и извлек оттуда рисунок; это был эскиз, как он пояснил, к будущей картине, размером четырнадцать футов на восемь. Этот эскиз, выражаясь языком художников, весьма искусно выполненный, изображал старинный зал, отделанный и обставленный, как бы мы сказали нынче, во вкусе елизаветинской эпохи. Свет, проникавший в комнату через верхнюю половину высокого окна, падал на молодую девушку необычайной красоты; она словно застыла в безмолвном отчаянии, ожидая исхода спора между двумя другими лицами – молодым человеком в ван-дейковском костюме времен Карла I и женщиной, которая, судя по возрасту и сходству черт, была ее матерью. Молодой человек с видом уязвленной гордости – о ней говорили его откинутая голова и вытянутая вперед рука – не столько просил, сколько требовал чего-то принадлежащего ему по праву у старшей женщины, которая слушала его с явным неудо-

вольствием и нетерпением.

Тинто показал мне этот эскиз с видом тайного торжества: он смотрел на него с таким наслаждением, с каким любящий родитель взирает на многообещающего сына, предвкушая, какое высокое место займет его чадо в свете и как прославит оно имя отца. Сначала он подержал рисунок в вытянутой руке, затем поднес его ближе, поставил на ларец, закрыл нижние ставни, так как верхний свет казался ему более выгодным, отступил на несколько шагов (при этом он заставил меня отойти вместе с ним), заслонил ладонью глаза, словно желая сосредоточиться на любимом предмете и, наконец, испортив детскую тетрадку, скрутил из нее трубку на манер тех, какими пользуются любители живописи. Как видно, степень моего восторга не соответствовала его ожиданиям.

– Мистер Петтисон, – с живостью воскликнул он, – я всегда думал, что у тебя есть глаза!

На это я заявил, что природа не обошла меня, наделив зрением достаточно острым.

– Не нахожу, – сказал Дик. – Клянусь честью, ты, должно быть, родился слепым, если не сумел с первого взгляда понять сюжет и смысл этого эскиза.

Я не собираюсь хвалить свою работу, предоставляя это другим. Я вижу свои недостатки; рисунок и колорит, я сознаю это, еще далеки от совершенства, хотя надеюсь, что они станут лучше с годами, которые я намерен провести в занятиях живописью. Но композиция, позы, выражение лиц – разве они не рассказывают целую историю каждому, кто только глянет на этот эскиз. Если мне удастся написать мою картину, не обеднив первоначального замысла, имя Тинто уже не будет скрыто за туманом зависти и клеветы.

– Мне очень нравится твой эскиз, – заметил я, – но, не зная сюжета, я не могу оценить его в полной мере: я должен знать, о чем здесь идет речь.

– Вот это-то и сердит меня, – сказал Дик. – Ты так привык к этим медленно наслаивающимся, серым деталям, что утратил способность мгновенного и яркого восприятия; а только оно, словно молния озаряя разум, помогает нам при виде картины, выразительно и точно запечатлевшей какое-то мгновение из жизни героев, догадаться по их позам и лицам не только об их прошлом и настоящем, но и, приподняв завесу будущего, об уготованной им судьбе.

– В таком случае, – ответил я, – живопись превзошла обезьянку знаменитого Хинеса де Пасамонта: его зверек не пробовал совать свой нос дальше прошлого и настоящего... Более того – живопись превосходит саму Природу, из которой черпает сюжеты, ибо смею тебя уверить, любезный Дик, что, получи я возможность заглянуть в этот елизаветинский зал и узреть воочию представленных тобою людей, я бы ни на йоту не продвинулся в понимании их истории и уразумел бы ее не больше, чем теперь, когда смотрю на твой эскиз. Правда, судя по томному взгляду юной особы и той тщательности, с какой ты выписал стройную ногу молодого человека, я могу предположить, что дело идет о любви.

– И ты воистину решаешься пойти на такое смелое предположение? – усмехнулся Дик. – А страстность, с какою этот пылающий гневом юноша отстаивает свои права, покорное, безмолвное отчаяние молодой женщины, мрачный вид старшей особы, чей взгляд хотя и говорит, что она чувствует себя не правой, вместе с тем выражает непоколебимую решимость не отступить от раз принятого пути...

– Если лицо этой леди выражает все эти чувства, любезный Тинто, – прервал я художника, – то твоя кисть перещеголяла драматический талант мистера Пуфа из «Критика», который кратко передал сложнейшую фразу выразительным покачиванием головы лорда Берли.

– Любезный друг Питер, – ответил мне на это Тинто, – ты, как видно, неисправим; тем не менее я снисходительно отнесусь к твоей тупости и не стану лишать тебя удовольствия понять мою картину, а заодно и приобрести тему для твоего пера. Да будет тебе известно, что прошлым летом, когда я писал этюды в Восточном Лотиане и Берикшире, я не удержался от соблазна посетить Ламмермурские горы, где, по рассказам, сохранились некоторые памятники старины. Особенно большое впечатление произвели на меня развалины древнего замка, где некогда находился этот, как ты назвал его, елизаветинский зал.

Я остановился на несколько дней в соседнем селении, у женщины, превосходно знавшей историю замка и все происходившие там события. Одно из них показалось мне настолько интересным и необычным, что мною овладело сразу два желания: написать древние развалины на фоне

гор и запечатлеть поразившее меня событие, о котором поведала мне старая крестьянка, на большом историческом полотне. Вот мои записи. – И с этими словами Дик протянул мне сложенные в пачку листы, на которых среди карикатур и эскизов башен, мельниц, старинных фронтонов и голубятен виднелись строчки, набросанные то карандашом, то пером.

Я принялся, как умел, разбирать рукопись, стараясь добраться до сути, и, почерпнув из нее историю, которую нынче предлагаю моим читателям, попытался, следуя, хотя и не вполне, совету моего друга Тинто, облечь ее в повествовательную, а не в драматическую форму. Все же моя любовь к диалогу иногда брала верх, и тогда мои герои, как и множество им подобных в нашем болтливом мире, больше говорят, нежели действуют,

## **Глава II**

*Все ж, лорды, мы не завершили дела,  
И недостаточно, что враг бежал.  
Оправиться такой способен недруг.  
«Генрих VI», ч. II<sup>7</sup>*

В узком горном ущелье, что начинается от плодородной равнины Восточного Лотиана, возвышался некогда замок Рэвенсвуд, от которого ныне остались одни лишь развалины. Исконными его владельцами были могущественные и воинственные бароны, носившие то же имя, имя Рэвенсвудов. Они вели свою родословную с древнейших времен и находились в родственных связях с Дугласами, Юмами, Суинтонами.

Геями и другими влиятельными и знатными родами Шотландии. История Рэвенсвудов тесно переплеталась с историей самой Шотландии – об их славных подвигах рассказано в ее летописях. Господствуя над горным проходом, соединявшем Лотиан с графством Берик или Мере, как называют юго-восточную провинцию Шотландии, замок Рэвенсвуд играл важную роль во время иноземных войн или междоусобных распрей; он не раз подвергался яростным атакам и с упорством выдерживал жестокие осады; естественно, что те, кому он принадлежал, занимали видное место в истории Шотландии. Но ничто не вечно в этом мире, и знаменитый род Рэвенсвудов испытал на себе превратности судьбы: во второй половине XVII века он пришел в упадок. Незадолго до революции последний из владельцев Рэвенсвудского замка был вынужден расстаться с древней цитаделью своих предков и поселиться в уединенной башне на пустынном берегу бурного Северного моря, между мысом Сент-Эбс Хед и деревней Эймут. Вокруг его нового жилища простирались заброшенные пастбища, составлявшие ныне все его достояние.

Лорд Рэвенсвуд, наследник этого обнищавшего рода, не желал примириться со своим новым положением. В междоусобной войне 1689 года он примкнул к побежденной стороне; его обвинили в государственной измене и хотя ему оставили жизнь и имущество, но лишили титула, так что лордом называли его теперь только из любезности.

Однако, утратив титул и состояние предков, Аллан Рэвенсвуд унаследовал их гордость и буйный нрав, а так как он считал виновником падения своего рода некоего сэра Уильяма Эштона, купившего замок Рэвенсвуд со всеми принадлежавшими к нему угодьями, которые теперь отошли от прежнего владельца, то и питал к нему лютую ненависть. Сэр Эштон происходил из рода менее древнего, чем лорд Рэвенсвуд, и приобрел богатство, равно как и политическое значение, во время междоусобной войны. Получив юридическое образование, он достиг высоких государственных должностей и слыл за человека, умеющего ловить рыбу в мутных водах государства, раздираемого борьбой партий и управляемого наместниками; действительно, в этой разоренной стране он необычайно искусно нажил огромное состояние и, зная цену богатству, а также различные способы приумножения его, ловко пользовался ими для увеличения своего могущества и влияния.

Одаренный подобными качествами и способностями, этот человек был опасным противником для неистового и безрассудного Рэвенсвуда. Имел ли Рэвенсвуд действительные основания

---

<sup>7</sup> Перевод Е. Бируковой.



для той ненависти, Которую питал к новому хозяину своего родового замка, – это никому доподлинно не было известно.

Одни говорили, что эта вражда не имела другой причины, кроме мстительного и злобного характера лорда Рэвенсвуда, который не мог спокойно видеть земли и замок своих предков в чужих руках, хотя они и попали в них в результате честной и законной продажи; но большая часть соседей, всегда склонных льстить сильным мира сего в глаза и осуждать их за глаза, придерживалась иного мнения. Они говорили, что лорд – хранитель печати (ибо сэр Уильям Эштон достиг уже этой высокой должности) перед тем, как приобрести замок Рэвенсвуд, имел с его бывшим владельцем какие-то денежные дела; и тут же, как бы невзначай и отнюдь ничего не утверждая, спрашивали, которая же из двух тяжущихся сторон обладала большим преимуществом, чтобы решить в свою пользу денежные споры, возникшие в результате этих сложных дел: сэр Эштон, хладнокровный адвокат и искусный политик, или горячий, необузданный, опрометчивый Рэвенсвуд, которого тот вовлек во все эти тяжбы и ловко расставленные силки?

Положение общественных дел в Шотландии давало пищу для таких подозрений. «В те дни не было царя у Израиля». С той поры как Иаков VI покинул Шотландию, чтобы принять более богатую и более могущественную корону Англии, шотландская аристократия разделилась на враждебные партии, сменявшие друг друга у власти в зависимости от того, как им удавались их происки при Сент-Джеймском дворе.

Бедствия, происходившие от этой системы правления, походили на несчастья, выпавшие на долю ирландских крестьян, арендующих земли в поместьях, владельцы которых не живут в Ирландии. В стране не было верховной власти, общие интересы которой совпадали бы с интересами народа и к которой те, кого притесняли местные тираны, могли бы обращаться за милостью или правосудием. Каким бы бездейственным или эгоистичным ни был монарх, как бы ни стремился он к самовластию, все же в свободной стране его собственные интересы так тесно переплетаются с интересами его подданных, а вредные последствия от злоупотреблений столь очевидны для него же самого, что здравый смысл побуждает его заботиться о равном для всех правосудии и упрочении престола на основах справедливости. Поэтому даже государи, прославившие узурпаторами и тиранами, оказывались ревностными защитниками правосудия во всех случаях, не ущемлявших их собственных интересов и могущества.

Совсем иначе обстоит дело, когда верховная власть оказывается в руках предводителя одной из аристократических партий, состоящего с вождем враждебной клики в погоне за славой. Он должен употребить свое непродолжительное и весьма шаткое правление на то, чтобы наградить приверженцев, упрочить свое влияние и расправиться оврагами. Даже Абу-Хасан, самый бескорыстный из всех наместников, во время своего однодневного халифатства не забыл послать домой тысячу золотых; шотландские же правители каждый раз, когда благодаря могуществу той или иной партии они захватывали власть, охотно прибегали к тому же средству, дабы вознаградить самих себя.

Особенно позорным пристрастием отличались суды.

Едва ли существовало хотя бы одно мало-мальски значительное дело, в котором судьи не проявляли бы самого откровенного лицепрятия. Они так мало способны были устоять перед искушением, что в те времена даже сложилась поговорка, столь же распространенная, сколь и постыдная: «Скажи мне, кто жалуется, и я приведу соответствующий закон». Один вид подкупа вел к другому, еще более непристойному и гнусному. Судья, употреблявший свои священные обязанности сегодня для того, чтобы помочь приятелю, а завтра – чтобы погубить врага, руководствовавшийся при вынесении приговора родственными отношениями и политическими симпатиями, не мог не возбуждать подозрения в пристрастии, и потому естественно было предполагать, что кошелек богатого не раз перетягивал на свою сторону чашу весов правосудия. Мелкие слуги Фемиды брали взятки без зазрения совести. С целью повлиять на приговор судьям посылали серебряную утварь и мешки с деньгами; по словам одного современника, «пол судебной камеры был выложен взятками», и никто даже не думал это скрывать.

В подобных обстоятельствах имелись все основания считать, что сэр Уильям Эштон, государственный деятель, весьма опытный в вопросах судопроизводства, да к тому же еще влиятель-

ный член победившей партии, сумел употребить свое положение, чтобы возобладать над менее искусным и удачливым противником. Но если даже предположить, что щепетильная совесть лорда-хранителя не позволила ему воспользоваться этими преимуществами, то можно не сомневаться, что леди Эштон всячески разжигала его честолюбие и стремление приумножить свои богатства, точно так же как некогда властолюбивая супруга поддерживала Макбета в его преступных замыслах.

Леди Эштон принадлежала к семейству более знатному, чем ее повелитель, – обстоятельство, которое она не преминула использовать как могла лучше, стремясь поддержать и увеличить влияние мужа на других и, как уверяли, хотя, возможно, и несправедливо, собственное влияние на него. В молодости она была красавицей, и ее осанка все еще поражала горделивым достоинством и величием. Природа одарила ее большими способностями и сильными страстями, а опыт научил пользоваться первыми и скрывать, если не сдерживать, последние. Она строго и непреклонно соблюдала все требования набожности, по крайней мере внешне, и радушно, даже с чрезмерной пышностью, принимала гостей; ее манеры, согласно обычаям того времени, были изысканны и величественны, как того требовали правила этикета; ее репутация была безупречна. Тем не менее, несмотря на все эти достоинства, способные внушить уважение, редко кто отзывался о леди Эштон с любовью или симпатией. Все ее поступки слишком явно диктовались соображениями выгоды – интересами ее семьи или личными ее интересами, – а показной добротой трудно обмануть проницательное, к тому же враждебно настроенное общество. А так как за всеми любезностями и комплиментами леди Эштон, словно ястреб, который, высоко кружась в воздухе, не теряет из виду намеченной жертвы, никогда не забывала о поставленной цели, то люди, равные ей по положению, относились к ее ласкам настороженно и подозрительно, а те, кто был ниже ее, кроме того испытывали перед нею еще и страх; это было ей на руку в том отношении, что заставляло всех незамедлительно исполнять ее желания и беспрекословно повиноваться ее приказаниям; но в то же время вредило ей, ибо подобные чувства не уживаются с любовью или уважением.

Поговаривали даже, что муж леди Эштон, столь многим обязанный талантам и ловкости своей супруги, смотрел на нее скорее с почтительным благоговением, нежели с нежной привязанностью; по мнению многих, у него не раз являлась мысль, что домашнее рабство, которым он заплатил за успех в свете, несоразмерно дорогая цена. Впрочем, все это были лишь пустые подозрения, с уверенностью же никто ничего не мог бы сказать, ибо леди Эштон дорожила честью мужа не менее, чем своей собственной, и, отлично понимая, как много он потеряет в глазах общества, если будет казаться, что он находится в подчинении у жены, при каждом удобном случае приводила его мнения как непогрешимые, постоянно ссылаясь на его вкус и слушала его речи с тем уважением, с каким почтительная жена обязана внимать мужу, обладающему столь несравненными достоинствами и занимающему столь высокое положение в свете. Но во всем этом было что-то показное и фальшивое; и от тех, кто внимательно и, быть может, не без злорадства наблюдал за этой четой, не могло укрыться, что леди Эштон, отличаясь более твердым характером, более высоким происхождением и более неутолимой жадной славой, относилась к мужу с некоторым презрением, тогда как он питал к ней скорее зависть и страх, нежели любовь и уважение.

Впрочем, в главном цели и желания сэра Уильяма Эштона и его супруги обычно совпадали, а потому они всегда действовали согласованно; внешне они всегда оказывали друг другу глубокое почтение, прекрасно зная, что без этого нельзя рассчитывать на уважение других.

Небо благословило их союз несколькими детьми, из которых в живых осталось только трое. Старший сын в то время путешествовал по континенту; дочь, которой недавно минуло семнадцать лет, и младший сын, тремя годами моложе сестры, жили с родителями в Эдинбурге во время сессии шотландского парламента и Тайного совета, остальные же месяцы семья проводила в готическом замке Рэвенсвуд, который сэр Уильям значительно расширил и изменил в стиле XVII столетия.

Аллан лорд Рэвенсвуд, прежний владелец этого древнего замка и прилежащих к нему обширных угодий, в течение нескольких лет тщетно пытался продолжить борьбу со своим преемником, цепляясь за различные спорные вопросы, возникшие в результате прежних запутанных тяжб; но все они один за другим были решены в пользу богатого и влиятельного лорда – хранителя пе-

чати. Смерть прекратила наконец их нескончаемые распри, призвав лорда Рэвенсвуда на высший суд. Нить его тревожной жизни внезапно прервалась во время припадка страшного, но бессильного гнева, вызванного известием о том, что еще один процесс, затеянный скорее ради отвлеченной справедливости, нежели ради дела, – последний процесс против могущественного врага – был им проигран. Молодой Рэвенсвуд присутствовал при последних минутах отца и слышал проклятия, которыми умирающий осыпал своего противника, как бы завещая сыну отплатить злом за зло. К несчастью, последующие события еще усилили в юноше жажду мести – чувство, которое в течение долгого времени оставалось одним из худших пороков шотландцев.

В раннее ноябрьское утро, когда скалы, нависшие над морем, были окутаны густым туманом, ворота в Древней, полуразвалившейся башне, где лорд Рэвенсвуд провел последние тяжкие годы своей жизни, отворились и пропустили его бранные останки, направлявшиеся к жилищу еще более мрачному и уединенному. Пышность, которую в продолжение многих лет уже не знал покойный, вновь окружила его перед тем, как он был предан забвению.

Многочисленные флаги с гербами и девизами старинного рода Рэвенсвудов и близких ему родов развевались над погребальным шествием, выходящим из-под низких сводов башенных ворот. Знатнейшие дворяне страны, облаченные в глубокий траур, ехали длинной кавалькадой, сдерживая поступь резвых коней. Трубы, украшенные черным крепом, издавали протяжные печальные звуки, и под эту грустную музыку провожавшие медленно двигались вперед. Многочисленная толпа менее знатных соседей и слуг замыкала шествие, и в то время как голова процессии достигла часовни, где предстояло покоиться телу Аллана Рэвенсвуда, последние ряды ее еще не вышли из ворот.

Вопреки обычаям и даже законам того времени, процессию ожидал священник шотландской епископальной церкви в полном облачении, чтобы совершить отпевание по своим обрядам. Таково было желание покойного, высказанное им в последний год его жизни, и партия тори, или кавалеров, как им нравилось называть себя, к которой принадлежала большая часть родственников и друзей лорда Рэвенсвуда, сочла своим долгом непременно исполнить его волю.

Однако пресвитерианское духовенство, полагавшее, что исполнение этого желания явится дерзким вызовом могуществу их церкви, обратилось к лорду-хранителю с просьбой запретить предстоящую церемонию.

Поэтому не успел священник открыть молитвенник, как судебный пристав, в сопровождении нескольких вооруженных людей, приказал ему замолчать.

Это дерзкое оскорбление возбудило негодование всех присутствовавших и встретило немедленный отпор со стороны сына покойного, Эдгара, молодого человека лет двадцати, которого называли мастером Рэвенсвудом. Эдгар схватился за шпагу и, угрожая приставу немедленной расправой, велел пастору продолжать. Пристав хотел было настоять на исполнении приказа, но несколько десятков мечей сверкнуло в воздухе, и ему ничего не оставалось, как, высказав свое возмущение примененным к нему, представителю закона, насилием, отойти в сторону и молча наблюдать за происходящей церемонией; однако мрачное лицо его ясно говорило: «Вы еще будете проклинать тот день, в который так обошлись со мной».

Эта сцена была достойна кисти художника. Под сводами чертога смерти перепуганный священник, дрожа за свою жизнь, торопливо и невнятно бормотал слова зауспокойной молитвы над бездыханными останками разбитой гордости и поблекшего богатства, над перстью земной, обратившейся в земную персть. Кругом стояли родственники покойного; их лица были омрачены скорее гневом, нежели горем, и обнаженные их мечи странно противоречили их траурной одежде. Только в лице Эдгара негодование, казалось, уступало место глубокой скорби, – он смотрел на мертвые черты своего лучшего и, пожалуй, единственного друга, прах которого ожидала могила предков. По окончании погребального обряда он, как сын и наследник, должен был перенести останки в склеп. При виде гниющих гробов, покрытых лохмотьями бархата и почерневшей позолотой, среди которых отныне предстояло тлеть телу его отца, юноша побледнел как смерть. Один из родственников подошел к нему, предлагая свою помощь, но Эдгар знаком отказался от нее. Твердой рукой и без единой слезы он выполнил последний сыновний долг. На могилу водрузили камень, дверь усыпальницы заперли, и молодому человеку вручили массивный ключ.

Выйдя из часовни, Эдгар остановился на ступенях и, обращаясь к друзьям и родственникам, сказал:

– Джентльмены и друзья, вы отдали сегодня последний долг покойному не совсем обычным образом.

Если бы вы мужественно не встали на его защиту, вашему родственнику, принадлежавшему не к последним родам Шотландии, было бы отказано в обрядах, которыми в любой другой стране пользуются самые бедные крестьяне. Другие хоронят своих усопших в слезах и скорби, в почтительном молчании; но наши молитвы были прерваны приставами и насильниками; и наша скорбь – скорбь о почившем друге – уступает место чувству справедливого негодования. Но мне известен лук, из которого пущена эта стрела. Только тот, чья рука вырыла эту могилу, только он с подлой жестокостью мог нарушить обряд погребения. Будь я проклят, если не отомщу этому человеку и его семейству за наше разорение и за бесчестье, нанесенное нашему роду!

Большинство присутствовавших одобрило эту речь как красноречивое выражение справедливого гнева; но более осторожные и благоразумные пожалели, что молодой Рэвенсвуд высказался так резко. Положение Эдгара было слишком тяжким, чтобы возобновлять давнюю вражду, а столь открытое выражение негодования, казалось, неминуемо распалит ее вновь. События, однако ж, не оправдали этих опасений, по крайней мере в ближайшее время.

С похорон гости возвратились в башню, где, по обычаю, лишь недавно упраздненному в Шотландии, принялись пить и поминать покойного, оглашая дом скорби громкими криками и смехом. Они пировали, уничтожая обильное и богатое угощение, на которое были истрачены скудные доходы наследника того, чье погребение отмечалось столь странным образом.

Но таков был обычай, и его надлежало свято блюсти.

В залах, где угощалась знать, вино лилось рекой, в кухне и буфетной бражничали фермеры, простой народ гулял во дворе, и двух годового оброка с небольшого поместья Рэвенсвуда едва хватило, чтобы покрыть расходы на погребальное пиршество. Вскоре все опьянели, кроме мастера Рэвенсвуда (как продолжали называть юношу, хотя отец его лишился принадлежавшего ему титула), и, пуская по кругу кубок, к которому сам он почти не прикасался, Эдгар выслушал тысячи проклятий лорду – хранителю печати и тысячи уверений в преданности себе и своему знатному роду. Мрачный и задумчивый, слушал он все эти излияния, справедливо считая их столь же переходящими, как пена в бокале вина или винные пары, туманившие головы пировавших вокруг него гостей.

Осушив последнюю флягу, гости распростились с новым владельцем башни, расточая пламенные уверения в дружбе – уверения, которые на следующий же день спешат забыть, если, более того, не считают нужным отречься от них для пущей безопасности.

Рэвенсвуд проводил гостей, с трудом сдерживая презрительную улыбку. Дождавшись наконец минуты, когда его старый дом избавился от множества шумных посетителей, он возвратился в зал, показавшийся ему особенно мрачным и безмолвным после недавнего шума и крика. Впрочем, зал этот вскоре наполнился видениями, вызванными его собственным воображением, – тут были попорченная честь и развеянное достояние его рода, крушение его собственных надежд и торжество того, кто разорил его семью. Меланхолическому уму молодого Рэвенсвуда открылась обширная область для глубоких и печальных размышлений.

Местные жители, показывая ныне развалины башни на вершине утеса, омываемого морскими волнами и населенного лишь чайками да бакланами, уверяют, что именно в эту роковую ночь молодой Рэвенсвуд своими отчаянными сетованиями вызвал нечистого духа, пагубное влияние которого впоследствии сказалось на всей его жизни. Увы! Ни один адский дух не способен побудить нас к таким губительным поступкам, как наши собственные неистовые, необузданные страсти.

### **Глава III**

*«Помилуй бог, – сказал король, -  
Чтоб ты стрелял в меня».*  
**«Уильям Белл, Клойм из Ключ и др.»**



На следующее утро после похорон судебный пристав, власть которого оказалась недостаточной, чтобы запретить совершение погребальных обрядов над останками лорда Рэвенсвуда, поспешил доложить лорду-хранителю о сопротивлении, оказанном ему при исполнении служебных обязанностей.

Сэр Эштон принял его в библиотеке – просторной комнате, во времена Рэвенсвудов служившей банкетным залом; гербы этого древнего рода все еще украшали цветные стекла окон и резной потолок из испанского каштана. Проникавшие в комнату лучи освещали длинные ряды полок, гнувшихся под тяжестью огромных томов – монастырских хроник и сочинений ученых судей, составлявших в те времена основную и важнейшую часть библиотеки шотландского историка. На большом дубовом столе и на пюпитре разбросаны были письма, прошения, документы – главная отрада, равно как и мучение жизни сэра Уильяма Эштона. У него была внушительная, даже благородная осанка, вполне под стать человеку, занимавшему столь высокую должность в государстве; и лишь после долгого, обстоятельного разговора, касающегося срочного и неотложного дела, проситель мало-помалу начинал замечать, что лорд-хранитель избегает высказывать свое мнение решительно и определенно. Это происходило от присущей ему чрезмерной осторожности и нерешительности

– черты характера, которые он тщательно скрывал, отчасти из гордости, отчасти по расчету.

Лорд-хранитель, казалось, очень спокойно выслушал сильно приукрашенный рассказ о беспорядках, происшедших на похоронах лорда Рэвенсвуда, и о том, с каким неуважением отнеслись к его приказаниям, отданным от имени церкви и государства; он, по-видимому, остался совершенно равнодушен, когда пристав довольно точно пересказал все гневные и бранные слова, произнесенные в его адрес молодым Рэвенсвудом и его приятелями; наконец, он с тем же невозмутимым спокойствием выслушал собранные приставом сведения – весьма искаженные и преувеличенные – о тостах, предложенных на погребальном пиршестве, и прозвучавших там угрозах. Однако он тщательно записал все подробности и имена тех, кого в случае надобности можно будет привлечь к делу в качестве свидетелей, и отпустил доносчика, убежденный в том, что теперь остатки достоинства и даже личная свобода молодого Рэвенсвуда в его руках.

После того как пристав ушел, лорд-хранитель несколько минут сидел неподвижно, погруженный в глубокое раздумье. Затем, поднявшись со стула он принялся шагать по комнате с видом человека, обдумывающего важное решение.

– Ну, теперь уж молодой Рэвенсвуд попался! – рассуждал он сам с собой. – Да, попался! Он сам отдался мне в руки. Теперь ему остается или смириться, или погибнуть. Я не забыл, с каким неотступным и злобным упорством его отец боролся со мной во всех инстанциях шотландских судов, как он отказывался от всех миролюбивых предложений, навязывая мне новые тяжбы, и как пытался опорочить мое доброе имя, когда увидел, что права мои неоспоримы.

Этот мальчишка, его сын, этот Эдгар, этот вспыльчивый, безмозглый идиот, посадил свой корабль на мель, еще не выйдя в море. Что ж, остается позаботиться только о том, чтобы новая волна не помогла ему выплыть. Если полученное мною донесение представить Тайному совету в надлежащем виде, речи молодого Рэвенсвуда будут поняты там не иначе, как призыв к бунту против гражданских и духовных властей. Дело кончится большим штрафом, а то и приказом о заключении в Эдинбургскую или Блэкнесскую крепость; пожалуй, кой-какие слова и выражения этого молодчика пахнут государственной изменой. Но я не хочу заходить так далеко!.. Нет, этого я не сделаю. Я не стал бы лишать его жизни, будь это даже в моей власти. А впрочем, если этот Рэвенсвуд доживет до новых перемен, чего только нельзя от него ожидать: он постарается вернуть себе права и имение, возможно будет даже мстить мне. Насколько мне известно, Этон обещал поддержку старику Рэвенсвуду, и вот его сынок уже произносит крамольные речи и сколачивает вокруг себя сторонников. Каким удобным орудием он может оказаться в руках наших врагов, которые только и ждут нашего падения!

Поразмыслив над всеми этими обстоятельствами и убедив себя в том, что не только его собственные интересы и безопасность, но также интересы и безопасность его партии и приверженцев требуют от него дать ход попавшим к нему в руки уликам против Рэвенсвуда, хитрый политик сел за стол и принялся строчить докладную записку Тайному совету, подробно описывая беспорядки,

имевшие место на похоронах лорда Рэвенсвуда. Лорд-хранитель превосходно знал, что даже имена участников этого происшествия, не говоря уже о самом факте, вызовут негодование его коллег, и они» по всей вероятности, пожелают примерно наказать молодого Рэвенсвуда, хотя бы *in terrorem*.<sup>8</sup>

При всем том лорду-хранителю предстояло дело весьма щекотливое – ему нужно было составить свой доклад в таких выражениях, которые, не оставляя сомнения в виновности молодого человека, не звучали бы слишком определенно – в устах сэра Эштона, исконного врага отца Рэвенсвуда, это могло бы показаться проявлением личной злобы и ненависти. И вот как раз когда сэр Уильям трудился, подыскивая слова, достаточно веские, чтобы представить Рэвенсвуда зачинщиком происшедших волнений, и достаточно уклончивые, чтобы не выдвигать против него прямого обвинения, он на мгновение оторвался от бумаг и взгляд его упал на родовой герб семейства, против наследника которого он точил свои стрелы и расставлял тенета закона. Этот герб, вырезанный на одной из капителей, расположенных под сводом, представлял голову черного быка с девизом: «Я выжидаю свой час!», и мысли лорда-хранителя невольно обратились к событию, побудившему Рэвенсвудов принять этот странный девиз.

Существовало предание, что в тринадцатом веке могущественный враг лишил Мэлизиуса де Рэвенсвуда его владений и в течение некоторого времени безнаказанно наслаждался плодами одержанной победы. Однажды, когда в доме готовился праздник, не перестававший подстергать удобный случай Мэлизиус проник в замок вместе с несколькими преданными друзьями. Гости с нетерпением ожидали начала пира, но, когда хозяин кичливо приказал внести блюда, Рэвенсвуд, переодетый лакеем, ответил грозным голосом: «Я выжидаю свой час!» – и в тот же миг на столе появилась бычья голова – древний символ смерти. По этому сигналу заговорщики набросились на узурпатора и его приверженцев и перебили всех до единого.

Вероятно, воспоминание об этой истории, охотно и часто передаваемой из уст в уста, неприятно поразило чувства и задело совесть лорда-хранителя, ибо, отстранив от себя бумагу с начатым докладом, он встал, собрал исписанные листы, тщательно уложил их в ящик бюро и, заперев его, вышел из комнаты, очевидно желая собраться с мыслями и взвесить все возможные последствия предпринимаемого им шага, прежде чем они станут неизбежными.

Проходя через большой готический зал, сэр Уильям Эштон услышал звуки лютни, на которой играла его дочь. Музыка, особенно когда не видно исполнителя, вызывает у нас удовольствие, смешанное с удивлением, и напоминает пение птиц, скрытых от взора пышной листвой. Хотя наш государственный муж не привык предаваться столь простым и естественным чувствам, он все же был человек и к тому же отец. Он остановился и стал слушать серебряный голосок Люси, исполнявшей под аккомпанемент лютни неизвестный ему романс, написанный на старинный народный мотив:

Не обращай к красоте взоров,  
Держись вдали от бранных споров,  
Не пей из чаши круговой,  
Молчи пред внемлющей толпой,  
Не слушай сладостного пенья,  
Не ведай к золоту влеченья  
И сердце наглухо запри –  
Легко живи, легко умри.

Лорд-хранитель дослушал песню и вошел в комнату дочери.

Слова романса, казалось, как нельзя лучше подходили к Люси Эштон. Она была необычайно хороша собой, и ее по-детски милые черты выражали глубокое душевное спокойствие, безмятежность и полное равнодушие к суете светских удовольствий. Разделенные прямым пробором темно-золотистые волосы обрамляли чистый белый лоб, словно солнечные лучи, озаряющие снежную

---

<sup>8</sup> Для устрашения (лат.).

вершину; прелестное лицо отличалось удивительной нежностью, кротостью и чарующей женственностью; казалось, она скорее готова пугливо прятаться от посторонних взглядов, чем искать восторженного поклонения. Люси чем-то напоминала мадонну; возможно, это сходство объяснялось тем, что она была хрупкого сложения и окружена людьми, превосходившими ее твердостью характера, энергией и силой воли.

Недостаток живости, присущий Люси, происходил отнюдь не от безразличия или тем паче от бесчувственности. Она была предоставлена самой себе, а вкусы и склонности влекли ее ко всему романическому. Она любила старинные легенды, повествующие о пылкой преданности и вечной любви, о необычайных приключениях и сверхъестественных ужасах.

Она жила в этом сказочном мире, воздвигая воздушные замки и храня в глубокой тайне ключ от милого сердцу царства грез. Уединившись в своей комнате или в беседке – излюбленное место Люси, которое даже стали называть ее именем, – она предавалась мечтам: то она воображала себя королевой турнира, раздающей награды победителям, то дарила рыцарей воодушевляющим взглядом, то под защитой доброго льва блуждала вместе с Уной по нехоженным тропам, то, представив себя на месте благородной Миранды, скиталась по острову чудесных превращений и колдовских чар.

Но в обыденной жизни Люси легко поддавалась влиянию окружающих. Чаще всего ей было совершенно безразлично, как поступить, и она, не противясь, охотно склонялась к решениям, подсказанным ей родней, возможно потому, что не имела собственных. Вероятно, каждому из наших читателей приходилось встречать в знакомых семьях подобное слабое, податливое существо, которое, находясь среди людей более твердых и энергичных, послушно следует чужой воле, словно уносимый бурным течением цветов.

Обычно такие кроткие, смиренные создания, безропотно ступающие по указанной им стезе, становятся любимцами тех, кому приносят в жертву собственные наклонности.

Так было и с Люси Эштон. Ее отец, осторожный политик и светский человек, питал к ней такую глубокую привязанность, что иногда даже сам удивлялся силе этого чувства. Старший брат Люси, отличавшийся еще большим честолюбием, чем отец, любил сестру всей душой. Забияка и кутила, капитан Шолто предпочитал общество сестры всем удовольствиям и воинским почестям. Младший брат, находившийся в том возрасте, когда ум занят еще пустяками, поверял сестре все свои детские радости и опасения, рассказывал ей об охотничьих успехах, о неприятностях и спорах с наставниками и учителями. Люси терпеливо и даже сочувственно выслушивала его болтовню, как бы она ни была незначительна. Добрая сестра, она знала, что все эти мелочи волнуют и занимают мальчика, и этого было для нее достаточно, чтобы дарить его своим вниманием.

Из всей семьи только мать не разделяла общей любви к Люси. По мнению леди Эштон, недостаток твердости характера у дочери доказывал преобладание в ее жилах плебейской крови отца, и в насмешку она называла ее ламмермурской пастушкой. Хотя невозможно было относиться недоброжелательно к столь нежному и кроткому созданию, леди Эштон предпочитала Люси старшего сына, унаследовавшего всю надменность и честолюбие матери; чрезмерная мягкость дочери казалась ей признаком недостатка ума.

Пристрастие леди Эштон к старшему сыну имело еще и другую причину: вопреки обычаю знатных шотландских семейств, старшего сына нарекли именем деда по матери.

– Мои Шолто, – говорила она, – сохранит незапятнанной честь материнского рода, возвысит и прославит имя отца. Бедная Люси не рождена для двора или большого света. Надо выдать ее замуж за какого-нибудь лэрда, достаточно богатого, чтобы она могла жить с ним в довольстве, ни в чем не нуждаясь и ни о чем не тревожась, разве что о том, как бы муж не сломал себе шею, охотясь за лисицами. Но не деревенскими забавами возвысился наш дом и не ими можно укрепить и приумножить его славу. Сэр Эштон только недавно вступил в должность лорда – хранителя печати: мы должны занимать наше высокое положение так, словно привыкли к его величию; нам надлежит доказать, что мы достойны оказанной нам чести и способны поддержать и оправдать ее. Перед теми, кто веками стоит у кормила власти, люди склоняются из привычного и наследственного почтения; но нам они не станут кланяться, если мы сами не повергнем их ниц. Молодая девушка, которая годится разве что для пастушеской идиллии или монастыря, едва ли сумеет до-

биться почтения там, где надо его приобрести силой; и раз уж судьба не послала нам трех сыновей, она могла бы по крайней мере наделить Люси сильным характером и сделать ее достойной занять место сына. Право, я буду очень счастлива, когда мне удастся выдать ее замуж за такого человека, у которого энергии хватит на них двоих, или за такого же мямлю, как она сама.

Так рассуждала мать, для которой нравственные качества детей и будущее их счастье ничего не значили в сравнении с почестями и преходящей славой.

Но ее суждения о дочери, как это нередко случается с родителями, в особенности если они не в меру надменны и нетерпеливы, были совершенно ошибочны.

Под видимостью крайнего равнодушия в характере Люси таилось семя пламенных страстей, которое, подобно тыкве пророка, способно взрасти за одну ночь, поражая окружающих неистовой силой. Если Люси казалась безразличной, то лишь потому, что пока еще ничто не пробудило чувств, дремавших в ее груди. Ее жизнь до этих пор текла спокойно и однообразно и, возможно, прошла бы счастливо, если бы это спокойное течение не напоминало собой поток, несущий свои воды к водопаду.

– Что же, Люси, – обратился к ней отец, входя в комнату, когда девушка кончила петь, – сочинитель этого романса учит тебя презирать свет, прежде чем ты узнала его. Не слишком ли это поспешно?

Впрочем, ты, быть может, говоришь так по примеру многих девушек, которые стараются выказывать равнодушие к удовольствиям жизни, пока какой-нибудь прекрасный рыцарь не убедит их в противном?

Люси вспыхнула и стала уверять, что пела романс, ничего не имея в виду; по желанию отца она немедленно положила лютню и встала, чтобы пойти с ним гулять.

Большой тенистый парк (мало чем отличавшийся от настоящего леса) расстилался по склонам горы, подымавшейся позади замка, который, как мы уже говорили, стоял в горном проходе, начинавшемся от равнины, и, казалось, затем и был воздвигнут в этом ущелье, чтобы охранять густые дубравы, видневшиеся вдаль во всем великолепии своего пышного убора. К этим романтическим местам по широкой аллее, осененной раскидистыми вязами, сплетавшими ветви над их головами, теперь рука об руку направились отец и дочь. Сквозь деревья тут и там виднелись группы пасущихся ланей. Гуляя по парку и любуясь природой – сэр Уильям Эштон, несмотря на характер своих обычных занятий, умел ценить и понимать прекрасное, – они повстречали лесничего, иначе называвшегося хранителем парка. С арбалетом на плече, он направлялся в чащу леса на охоту; мальчик вел за ним собаку на сворке, – А! Норман, – сказал сэр Уильям в ответ на приветствие лесничего, – собираетесь попотчевать нас олениной?

– Точно так, ваша милость. Не угодно ли присутствовать при травле?

– Нет, нет, – ответил сэр Уильям, взглянув на дочь, побледневшую при одной мысли об истекающем кровью олене, хотя, если бы отец выразил желание сопровождать Нормана, она безропотно последовала бы за ним.

– Как жаль, – сказал лесничий, пожимая плечами, – что никто из господ не хочет даже взглянуть на охоту. Одна надежда, что капитан Шолто скоро возвратится, иначе хоть бросай все это дело. Конечно, мистер Генри рад бы оставаться в лесу с утра до ночи но его столько заставляют просиживать за этой дурацкой латынью, что он теперь совсем пропащий человек, и не выйдет из него настоящего мужчины.

Не так, говорят, было во времена покойного лорда Рэвенсвуда: тогда на травлю оленя сбегались и стар и мал, а когда нужно было прикончить зверя, охотничий нож подавали самому лорду, и уж меньше золотого он никогда не давал в награду. А Эдгар Рэвенсвуд – мастер Рэвенсвуд – так о нем прямо можно сказать, что со времени Тристрама не было лучше охотника. Уж если он бьет, так без промаха. А у нас здесь совсем забросили охоту.

Болтовня лесничего пришлась лорду-хранителю не по вкусу. Он не мог не заметить, что его слуга почти открыто презирал его за равнодушие к охоте, любовь к которой в ту эпоху считалась врожденным и неотъемлемым свойством настоящего джентльмена. Но главный лесничий считается весьма важным человеком в замке и имеет право говорить, не стесняясь в выражениях, а потому сэр Уильям только улыбнулся в ответ, сказав, что сегодня ему предстоит дело поважнее охоты, и



тут же, в виде поощрения, вынул кошелек и дал лесничему золотой. Норман принял деньги с таким видом, с каким прислуга в модной гостинице получает двойные чаевые от какого-нибудь деревенского простака, – он усмехнулся, и в его улыбке выразилось не столько удовольствие, сколько презрение к невежеству щедрого господина.

– Ваша милость не знает дела, – сказал он, – разве можно платить до того, как зверь убит? А ну как, получив награду, я промахнусь и не убью оленя?

– Пожалуй, вы едва ли поймете меня, – улыбнулся лорд-хранитель, – если я скажу вам о *conditio indebiti*.<sup>9</sup>

– Нет, клянусь честью! Это, наверно, какое-нибудь судебское изречение. Только я скажу: с бедняком судиться... Вашей милости, конечно, известна эта поговорка. Впрочем, я поступлю по справедливости, и если кремень не даст осечки, а порох не подведет, у вас будет славное жаркое! На грудине жиру не меньше чем в два пальца толщиной.

Норман хотел было удалиться, но сэр Уильям окликнул его и как бы невзначай спросил, действительно ли молодой Рэвенсвуд так храбр и такой хороший стрелок, как о нем говорят.

– Храбр ли он? – повторил Норман. – Уж за это я ручаюсь. Я был однажды на охоте со старым лордом в Тайнингеймском лесу. Туда съехалось тогда много господ. Мы травили оленя и, клянусь честью, сами оторопели, когда его увидели. Огромный матерый самец с новыми рогами в десять ветвей, а лбище – широкий, словно у быка. Он кинулся на старого лорда, и, пожалуй, пришлось бы королю назначать нового пэра, если бы Эдгар, – а ему тогда было всего шестнадцать лет, благослови его бог, – не бросился на зверя и не распорол ему брюхо охотничьим ножом.

– А что, он и стрелок такой же ловкий?

– Видите эту монету, которую я держу двумя пальцами? Так вот, он попадет в нее с восьмидесяти шагов, и я не побоюсь подержать ее для него. Чего же лучше? Глаз, рука, свинец и порох неспособны на большее.

– Конечно, этого совершенно достаточно. Но мы отвлекаем вас от дела, любезнейший Норман. Доброго пути, Норман, доброго пути!

Лесничий пошел своей дорогой, напевая вполголоса народную песенку, звуки которой малопомалу замерли вдали:

К заутрене должен подняться монах,  
Аббат же спит до утра,  
Но иомен – чуть рог прозвучит, на ногах,  
Пора, друзья, пора.  
Немало косуль в Шервудском лесу,  
В Билоне стада оленьи,  
Но белая лань в рассветную рань  
Бродит от них в отдаленьи.

– Мда, сказал лорд-хранитель, когда ветер перестал доносить до них звуки песенки. – Вероятно, этот Норман служил раньше Рэвенсвудам, что он их так расхваливает? Ты, должно быть, что-нибудь знаешь о нем, Люси? Ведь ты считаешь своим долгом интересоваться каждым, кто живет в замке и его окрестностях.

– О нет, отец, я совсем не такой уж хороший летописец, как вы полагаете. Но если я не ошибаюсь, Норман мальчиком служил в замке Рэвенсвуд, а потом уехал в Ледингтон, где вы его наняли. Если же вам нужны какие-либо сведения о Рэвенсвудах, то никто не знает о них больше, чем старая Элис.

– Помилуй, дитя мое! Что мне до них? Какое мне дело до их истории и доблестей?

– Право, не знаю, отец, но вы только что расспрашивали Нормана о молодом Рэвенсвуде.

– Пустое, дитя мое, пустое, – произнес лорд-хранитель, однако через минуту добавил:

– А кто такая эта Элис? Ты, кажется, знаешь всех здешних старух? – Конечно, отец, иначе

---

<sup>9</sup> Условии взыскания непричитающегося (лат.).

как бы я могла помогать им в нужде. Что же касается Элис, то это – самая замечательная из всех местных женщин: нет такого предания, которого бы она не знала. Она слепа, бедняжка, но когда говоришь с ней, кажется, что она читает в тайниках сердца. Иногда мне хочется закрыть лицо рукой или отвернуться, потому что мне чудится: она видит, как я краснею, хотя вот уже двадцать лет, как она слепа. О, к ней стоит пойти, отец, хотя бы для того, чтобы увидеть, что слепая, парализованная женщина способна обладать такой остротой чувств и таким достоинством. Право, она говорит и держит себя как графиня. Пойдемте к Элис, отец.

Отсюда всего лишь четверть мили до ее домика.

– Но ты не ответила на мой вопрос, Люси: кто эта женщина и какое отношение она имеет к прежним владельцам замка Рэвенсвуд?

– Кажется, она была у них кормилицей. Она живет здесь потому, что двое ее внуков у вас в услужении. Но мне думается, что это ей не очень нравится: бедная старуха всегда оплакивает былое время и своих старых господ.

– Весьма ей признателен: она и ее дети едят мой хлеб и пьют мой эль, а она сожалеет о семействе, которое ни себе, ни другим не принесло никакой пользы.

– Вы несправедливы к Элис, отец: она совсем не корыстолюбива и скорее умерла бы с голоду, чем приняла бы от кого-нибудь пенни. Она просто словоохотлива, как все старики, особенно когда заговоришь с ними об их молодости. И она любит говорить о Рэвенсвудах, потому что долго жила у них. Но я уверена, что она очень благодарна вам за все ваши милости и будет говорить с вами охотнее, чем с кем бы то ни было другим. Пойдемте же к ней, отец, пожалуйста, пойдемте.

И с той вольностью, какую может позволить себе только дочь, знающая, что она нежно любима, Люси повлекла отца по тропинке, ведущей к жилищу старой Элис.

## Глава IV

*Над чащей вдруг ее приметил взор  
Дымок, который тонкою струею  
Легко стремился в голубой простор  
И ей приятный знак являл собою,  
Что где-то близко существо живое.*

**Спенсер**

Люси служила проводником отцу, который за множеством политических и государственных дел почти не знал своих собственных обширных владений. К тому же он обычно безвыездно жил в Эдинбурге, а Люси вместе с матерью проводила лето в Рэвенсвуде; и отчасти потому, что любила природу, а может быть, потому, что не знала других занятий, с утра до вечера гуляла в окрестностях замка, так что не было такой дороги, тропинки, холма или куста, которых бы она не знала.

Как уже говорилось, лорд-хранитель не был равнодушен к красотам природы, и справедливости ради следует добавить, что он наслаждался ими вдвойне, идя по лесу в обществе своей прелестной, непосредственной и такой привлекательной дочери, нежно опиравшейся на его руку. Люси приглашала его то взглянуть на гигантский вековой дуб, то полюбоваться неожиданным поворотом причудливо извивавшейся среди холмов и долин тропинки, которая, начавшись в ущелье, неожиданно привела их на высокое место, откуда открывался вид на лежащие внизу равнины, а потом, снова скользнув вниз, теряясь среди скал и лесной чащи, увлекла в места, еще более уединенные.

Остановившись на одной из возвышенностей, Люси сказала отцу, что они находятся в двух шагах от домика слепой старухи; и действительно, обогнув невысокий холм по узенькой тропинке, протоптанной бедной Элис, они увидели ютившуюся в темном, мрачном ущелье лачугу, почти так же лишенную света, как и глаза ее обитательницы.

Эта лачуга была построена у подножия крутого утеса, который, казалось, угрожал раздавить лепившееся под ним убогое жилище. Стены хижины были сложены из торфа и камня, а крыша, кое-как прикрытая дерном, совсем прохудилась. Легкий голубоватый дымок, подымающийся из трубы вдоль белого утеса, придавал всей картине какую-то особую мягкость. В маленьком запу-

ценном саду, обсаженном неподстриженными кустами бузины – подобие живой изгороди, – подле ульев, доставлявших ей средства к жизни, сидела та «старуха вещая», к которой Люси и вела своего отца. Какие бы несчастья ни выпали на долю бедной Элис, каким бы жалким ни казалось сейчас ее жилище, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что ни годы, ни нищета, ни испытания, ни болезни не смогли сломить мужественный дух этой замечательной женщины.

Элис сидела на дерновой скамье под плакучей ивой, необычайно раскидистой и очень старой; вид у нее был торжественный и в то же время грустный, – таким обычно изображают Иуду под пальмами. Она была высокого роста, и годы только слегка согнули ее величавый стан. Ее простое крестьянское платье отличалось удивительной опрятностью, что не часто встречается среди людей ее сословия; оно было сшито аккуратно и даже со вкусом, что также казалось необычным. Но более всего поражало выражение лица этой женщины: в нем таилось что-то такое, что заставляло посетителей жалкой лачуги обращаться с ее хозяйкой не иначе как с почтением и учтивостью, и она спокойно принимала это как должное. Некогда она была красавицей, но красота ее происходила от бесстрашного, мужественного характера, а такая красота не переживает молодости; тем не менее в ее чертах запечатлелись сильные чувства, глубокий ум и гордый нрав, – все это, так же как и ее одежда, говорило о сознании превосходства над окружающими ее людьми. Казалось почти невероятным, чтобы лицо, лишенное зрения, могло с такой силой выражать характер человека; однако глаза Элис по большей части были закрыты и своими невидящими зрачками не нарушали общего впечатления.

Убаюканная жужжанием пчел, слепая, по-видимому, погрузилась в забытие, но это не был сон.

Люси отворила калитку маленького сада и, обращаясь к старухе, сказала:

– Мой отец пришел проведать вас, Элис.

– Милости просим, мисс Эштон, милости просим и его и вас также, – ответила Элис, поворачиваясь к гостям и кланяясь.

– Славное утро для ваших пчел, матушка, – сказал лорд-хранитель, пораженный наружностью этой женщины и желая удостовериться, соответствует ли речь слепой ее внешности.

– Кажется, так, милорд. Воздух, чувствую я, теплее, чем в последние дни.

– Неужели вы сами занимаетесь пчелами, матушка? Как вы управляете ими?

– Как короли управляют своими подданными: через доверенных лиц. Мне повезло с моим премьер-министром. Эй, Бейби!

С этими словами Элис поднесла к губам серебряный свисток, висевший у нее на шее, – тогда часто пользовались свистком, чтобы позвать слугу, – и из дома выбежала девочка лет пятнадцати, одетая чище, чем можно было ожидать, хотя, надо полагать, если бы Элис могла видеть, что делается вокруг, ее маленькая служанка имела бы еще более опрятный вид.

– Бейби, – сказала слепая, – подай милорду и мисс Эштон хлеба и меду. Они простят твою неловкость, если ты постарайшься сделать все быстро и аккуратно.

Бейби исполнила приказание хозяйки со всем проворством, на какое была способна; она засуетилась, но, как у рака, ноги ее двигались в одну сторону, а голова была обращена в противоположную, так как она не сводила глаз с милорда, которого его подчиненные видели очень редко, хотя часто слышали о нем. Хлеб и мед были поданы на листе латука, и гости из приличия отведали скромного угощения.

Сэр Эштон сел на гнилой ствол сваленного бурей дерева. Ему, очевидно, хотелось продолжить разговор, но он не знал, какой выбрать предмет.

– Вы, вероятно, давно живете в этом имении? – спросил он после минутного молчания.

– Скоро шестьдесят лет, как я впервые увидела Рэвенсвуд, – сказала Элис, и хотя она говорила учтивым и почтительным тоном, но, по-видимому, только подчинялась неизбежной необходимости отвечать на предлагаемые ей вопросы.

– Судя по вашему выговору, вы родились не в этих местах? – продолжал лорд-хранитель.

– Я родилась в Англии, милорд.

– Однако вы, кажется, очень привязаны к нашей стране и любите ее как родину?

– Здесь, милорд, – сказала слепая, – я знала и радости и горе, ниспосланные мне небом; здесь

я прожила двадцать лет с нежнейшим и добрейшим из мужей; здесь я родила шестерых детей и здесь похоронила их. Они покоятся вон там, у полуразвалившейся часовни. При их жизни у меня не было другой родины, кроме их родины, и после их смерти мне не надобно иной.

– Но ваш дом в очень плохом состоянии, – заметил сэр Уильям, бросая взгляд на ветхое жилище.

– Ах, отец! – воскликнула Люси, ловя лорда-хранителя на слове. – Прикажите починить его! – И смутившись, добавила:

– Разумеется, если сочтете возможным.

– Мне бы не хотелось, чтобы милорд беспокоился из-за меня, дорогая мисс Люси, – сказала слепая. – На мой век мне хватит!

– Но прежде вы жили в хорошем доме, – настаивала Люси, – и были богаты, а теперь, под старость, вам приходится ютиться в такой лачуге.

– Для меня и этого достаточно, мисс Люси. Если мое сердце выдержало столько своих и чужих горестей, то, верно, уж закалено против всяких напастей, а мое старое тело не стоит ваших хлопот.

– Вы, вероятно, испытали немало превратностей на своем веку, – сказал сэр Уильям, – и опыт, разумеется, научил вас быть ко всему готовой.

– Он научил меня смирению, милорд, – последовал ответ.

– И вы не можете не знать, что годы всегда приносят с собою перемены.

– О да, милорд. Я знаю, что ствол, на котором вы сейчас сидите – остаток великолепного громадного ясеня, – должен рано или поздно сгнить, если прежде его не уничтожит топор дровосека. Но я надеялась, что мои глаза не увидят падения старого дерева, под сенью которого стояло мое жилище.

– Не подумайте, что я рассержусь на вас за то, что вы сожалеете о прежних владельцах моего поместья, – ответил сэр Эштон. – У вас, без сомнения, есть причины любить их, и я уважаю ваши чувства.

Я прикажу починить ваш домик, и, надеюсь, мы будем друзьями, когда короче узнаем друг друга.

– В мои годы уже не обзаводятся новыми друзьями, – сказала Элис. – Я очень благодарна вам, милорд; вы, несомненно, говорите от души. Но я ни в чем не нуждаюсь и не могу ничего принять от вас.

– В таком случае, – продолжал лорд-хранитель, – позвольте мне по крайней мере сказать, что я рад встретить в вас женщину умную и воспитанную и надеюсь, что вы будете жить в моих владениях до конца своих дней. Я освобождаю вас от арендной платы.

– Я тоже на это надеюсь, милорд, – спокойно ответила слепая. – Насколько мне помнится, освобождение от платы входит в одно из условий продажи вам Рэвенсвуда, хотя такое ничтожное обстоятельство могло легко ускользнуть из вашей памяти.

– В самом деле, – сказал лорд-хранитель, несколько смущенный, – я припоминаю... Но, я вижу, вы слишком привязаны к вашим старым друзьям, чтобы принять услугу от их преемника.

– Нисколько, милорд. Я благодарна вам за доброе отношение ко мне, хотя и не могу принять ваших милостей, и желала бы доказать вам мою признательность иначе, чем теми немногими словами, которые мне придется сейчас сказать вам.

Сэр Уильям не без удивления взглянул на нее, но не сказал ни слова.

– Милорд, берегитесь, – продолжала Элис, – вы на краю пропасти.

– Что вы говорите! – взволновался сэр Эштон, и его мысли тотчас обратились к политическому положению страны. – До вас дошли какие-нибудь слухи?

Составлен заговор? Готовится мятеж?

– Нет, милорд. Люди, занимающиеся подобными делами, не посвящают в них старых, слепых и больных. Я хочу предостеречь вас от опасности совсем иного рода. Вы слишком далеко зашли, милорд, в отношении Рэвенсвудов. Верьте мне, это – лютый род, а люди, доведенные до отчаяния, всегда опасны.

– Что вы, что вы! – воскликнул лорд-хранитель. – Я тут ни при чем: таково решение суда,



несли Рэвенсвуды недовольны тем, что я выиграл дело, пусть в суд и обращаются.

– Но они могут думать иначе и, изверившись в помощи закона, свершить правосудие собственными руками.

– Что вы хотите этим сказать? – воскликнул сэр Эштон. – Неужели вы думаете, что молодой Рэвенсвуд способен прибегнуть к насилию?

– Сохрани бог, чтобы я сказала что-либо подобное! Он честный, прямой, – да, да, честный, прямой, – так я сказала, и еще добавлю: чистосердечный, великодушный, благородный юноша; но все же он – Рэвенсвуд, он будет выжидать свой час. Не забывайте участи сэра Джорджа Локхарда.

Сэр Эштон невольно вздрогнул при этом намеке на недавнее трагическое происшествие, а слепая между тем продолжала:

– Чизли, убивший Локхарда, был родственником лорда Рэвенсвуда. Я сама слышала, как он открыто в присутствии нескольких свидетелей грозился исполнить жестокое дело, которое потом совершил. Я не выдержала, хотя по моему положению мне следовало молчать, и сказала ему: «Вы задумали страшное преступление и ответите за него перед всевышним судьей». Никогда не забуду его взгляда, когда он сказал: «Мне придется за многое ответить, так отвечу еще и за это!» Вот почему я говорю: не преследуйте человека, доведенного до отчаяния! В жилах Рэвенсвуда течет кровь Чизли, а одной капли этой крови достаточно, чтобы зажечь пожар. Говорю вам: берегитесь его!

То ли намеренно, то ли случайно, но слепая старуха задела слабую струну в сердце лорда-хранителя.

Шотландские бароны не гнушались убийством врага из-за угла, и под давлением обстоятельств или тогда, когда иначе нельзя было отплатить обидчику, к этому отчаянному и недостойному средству прибегали не только в те далекие, но и в недавние времена. Сэр Уильям превосходно знал об этом; он также знал, что причинил немало зла семейству Рэвенсвудов, и имел все основания опасаться мести – этого неизбежного следствия пристрастия судов – со стороны наследника разоренного им рода. Сэр Уильям постарался скрыть от слепой овладевшее им волнение; но человек даже менее проницательный, чем старая Элис, легко мог бы догадаться, что ее слова произвели на него сильное впечатление. Изменившимся голосом сэр Эштон возразил, что молодой Рэвенсвуд человек чести, ну, а если это не так, то судьба Чизли должна послужить достаточным предостережением всякому, кто вздумал бы пойти по его стопам. С этими словами он поспешно встал и, не дожидаясь ответа, вышел из сада.

## Глава V

*Дочь Капулетти!  
Так в долг врагу вся жизнь  
Моя дана?  
Шекспир<sup>10</sup>*

Лорд-хранитель прошел, не останавливаясь, около четверти мили. Его дочь, застенчивая от природы, к тому же воспитанная, как того требовали обычаи тех далеких лет, в почтении к родителям и в беспрекословном им повиновении, не омегла прервать размышлений отца.

– Ты очень бледна, Люси, – заметил вдруг сэр Уильям, внезапно оборачиваясь к дочери и нарушая молчание.

По понятиям того времени, не позволявшим молодой девушке высказывать свое мнение о важных предметах, пока к ней не обратятся, Люси должна была притвориться, что ничего не поняла из разговора между отцом и Элис, и потому объяснила свое волнение тем, что испугалась буйволов, пасшихся в той части огромного парка, по которой они как раз проходили.

Эти животные были потомками свирепых обитателей древних каледонских лесов, и шотландская знать считала для себя вопросом чести держать в своих парках нескольких таких буйво-

---

<sup>10</sup> Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

лов. Многие еще помнят, как они бродили в родовых поместьях Гамильтонов, Драмланриков и Камбернолдов. Судя по описаниям в летописях и тем огромным костям, которые иногда находят при осушении болот и топей, они уступали ростом и силой своим древним предкам.

Самцы утратили свою косматую гриву, а вся порода измельчала; шерсть приобрела грязно-белый, или, лучше сказать, бледно-желтый цвет, копыта же и рога стали черными. Однако время почти не изменило их лютый нрав, так что было совершенно невозможно отучить их от дикой ненависти к человеку, и, когда к ним приближались без должной осторожности или как-нибудь иначе привлекали их внимание, они становились очень опасны. Вероятно, именно по этой причине дикие стада были уничтожены даже в тех угодьях, о которых говорилось выше, ибо иначе столь достойное украшение шотландских дубрав и баронских поместий, конечно, постарались бы сохранить.

Однако, если не ошибаюсь, несколько буйволов еще существует и поныне в Нортумберленде, в Чилингемском парке, принадлежащем графу Тэнкервилу.

Люси решила, что лучше всего приписать свое волнение – на самом деле вызванное совсем иными причинами – близости нескольких таких животных, которых она, в сущности, не боялась, привыкнув видеть их во время прогулок по парку. К тому же в те времена отнюдь не считалось признаком хорошего тона у молодой леди падать в обморок по всякому поводу.

Однако вскоре оказалось, что мнимая опасность могла сделаться действительной.

Едва Люси успела ответить на слова отца, собиравшегося было попенять дочери за трусость, как вдруг один из буйволов, раздраженный красным цветом ее плаща, а быть может, просто в приступе необъяснимой ярости, которой были подвержены эти животные, отделился от стада, мирно щипавшего траву на другом конце зеленой лужайки, почти скрытой от глаз густо переплетенными ветвями, и начал медленно приближаться к людям, вторгшимся в его владения. Время от времени он останавливался и неистово ревел, то взрывая копытами землю, то взметывая песок рогами, словно старался еще больше разжечь свою лютую злобу и ненависть.

Лорд-хранитель внимательно следил за движениями буйвола; предвидя близкую опасность, он крепко сжал руку дочери и удвоил шаг, надеясь убежать или скрыться от расвирепевшего зверя. Но сэр Эштон не мог поступить хуже: животное, ободренное их бегством, тотчас бросилось за ними следом. Угроза неминуемой гибели могла бы испугать человека и более храброго, чем сэр Уильям, но родительская любовь, «любовь сильнее смерти», придала ему мужества. Не выпуская руки дочери, он продолжал тащить ее за собой, пока бедная девушка, лишившись от ужаса сил, не свалилась у его ног. Не имея другой возможности спасти дочь, сэр Эштон остановился и мужественно стал между нею и разъяренным животным, которое несло теперь во весь опор, все более свирепея от погони, и уже было от них в нескольких шагах. У сэра Уильяма не было при себе оружия: его возраст и положение не позволяли ему носить даже маленькую шпагу – хотя, будь он при шпаге, едва ли это ему помогло бы.

Таким образом, отец или дочь, а быть может, оба вместе, неминуемо должны были сделаться жертвой лютого зверя, как вдруг из соседней рощи раздался выстрел. Метко пущенная пуля попала буйволу в шею у основания черепа, и рана, которая, оказавшись она в любой другой части тела, только удвоила бы ярость взбешенного животного, вызвала почти мгновенную смерть. Буйвол, уже не владея своими конечностями, словно по инерции рванулся вперед и весь покрывшись черным предсмертным потом и сотрясаясь в последних судорогах, с чудовищным ревом рухнул в трех шагах от остолбеневшего лорда – хранителя печати.

Люси лежала на земле без чувств, не сознавая чудесного своего избавления. Отец ее также находился в совершенном оцепенении, так быстро и неожиданно неизбежная смерть сменилась полной безопасностью.

Животное, даже мертвое, внушало страх, и сэр Уильям оторопело смотрел на него с каким-то смутным удивлением, мешавшим ему вполне понять, что же, собственно, произошло. Все случившееся представлялось ему в тумане, и он, вероятно, подумал бы, что зверь убит грозой, если бы среди ветвей не заметил человека с коротким ружьем, иначе называемым мушкетом, Это заставило сэра Эштона тотчас прийти в себя, и взглянув на дочь, он увидел, что она нуждается в немедленной помощи. Поэтому он решил окликнуть стрелка, которого принял за одного из лесни-

чих, и поручить ему мисс Эштон, пока сам он отправится за людьми. Охотник подошел, и сэр Уильям увидел совершенно незнакомого ему человека, но был слишком взволнован и озабочен, чтобы обратить на это внимание. Неизвестный был намного моложе и сильнее его, а потому лорд-хранитель без долгих слов попросил своего избавителя снести дочь к соседнему источнику, сам же поспешил к лачуге Элис за помощью.

Молодой человек, вмешательству которого лорд-хранитель и его дочь были обязаны своим спасением, по-видимому не хотел оставлять доброго дела неоконченным. Взяв Люси на руки, он тропинками, очевидно хорошо ему известными, понес ее через чащу и, дойдя до источника, из которого струилась прозрачная вода, осторожно опустил драгоценную ношу на землю. Некогда над этим источником возвышался готический храм, но теперь от него остались одни лишь развалины; свод рухнул и раскололся, фонтан сломался и разрушился, и вода текла прямо из земли, пробиваясь между остатками разбитой скульптуры и поросшими мхом камнями, преграждавшими ей путь.

Об этом источнике, как и о всяком другом сколько-нибудь примечательном месте в Шотландии, существовала легенда, раскрывающая причину, по которой он удостоился особого поклонения. Рассказывали, что один из лордов Рэвенсвудов, охотясь в этих местах, встретил у источника прелестную молодую девушку, которая, подобно нимфе Эгерии, завладела сердцем этого феодала Нумы. Они стали встречаться у родника, и всегда при закате солнца. Очарование ее ума довершило победу, начатую ее красотой, а таинственность придавала несказанную прелесть этим романтическим свиданиям. Так как девушка всегда появлялась и исчезала близ источника, то ее возлюбленный решил, что между нею и водой существует необъяснимая связь. Красавица требовала соблюдения нескольких условий, также весьма таинственных: влюбленные виделись только раз в неделю, по пятницам, и разлучались, как только колокол в соседней обители, находившейся тогда недалеко в лесу, а ныне уже давно разрушенной, возвещал о вечерне. На исповеди барон Рэвенсвуд поведал отшельнику тайну своей необыкновенной любви, и отец Захария тотчас пришел к совершенно непреложному и очевидному заключению, что его духовный сын попал в сети нечистого и что гибель угрожает не только брэнному телу его, но и душе. Он употребил всю силу монашеского красноречия, чтобы заставить барона поверить в грозящую ему опасность, и в самых страшных красках нарисовал подлинный образ восхитительной жены, которую не колеблясь объявил рукою дьявола.

Влюбленный барон слушал его с упрямым недоверием и, только чтобы отделаться от настойчивых требований отшельника, согласился подвергнуть свою возлюбленную испытанию: по предложению отца Захарии в следующую пятницу колокол к вечерне должен был ударить на полчаса позже обычного. Монах уверял (и в подтверждение своего мнения ссылаясь на «Malleus Maleficarum», Sprengerus, Remigijs («Молот ведьм», Шпренгеруса, Ремигиуса) и других ученых демонологов), что злой дух, вынужденный благодаря этой хитрости оставаться на земле более положенного срока, примет свой настоящий вид и, представ перед уstraшенным бароном исчадием ада, исчезнет в серном пламени. Раймонд Рэвенсвуд не без любопытства пошел на все это, хотя и был убежден, что ожидания монаха не оправдаются.

В назначенный час влюбленные, как обычно, встретились у источника, но оставались вместе дольше положенного времени, так как отшельник умышленно запоздал ударить в колокол. Ничто не изменилось в наружности нимфы, но, как только она заметила по удлинившимся теням, что час вечерни миновал, она вырвалась из объятий Раймонда и с воплем отчаяния, прощаясь с ним навеки, бросилась в источник. На поверхности воды показались пузыри, окрашенные кровью, и несчастный барон убедился, что его настойчивое любопытство стало причиной смерти этого оборотничьего и таинственного существа. Угрызения совести и сожаления о прелестной возлюбленной были достойной карой в течение всей его кратковременной жизни, которой он лишился несколько месяцев спустя в битве при Флоддене. Но перед тем как отправиться на поле брани, он, в память о наяде, решил предохранить источник, – где, казалось, все еще обитал ее дух, от всякого осквернения и воздвигнул над ним небольшой храм, от которого теперь остались одни развалины. Говорят, что с этого времени начался упадок дома Рэвенсвудов.

Таково было поверье. Однако кое-кто, желая казаться умнее простого народа, утверждал, что основанием для этой легенды послужила история красавицы крестьянки, возлюбленной этого са-

мого Раймонда, которую он убил в припадке ревности и чья кровь смешалась с водами заговоренного источника, как его называли в округе. Иные приписывали происхождение этого предания языческой мифологии. Но все сошлись на том, что это место – роковое для Рэвенсвудов и что испить воды из этого источника или даже подойти к нему близко было для них так же пагубно, как для Грэма – надеть зеленую одежду, для Брюса – убить паука или для Сен-Клера – переправиться через реку Орд в понедельник.

На этом роковом месте Люси Эштон очнулась от своего продолжительного, почти смертельного обморока. Прекрасная и бледная, словно нимфа из старинной легенды, когда та навеки просталась с Раймондом, Люси полулежала, прислонясь к обломку стены, и ее красный плащ, насквозь промокший от воды, с помощью которой неизвестный юноша старался привести ее в чувство, обрисовывал ее стройную, превосходно сложенную фигуру.

Придя в себя, Люси вспомнила о том, что заставило ее лишиться чувств, и тотчас подумала об отце.

Она посмотрела вокруг, но его не было рядом с ней.

– Где он? Где мой отец? – испуганно воскликнула она.

– Сэр Уильям здоров и невредим, – ответил ей незнакомый – голос. – Не бойтесь, он скоро придет сюда.

– Это правда? – спросила Люси. – Буйвол был от нас в двух шагах. Пустите меня, я пойду искать отца!

С этими словами Люси поднялась; но ее силы были настолько истощены, что она не смогла выполнить свое намерение и неминуемо упала бы на камни и сильно расшиблась, если бы незнакомец, стоявший подле нее, не поддержал ее. Однако он сделал это с какой-то странной неохотой, казавшейся непонятной в молодом человеке, которому выпало счастье предохранить от опасности красавицу. Легкая, воздушная фигурка девушки была словно слишком тяжела для мужественного атлета; не испытывая даже желанную лишнюю минуту удержать ее в своих объятиях, незнакомец посадил Люси на камень, где она сидела раньше, и, отступив на несколько шагов, поспешно повторил:

– Сэр Уильям совершенно здоров и невредим. Он сейчас придет сюда. Не беспокойтесь о нем, на этот раз судьба была к нему милостива. Вы очень слабы, сударыня, и не должны уходить отсюда, пока кто-нибудь более умелый, чем я, не окажет вам необходимую помощь.

Люси, которая теперь уже совершенно пришла в себя, внимательно посмотрела на незнакомца. В его внешности она не обнаружила ничего такого, что могло бы помешать ему предложить руку молодой девушке, нуждающейся в его поддержке, или опасаться, что она не примет его услуги. Как ни была она взволнована, Люси не могла не заметить его холодности и нежелания подать ей руку. Охотничья куртка темного цвета, наполовину скрытая широким коричневым плащом, говорила о том, что юноша – знатного происхождения. Мягкая шляпа с черным пером, надвинутая на лоб почти по самые брови, скрывала его лицо – смуглое, с правильными чертами; оно отличалось гордым, хотя и несколько угрюмым выражением. Тайная печаль или беспокойный дух какой-то темной страсти, должно быть, уничтожили в юноше естественную живость, столь свойственную его летам, так что нельзя было смотреть на него без сострадания или уважения; во всяком случае, молодой человек вызывал интерес и пробуждал любопытство.

Все это – то, о чем нам пришлось рассказывать так долго, – почти мгновенно промелькнуло в сознании Люси. И не успел ее взгляд встретиться с черными, пламенными глазами незнакомца, как она в смущении и страхе опустила голову. Однако нужно было сказать ему несколько слов, по крайней мере она считала своим долгом поблагодарить молодого человека; дрожащим голосом Люси начала говорить о грозившей ей и ее отцу опасности, от которой он с божьей помощью спас их.

При этом изъяслении благодарности незнакомец вздрогнул и, прервав ее, сказал:

– Я оставляю вас, сударыня, – и его мелодичный, глубокий голос вдруг стал суровым, – я оставляю вас на попечении того, для кого сегодня вы, быть может, были ангелом-хранителем.

Эти загадочные, непонятные слова изумили Люси, сердце которой было полно самой безыскусственной, самой искренней благодарности, и она начала опасаться, не оскорбила ли она незна-



комца каким-нибудь неловким словом, будто и вправду могла его обидеть.

– Я, быть может, недостаточно учтиво выразила вам мою признательность, – сказала она. – Я, право, не помню, что сказала, но прошу вас остаться и подождать, пока мой отец... пока лорд – хранитель печати... Позвольте ему поблагодарить вас и узнать имя нашего избавителя.

– К чему вам имя? – ответил незнакомец. – Ваш отец... или, вернее, сэр Уильям Эштон узнает его достаточно скоро, но, боюсь, оно доставит ему мало удовольствия.

– Вы ошибаетесь! – с живостью воскликнула Люси. – Вы не знаете моего отца, он будет очень благодарен вам. Но, быть может, говоря, что он в безопасности, вы обманываете меня: он, верно, сделался жертвой лютого зверя.

В ужасе от этой мысли Люси вскочила, чтобы бежать туда, где произошла страшная сцена; в незнакомце, казалось, боролись два противоречивых желания: пойти вместе с ней или немедленно удалиться; из человеколюбия он решил уговорить, а если понадобится, то и заставить ее остаться.

– Даю вам честное слово, сударыня, – воскликнул он, – я сказал вам правду: ваш отец в полной безопасности. Вы только вновь подвергнете себя опасности, если вернетесь туда, где пасется это дикое стадо. Но если вы хотите идти, – ибо, вообразив, что ее отец в беде, Люси рвалась к нему, невзирая ни на какие уговоры, – если вы непременно хотите идти туда, то обопритесь по крайней мере на мою руку, хотя, быть может, я не тот человек, у которого вам следует искать защиты.

Люси приняла это предложение, не обращая внимания на последние слова.

– Если вы мужчина... если вы джентльмен, – сказала она, – помогите мне разыскать отца. Вы не покинете меня. Вы пойдете со мной. Быть может, пока мы здесь пререкаемся, отец истекает кровью.

И, не слушая извинений и уверений незнакомца, Люси приняла предложенную ей руку и потащила его за собой, думая лишь о том, что без этой поддержки ей не устоять на ногах и что необходимо удержать юношу подле себя. Но в эту минуту она увидела отца, приближавшегося к ним в сопровождении служанки слепой Элис и двух дровосеков, которых он встретил в лесу и позвал с собой. Радость сэра Уильяма, когда он увидел Люси целой и невредимой, заглушила в нем удивление, которое возбудило бы во всякое другое время представившееся ему неожиданное зрелище: его дочь непринужденно опиралась на руку незнакомца.

– Люси, дорогая моя Люси! Ты невредима! Ты жива! – вот все, что мог сказать отец, нежно обнимая дочь.

– Все обошлось, отец, слава богу, – ответила Люси, – я счастлива, что снова вижу вас. Но что подумает обо мне этот джентльмен, – прибавила она, отпуская руку молодого человека и поспешно отодвигаясь от него; румянец залил щеки и шею девушки при одной мысли, что минуту назад она так настойчиво домогалась и даже требовала его помощи.

– Надеюсь, этот джентльмен не пожалеет о своем поступке, – сказал сэр Уильям Эштон, – когда узнает, что сам лорд – хранитель печати приносит ему свою глубокую благодарность за величайшую услугу, какую человек может оказать человеку, – за спасение жизни моего ребенка, за спасение моей собственной жизни... Я уверен, что джентльмен позволит мне просить его...

– Меня ни о чем не просите, милорд, – перебил его незнакомец твердым, властным голосом. – Я – Рэвенсвуд.

Наступила мертвая тишина; от изумления, а может быть, по другой, еще менее приятной, причине лорд-хранитель не мог произнести ни слова. Эдгар завернулся в плащ, гордо поклонился Люси и, едва слышно пробормотав с явной неохотой несколько учтивых слов, скрылся в чаще.

– Мастер Рэвенсвуд! – воскликнул сэр Уильям, оправившись после минутного удивления. – Бегите за ним, остановите его: скажите, что я прошу его выслушать меня.

Дровосеки пустились вдогонку за Эдгаром, однако тотчас возвратились и с некоторым замешательством объяснили, что молодой человек отказался последовать за ними.

Лорд-хранитель отозвал одного из них в сторону и спросил, что сказал им молодой Рэвенсвуд.

– Он сказал, что не пойдет, – ответил дровосек с осторожностью благоразумного шотландца, который не любит передавать неприятные вести.

– А еще что? – допытывался сэр Уильям. – Я хочу знать все, что он сказал.

– В таком случае, милорд, – ответил дровосек, опуская глаза, – он сказал... Но, право, вам неприятно будет это услышать, а у него ведь ничего худого на уме не было.

– Это вас не касается, милейший, – прервал его лорд-хранитель, – я требую, чтобы вы в точности передали его слова.

– Ну так он сказал: передайте сэру Уильяму Эштону, что, когда судьба сведет нас в следующий раз, он будет счастлив расстаться со мной.

– Ну конечно! – воскликнул лорд-хранитель. – Он, вероятно, намекал на пари, которое мы с ним держали о наших соколах. Это пустяки!

И сэр Уильям возвратился к дочери, которая уже настолько оправилась, что могла дойти до дому.

Однако страшная сцена оставила глубокий след в душе крайне впечатлительной девушки; ее воображение было поражено намного сильнее, чем здоровье.

11 днем и ночью, во сне и наяву ей чудился разъяренный буйвол, мчавшийся на нее с диким ревом, а между нею и верной смертью всегда появлялась благородная фигура Эдгара Рэвенсвуда. Пожалуй, для молодой девушки небезопасно сосредоточивать свои мысли, к тому же мысли пристрастные, на одном человеке, но в положении Люси Эштон это было неминуемо. Никогда прежде не встречала она юношу с такой романически привлекательной наружностью; но даже если бы ее окружала целая сотня молодых людей, ничем не уступающих Эдгару или даже лучше его, то и тогда ни один из них не мог бы пробудить в ее сердце столь жгучих воспоминаний о страшной опасности и избавлении от нее, столь глубокого чувства благодарности, изумления и любопытства. Да, именно любопытства, потому что странная скованность и принужденность в обращении с ней Рэвенсвуда, составлявшие разительную противоположность с простым, естественным выражением его лица и приятными манерами, изумили Люси и тем более привлекли ее внимание к Эдгару. Она почти ничего не слышала о Рэвенсвуде и о раздорах между его отцом и сэром Уильямом; впрочем, если ей и были бы известны все подробности, то Люси с ее нежным сердцем вряд ли сумела бы постичь возбужденные этими распрями ненависть и злобу. Она знала, что Рэвенсвуд знатного происхождения, что он беден, хотя является потомком благородного и некогда богатого рода, и сочувствовала гордому юноше, не пожелавшему принять благодарность от новых владельцев родовых его земель. «Неужели он так же отказался бы выслушать нашу признательность и короче познакомиться с нами, – думала она, – если бы слова отца были сказаны мягче, не столь резко, а тем ласковым тоном, которым так умело пользуются женщины, когда им нужно успокоить буйные страсти мужчин?»

Страшен был этот вопрос для молодой девушки, страшен как сам по себе, так и по своим возможным последствиям.

Словом, Люси Эштон блуждала в лабиринте мыслей и грез, весьма опасных для юных впечатлительных натур. Правда, она больше не видела Рэвенсвуда; время, перемена места и новые лица могли бы развеять ее мечты, как это не раз случалось со многими другими девушками, но она была одна, и ничто не отвлекало ее от приятных ей мыслей об Эдгаре.

Леди Эштон находилась как раз в Эдинбурге, занимаясь какими-то придворными интригами, а лорд-хранитель, от природы замкнутый и необщительный, принимал гостей только с тем, чтобы потешить свое тщеславие, или же в политических целях. Таким образом, подле мисс Эштон не оказалось никого, кто мог бы сравниться с идеальным образом рыцаря, каким она рисовала себе Рэвенсвуда, никого, кто мог бы затмить его.

Предаваясь своим мечтам, Люси часто навещала старую Элис, надеясь, что ей не трудно будет вызвать старуху на разговор о предмете, которому она неблагоразумно отводила столько места в своих мыслях.

Но Элис не пожелала пойти ей навстречу, не оправдала ее надежд. Слепая говорила о семействе Рэвенсвудов охотно и с большим увлечением, но словно нарочно обходила упорным молчанием молодого наследника. Если же ей случалось сказать о нем несколько слов, то они были далеко не так хвалебны, как ожидала Люси. Элис давала понять, что он человек суровый, не склонный забывать обиды, способный скорее мстить, чем прощать. Люси с испугом слушала эти намеки на

опасные свойства молодого человека, вспоминая, как настойчиво советовала Элис ее отцу. остерегаться Рэвенсвуда.

Но разве сам Рэвенсвуд, на которого возводились все эти несправедливые подозрения, не опроверг их, спасая жизнь ей и ее отцу? Если, как намекала Элис, Эдгар вынашивал мрачные замыслы, то он мог вполне удовлетворить свое чувство мести, не прибегая даже к преступлению: ему достаточно было лишь чуть помедлить, воздержавшись от необходимой помощи, и человек, которого он ненавидел, неминуемо погиб бы страшной смертью без всякого усилия с его стороны.

Поэтому Люси решила, что какое-нибудь тайное предубеждение, а быть может, просто подозрительность, свойственная старым, убогим людям, заставляли Элис относиться неблагоприятно к молодому Рэвенсвуду, приписывая ему такие черты, которые противоречили его великодушному поступку и благородному облику.

На этом убеждении Люси основывала все свои надежды, продолжая плести волшебную ткань фантастических мечтаний, прозрачную и блестящую, как натянутая в воздухе паутина, унизанная бусинками росы и сверкающая в лучах утреннего солнца.

Ее отец и молодой Рэвенсвуд не менее часто вспоминали о страшном событии, но мысли их были более земными. Возвратись домой, лорд-хранитель прежде всего послал за врачом, дабы убедиться, что здоровье его дочери не пострадало от пережитого ею потрясения. Успокоившись на этот счет, он тщательно перечитал докладную записку, набросанную со слов судебного пристава, которому было поручено помешать исполнению епископальных обрядов на похоронах лорда Рэвенсвуда. Искусный казуист, привыкший вкось и вкривь толковать законы, сэра Уильям без малейшего труда смягчил описание происшедших на похоронах беспорядков, которые поначалу собирался изобразить в самых черных красках. В заключение он даже убеждал своих коллег, членов Тайного совета, в необходимости прибегать к миролюбивым мерам, когда речь идет о молодых людях с горячей кровью и без должного опыта. Он даже не остановился перед тем, чтобы взвалить часть вины на пристава, который своим поведением якобы вызвал молодого человека на резкость.

Таково было содержание официальных депеш; частные же письма к друзьям, в руки которых должно было попасть это дело, звучали еще благодушнее.

Сэр Уильям утверждал, что в данном случае снисходительность явилась бы благоразумной мерой и пришлась бы по вкусу народу, тогда как, принимая во внимание глубокое уважение, питаемое в Шотландии к похоронам, проявление суровости к молодому Рэвенсвуду только за то, что он воспротивился нарушению погребальных обрядов над телом отца, возбудило бы всеобщее недовольство. Наконец, принимая тон человека благородного и великодушного, сэра Уильям просил как о личном одолжении, чтобы этому делу не давали никакого хода. Он деликатно намекал на свои сложные отношения с молодым Рэвенсвудом, с отцом которого он вел долгие тяжбы, приведшие к оскудению этого благородного рода; сознавался, что ему было бы приятно изыскать средства хотя бы частично вознаградить молодого человека за потери, нанесенные ему и его семье в результате победы, одержанной им, сэром Уильямом, при защите своих законных и справедливых прав. Ввиду всего этого лорд-хранитель просил друзей как об особой услуге прекратить всякое преследование, вместе с тем давая понять, что ему было бы весьма желательно, чтобы молодой Рэвенсвуд был обязан таким счастливым исходом дела его, сэра Эштона, заступничеству.

Однако в письмах к леди Эштон сэра Уильяма, против своего обыкновения, не упомянул ни словом о беспорядках на похоронах лорда Рэвенсвуда и, хотя сообщил о том, что он и Люси подверглись нападению буйвола, умолчал о всех подробностях этого страшного происшествия.

Друзья и коллеги сэра Уильяма были крайне озадачены, получив от него письма такого неожиданного содержания. Сравнивая между собою эти послания, один улыбался, другой удивленно поднимал бровь, третий покачивал головой, а четвертый спрашивал, нет ли по этому вопросу еще каких-нибудь писем от лорда-хранителя.

– Очень странно, милорды, – заявил один из них, – но ни одна из этих просьб не заключает в себе сути дела.

Однако никаких тайных разъяснений не последовало, хотя казалось невероятным, чтобы таковых не существовало.

– Ну, – сказал седовласый сановник, сохранивший благодаря искусному лавированию свое

место у кормила правления, несмотря на все перемены курса, которым государственный корабль подвергался в течение тридцати лет, – ну, я полагал, что сэр Уильям помнит старую шотландскую поговорку: шкура ягненка продается на рынке точно так же, как и шкура старого барана.

– Придется исполнить его желание, – вздохнул другой, – хотя, признаться, я никак не ожидал от него подобной просьбы.

– Своевольный человек всегда делает так, как взбредет ему на ум, – заметил старый советник.

– Не пройдет и года, как лорд-хранитель раскается в этом поступке,

– сказал третий. – Молодой Рэвенсвуд еще заварит кашу.

– Ну, а вы, милорды, что бы сделали с этим бедным юношей? – спросил маркиз Э\*\*\*, заседавший в совете. – Лорд-хранитель завладел всеми его поместьями. У Рэвенсвуда нет и ломаного гроша за душой.

– Кто не может расплатиться,  
Пусть под плети сам ложится, –

Продекламировал старый лорд Тернтипет. – Вот как поступали до революции: *Luitur cum persona, qui luere non potest cum crumena*.<sup>11</sup> Прекрасная судейская латынь, милорды.

– Я не вижу, милорды, к чему нам заниматься этим делом, – заявил маркиз. – Пусть лорд-хранитель действует сам как считает нужным.

– Согласны, согласны. Пусть лорд-хранитель сам сделает заключение по этому делу. Ну, а для формы, назначим ему кого-нибудь в помощь, ну хотя бы лорда Хэрплхоли, благо он теперь болен. Секретарь, внесите это решение в протокол... Теперь, милорды, нам надо решить вопрос о штрафе с этого шалопаю, лэрда Бакло. Я думаю, это входит в компетенцию лорда-канцлера.

– Ну нет, милорды! – раздался голос лорда Тернтипета. – Стыдно вам тащить у меня кусок изо рта.

Я уже давно на него нацелился и как раз собирался полакомиться.

– Говоря словами вашей же любимой поговорки, – перебил его маркиз,

– вы точь-в-точь как та собака мельника, что облизывается, еще не видя кости. Штраф пока еще не наложен.

– Для этого достаточно только черкнуть пером, – возразил лорд Тернтипет, – и, конечно, ни один благородный лорд из здесь присутствующих не осмелится утверждать, что я – когда вот уже тридцать лет я соглашаюсь со всем, с чем только нужно, делаю все, что ни потребует: отрекаюсь, когда нужно, присягаю, когда нужно; словом, тридцать лет без устали тружусь на пользу отчизне и в хорошие и в плохие времена, – что после такой работы я не заслужил, чтобы мне дали иногда промочить горло.

– Разумеется, милорд, – ответил маркиз, – это было бы и впрямь нехорошо с нашей стороны, будь у нас хоть малейшая надежда утолить вашу жажду или если бы вы вдруг поперхнулись и нуждались в промывании глотки...

Однако пора задернуть занавес и расстаться с Тайным советом Шотландии тех далеких дней.

## Глава VI

*Ужель для басенки пустой  
Здесь воины сидят,  
И слезы глупые ужель  
Осият наш булат?  
Генри Макензи*

Вечером того дня, когда лорд-хранитель и его дочь были спасены от неминуемой гибели, два

---

<sup>11</sup> Расплачивается собой тот, кто не может расплатиться деньгами (лат.).



незнакомца сидели в самой отдаленной комнате маленького неприметного трактира, или, лучше сказать, харчевни, под вывеской «Лисья нора», находившегося в трех или четырех милях от замка Рэвенсвуд и на таком же расстоянии от полуразрушенной башни «Волчья скала».

Одному из собутыльников было на вид лет сорок; он был высокого роста, худощав, с горбатым носом, черными пронизательными глазами, умным и зловещим выражением лица. Другой – коренастый, румяный и рыжеволосый – казался лет на пятнадцать моложе. У него был открытый, решительный, веселый взгляд, а в светло-серых глазах, придавая им живость и выразительность, горел беспечно-дерзкий огонек, говоривший об отваге их обладателя.

На столе красовалась фляга с вином (в те дни вино не подавали в бутылках, а разливали из бочонков в жестяные фляги), и перед каждым стоял квайг.<sup>12</sup> Однако веселье не царило за их столом. Скрестив руки, оба гостя молча смотрели друг на друга, углубившись в собственные мысли.

Наконец тот, что был помоложе, прервал молчание.

– Какой черт его там задерживает? – воскликнул он. – Неужели дело не выгорело? Зачем только вы не дали мне пойти вместе с ним?

– Каждый сам должен мстить за нанесенную ему обиду, – ответил старший. – Мы и так рискуем своей жизнью, ожидая его здесь.

– А все-таки вы трус, Крайгенгельт, – сказал младший. – И многие уже давно пришли к этому заключению.

– Но никто еще не осмелился сказать это мне в лицо! – воскликнул Крайгенгельт, хватаясь за шпагу. – Ваше счастье, что я не придаю значения опрометчивому слову, а то бы... – И он замолчал, ожидая, что скажет его собеседник.

– Вы бы... Ну, что бы вы сделали? Что же вас останавливает?

– Что меня останавливает? – ответил Крайгенгельт, наполовину вытаскивая шпагу из ножен и тотчас вкладывая ее обратно. – А то, что у этого клинка есть дело поважнее, чем разить всяких вертопрахов.

– Вы правы, – сказал молодой человек, – надо быть безмозглым хлыщом или уж вконец сумасшедшим, чтобы надеяться на ваши прекрасные обещания доставить мне место в ирландской бригаде. Но что делать! Все эти конфискации, особенно последний штраф, который жаждет опустить себе в карман старый мошенник Тернтипет, лишили меня крова и состояния. В самом деле, что у меня общего с ирландской бригадой? Я шотландец, как мой отец, как весь наш род. А моя тетка, леди Герништон... Не будет же она жить вечно!

– Все это превосходно, Бакло, но она может еще долго протянуть. Что же касается вашего отца... У него были земля и деньги, он не закладывал своих поместий, не имел дела с ростовщиками, платил долги и жил на собственные средства.

– А кто виноват, что я не могу жить, как он? Вы и вам подобные вконец меня разорили, и теперь мне, конечно, придется последовать вашему жалкому примеру: одну неделю – распространять тайные вести из Сен-Жермена, другую – распускать слухи о восстании горцев; кормиться за счет старух якобиток, выдавая им пряжи волос из старого парика за кудри Шевалье; поддерживать приятеля в ссорах до дуэли, а там ретироваться, – ведь политический агент не имеет права рисковать своей жизнью из-за пустяков. И все это за кусок хлеба да за удовольствие называть себя капитаном.

– Вы полагаете, что говорите очень красноречиво, – сказал Крайгенгельт, – и славно поглотились надо мной. Что ж, разве лучше подыхать с голоду или качаться на виселице, чем вести такую жизнь, какую веду я, и то только потому, что наш король не может в настоящую минуту лично содержать своих слуг.

– Умереть с голоду честнее, а виселицы вам и так не миновать. Однако никак не возьму в толк, что вам нужно от бедного Рэвенсвуда. Денег у него не больше, чем у меня; все оставшиеся у него земли заложены и перезаложены: доходов не хватает даже на уплату процентов. Чем вы рас-

---

<sup>12</sup> Квайг – чаша, состоящая из маленьких деревянных дощечек, соединенных вместе, как бочка; квайги употреблялись для вина и водки и бывали различных размеров, иногда их делали из драгоценного дерева в серебряной оправе. (Прим, автора.)

считываете поживиться, впутываясь в его дела?

– Не беспокойтесь, Бакло, я знаю, что делаю.

Во-первых, он из древнего рода и отец его оказал большие услуги в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году, так что если удастся завербовать его, это не преминут оценить в Сен-Жермене и Версале. Потом, да будет вам известно, молодой Рэвенсвуд не вам чета: у него есть ум и такт, он талантлив и смел; за границей он покажет себя как человек с головой и сердцем, который знает кое-что помимо верховой езды и соколиной охоты. Мне почти перестали доверять, потому что я вербую людей, у которых мозгов хватает только на то, чтобы поднять оленя да приручить сокола. Рэвенсвуд же образован, сметлив и умен.

– И при всех этих достоинствах он попался к вам в сети. Не сердитесь, Крайгенгельт. Да оставьте же в покое вашу шпагу! Вы же все равно не будете драться! Скажите-ка лучше тихо да мирно, каким образом вы сумели втереться в доверие к Рэвенсвуду?

– Очень просто: потворствуя его жажде мщения.

Вы думаете, я не знаю, что Эдгар меня недолгоблiviaет; но я выждал удобный момент и опустил молот, когда от обид и несправедливостей мой рыцарь раскалился докрасна. В настоящую минуту он отправился, как он выразился (а может, он и в самом деле так думает), объясниться с сэром Уильямом Эштоном. Но поверьте, если они встретятся и адвокат начнет оправдываться, ссылаясь на законы, Рэвенсвуд убьет старика. Глаза у Эдгара так сверкали, что трудно было бы обмануться относительно его намерений. Впрочем, если он и не убьет Эштона, то задаст ему такого страха, что власти все равно обвинят нашего приятеля в покушении на жизнь члена Тайного совета.

Таким образом, между ним и правительством ляжет пропасть, в Шотландии ему станет слишком жарко, Франция предложит ему убежище, и мы все вместе отправимся туда на французском корабле «L'Espoir»,<sup>13</sup> ожидающем нас близ Эймута.

– Превосходно, – сказал Бакло. – В Шотландии меня теперь ничто не держит; если же благодаря присутствию Рэвенсвуда нас лучше примут во Франции, то, черт возьми, пусть будет по-вашему! Боюсь, наши собственные достоинства не обеспечат нам там больших чинов. Будем надеяться, что, прежде чем отправиться с нами, Рэвенсвуд не преминет всадить пулю в голову лорда-хранителя. Раз в год неплохо убивать одного из этих сановных негодяев для остротки.

– Совершенно справедливо, – согласился Крайгенгельт. – Пойду-ка посмотрю, накормлены ли наши лошади и готовы ли они в дорогу: если Рэвенсвуд не Передумал, нам нельзя будет мешкать ни секунды.

Крайгенгельт направился к двери, но остановился на пороге и прибавил:

– Чем бы ни кончилось это дело, Бакло, вы, надеюсь, запомнили, что я не сказал Рэвенсвуду ни единого слова, одобряющего те глупости, которые могут взбрести ему в голову.

– Разумеется, ни единого слова, – ответил Бакло. – Уж кто-кто, а вы знаете, какая опасность заключается в страшном слове – соучастник.

И тут же вполголоса продекламировал:

– Нем циферблат, но знак он подает

И указывает на удар убийцы.

– Что вы там еще бормочете! – воскликнул Крайгенгельт, беспокойно оборачиваясь.

– Ничего... Стихи... Я их слышал когда-то на сцене.

– Право, Бакло, по-моему, вам самому следовало бы стать актером: для вас все шутка да забава.

– Я и сам об этом подумывал. Во всяком случае, это было бы куда безопаснее, чем разыгрывать с вами Роковой заговор. Ну, идите, исполняйте вашу роль: присмотрите за лошадьми, как подобает хорошему конюху. Комедиант, актер! – продолжал Бакло, оставшись один. – За эти слова стоило бы угостить его ударом шпаги... Да не стоит связываться с трусом!

---

<sup>13</sup> «Надежда» (франц.).

Впрочем, сцена прилась бы мне по душе. Пойдите...

Да... Я вышел бы в «Алекса́ндре» и воскликнул:

Спаси любовь я вышел из могилы,  
Обрушьте на меня все ваши силы;  
Всех сокрушу, когда рванусь вперед:  
Любовь велит мне, слава в бой ведет!

Как раз когда Бакло, опершись на эфес шпаги, громовым голосом декламировал напыщенные вирши бедного Ли, в комнату вбежал испуганный Крайгенгельт.

– Мы пропали! – воскликнул он. – Конь Рэвенсвуда запутался в недоуздке и совсем охромел. Иноходец, на котором он теперь отправился, слишком утомится, а другой лошади у нас нет. На чем он теперь поедет?!

– Да, на этот раз не удастся лететь стрелой, – сухо согласился Бакло. – Однако стойте! Вы же можете уступить ему свою кобылу.

– Что? И попасться самому! Благодарю покорно.

– Полноте! Если даже с лордом-хранителем что-нибудь случилось, – чего, я, впрочем, не думаю, так как Рэвенсвуд не из тех, кто стреляет в безоружного старика, – и даже если в замке произошло небольшое столкновение, – то вам-то чего бояться? Ведь вы-то к этому непричастны!..

– Конечно, конечно, – ответил сбитый с толку Крайгенгельт, – но вы забываете о моем поручении из Сен-Жермена.

– Многие считают это вашей собственной выдумкой, благородный капитан. Ладно, если вы не хотите дать Рэвенсвуду вашу лошадь, я, черт возьми, дам ему свою.

– Вашу?

– Да, мою, – подтвердил Бакло. – Пусть не говорят, что, обещав джентльмену поддержку, я потом ничего для него не сделал и даже не помог выпутаться из беды.

– Вы дадите ему вашу лошадь? А вы подумали, какой вы потерпите убыток?

– Убыток? Ах, убыток! Да, мой Серый Гилберт обошелся мне в двадцать золотых, но его иноходец тоже чего-нибудь да стоит, а второй его конь, Черный Мавр, если его выводить, будет стоить вдвое дороже моего. А я знаю, как за это дело приняться. Надо взять жирного щенка, обработать с него шкуру, выпотрошить, набить черными и серыми улитками, потом долго жарить, поливая смесью масла, лаванды, шафрана, корицы и меда...

– Превосходно! Только прежде, чем ваш конь вылечится, нет, еще прежде, чем ваш щенок изжарится, вас поймают и повесят. Можете не сомневаться, что погоня за Рэвенсвудом будет отчаянная. Дорого бы я дал, чтобы место нашего свидания было поближе к морю.

– В таком случае, может быть, благоразумнее отправиться вперед, оставив ему здесь мою лошадь?

Но тише, тише... Кажется, он едет. Я слышу стук копыт.

– Слышите? – испугался Крайгенгельт. – Вы уверены, что он один? Мне кажется, за ним погоня.

Я слышу топот нескольких коней – конечно, их много.

– Да полно вам! Это служанка идет за водой и стучит по лестнице деревянными башмаками. Клянусь честью, капитан, вам следует отказаться от вашего чина и от всяких тайных поручений: вы пугливее дикого гуся. А вот и Рэвенсвуд! И, как видите, один!

Он, кажется, мрачен, как ноябрьская ночь.

И точно, в эту минуту на пороге появился Рэвенсвуд в плаще, со скрещенными на груди руками и с задумчивым, печальным выражением лица. Войдя в комнату, он скинул плащ, опустился на стул и, казалось, надолго погрузился в глубокое раздумье.

– Ну что? Что? – бросились к нему Крайгенгельт и Бакло.

– Ничего, – угрюмо отрезал Рэвенсвуд.

– Ничего?! – повторил Бакло. – Но вы же уехали с твердым намерением рассчитаться со старым негодяем за все обиды, нанесенные вам, и нам, и всей стране. Вы видели его?

– Видел.

– Вы видели его и не расквитались с ним сполна?

Признаюсь, я не этого ожидал от мастера Рэвенсвуда.

– Какое мне дело до того, что вы ожидали. Вам, сэр, я не намерен давать отчет в своих действиях.

– Тише, Бакло! – вмешался Крайгенгельт, видя, что его приятель вспыхнул и собирается ответить дерзостью. – Погодите! Рэвенсвуду, наверное, что-нибудь помешало. Но мастер должен извинить тревогу и любопытство столь преданных ему друзей, как вы и я.

– Друзей, капитан Крайгенгельт! – надменно воскликнул Рэвенсвуд. – Я что-то не припомню, чтобы мы были в близких отношениях. Не знаю, по какому праву вы называете себя моим другом. Мне кажется, вся наша дружба ограничивается тем, что мы условились вместе уехать из Шотландии, как только я побываю в замке, некогда принадлежавшем моим предкам, и повидаясь с его новым владельцем, я не скажу – законным хозяином.

– Совершенно верно, мастер Рэвенсвуд, – ответил Бакло, – но, видите ли, мы полагали, что вы намерены обстричь тут одно дельце, небезопасное для вашей головы. И вот мы с Крайги решили задержаться ради вас, хотя и рисковали собственной шкурой.

Что касается Крайги, то ему это, может быть, и безразлично; ему все равно болтаться на виселице; но мне бы не хотелось позорить свой древний род такой бесславной смертью, да еще ради чужого человека.

– Я очень сожалею, джентльмены, что причинил вам столько хлопот, – сказал Рэвенсвуд, – но я оставляю за собой право самому решать свои дела и не собираюсь никому давать в них отчет. Я изменил свое намерение и пока остаюсь в Шотландии.

– Остайтесь! – воскликнул Крайгенгельт. – Вы остаетесь после того, как я потратил на вас столько сил и денег: подвергался опасности быть узнанным, заплатил за фрахт и простой судна!

– Сэр, – ответил Рэвенсвуд, – когда я принял поспешное решение покинуть родину, я воспользовался вашим любезным предложением доставить мне средства к отъезду, но, насколько мне помнится, я не брал на себя обязательств уехать во что бы то ни стало, даже в том случае, если я изменю свое решение. Я приношу вам свои сожаления и благодарность за ваши хлопоты обо мне. Что же касается ваших издержек,

– прибавил он, опуская руку в карман, – то есть средство уладить дело: я не знаю, что стоит фрахт и простой судна, но вот мой кошелек, возьмите, сколько вам следует.

И Рэвенсвуд протянул самозванному капитану кошелек с несколькими золотыми. Но тут настала очередь Бакло вмешаться.

– Я вижу, Крайги, – сказал он, – что у вас так и чешутся руки схватить этот кошелек; но клянусь небом, если вы к нему прикоснетесь, я отрублю вам этой шпагой пальцы. Раз Рэвенсвуд изменил свое намерение, нам больше незачем здесь оставаться.

Я только просил бы позволения сказать...

– Говорите, пожалуйста, – перебил его капитан, – но прежде я должен указать мастеру Рэвенсвуду на все неудобства, которым он подвергается, расставаясь с нами, и напомнить ему обо всех опасностях, ожидающих его здесь, а также о трудностях, с которыми он встретится в Версале или Сен-Жермене, если явится туда, не заручившись поддержкой тех, кто уже завязал там нужные связи, – Не говоря о том, что он потеряет дружбу по крайней мере одного честного и благородного человека, – прибавил Бакло.

– Джентльмены, – возразил Рэвенсвуд, – позвольте мне еще раз вам заметить, что вы придали нашему мимолетному знакомству гораздо больше значения, чем я ожидал. Если мне вздумается отправиться служить при иностранном дворе, я обойдусь без рекомендации интригана и авантюриста, и я не нахожу нужным дорожить дружбой шалого сорванца.

И, не ожидая ответа, Рэвенсвуд вышел из комнаты, сел на лошадь и ускакал.

– Черт возьми, – воскликнул Крайгенгельт, – я потерял рекрута!

– Да, капитан, – подтвердил Бакло, – рыба ушла вместе с крючком и наживкой. Но я догоню его: он наговорил мне таких дерзостей, каких я не могу ему спустить.

Крайгенгельт вызвался сопровождать приятеля, но Бакло отклонил это предложение – Не



стоит, капитан! – воскликнул он. – Сидите у камина и ждите моего возвращения. В непродырявленной шкуре лучше спится.

Старуха за печкой не ведает стужи,  
Как знать ей, что ветер бушует снаружи.

И, напевая эту веселую песенку, Бакло вышел из комнаты.

## Глава VII

*Ну, Билли Бьюик, нам, пожалуй,  
Добром не разойтись;  
И коль ты вправду храбрый малый,  
Со мной сейчас сразись.*  
**Старинная баллада**

Увидав, в каком состоянии находится его запасная лошадь, Рэвенсвуд сел на иноходца, на котором приехал, и, чтобы не загнать его окончательно, пустил шагом по направлению к старой башне «Волчья скала». Внезапно он услышал за собой конский топот и, оглянувшись, увидел, что за ним гонится Бакло, немного замешкавшийся при выезде из трактира, ибо слишком велико было искушение подробно объяснить конюху, как лечить хромую лошадь; однако он наверстал потерянное время, пустив коня вскачь, и настиг Рэвенсвуда в том самом месте, где дорога проходила по вересковой пустоши.

– Остановитесь, сэр! – крикнул Бакло. – Я не какой-нибудь политический агент вроде капитана Крайгенгельта, который так дорожит своей жизнью, что боится рисковать ею ради чести. Я Фрэнк Хейстон из Бакло. Всякий, кто нанесет мне оскорбление действием или словом, жестом или взглядом, должен дать мне удовлетворение – Отлично, мистер Хейстон из Бакло, – ответил Рэвенсвуд очень спокойным и равнодушным тоном, – но я не имел с вами ссоры и не желаю ее иметь...

Наши дороги, не только теперь, но и вообще, лежат в разных направлениях, и я не вижу причин для столкновений.

– Не видите? – запальчиво воскликнул Бакло. – Зато я вижу, черт возьми: вы назвали нас интриганами и авантюристами.

– Выражайтесь точнее, мистер Бакло: эти слова относились только к вашему собутыльнику, и согласитесь, что он их заслуживает.

– Ну и что же, сэр? Он находился в моем обществе, а никто не смеет

– прав он или не прав – оскорблять моего приятеля при мне.

– В таком случае, мистер Хейстон, – возразил Рэвенсвуд с прежним хладнокровием, – вам следует быть строже в выборе приятелей; боюсь, что в роли их заступника вы не оберетесь хлопот. Послушайтесь доброго совета: поезжайте-ка домой да выпитесь хорошенько. Завтра вы посмотрите на это дело спокойнее.

– Ну нет, сэр, вы не за того меня принимаете.

От меня вы не отделаетесь вашим надменным тоном и мудрыми советами. Ко всему прочему, вы назвали меня шалым сорванцом и, если хотите кончить дело миром, извольте взять свои слова назад.

– Говоря по чести, вряд ли я это сделаю, если вы не измените своего поведения и не покажете мне, что я ошибался.

– Ах так, сэр, – вскипел Бакло. – Весьма сожалею, но, при всем моем уважении к вам, я требую, чтобы вы либо немедленно извинились передо мной за ваши дерзости и взяли их назад, либо назначайте время и место.

– В этом нет необходимости, – ответил Рэвенсвуд. – Я сделал все от меня зависящее, чтобы избежать ссоры, но если вы настаиваете, то это поле не хуже любого другого.

– Так долой с лошади и обнажайте шпагу! – воскликнул Бакло, первый подавая тому при-

мер. – Я всегда думал и говорил, что вы молодец, и мне не хотелось бы менять свое мнение.

– Я не собираюсь давать вам повод к этому, сэра, – ответил Рэвенсвуд, соскакивая с лошади и принимая оборонительное положение.

Шпаги тотчас скрестились, и поединок начался.

Бакло, заядлый дуэлянт, владевший шпагой с удивительной ловкостью и проворством, повел бой с большим жаром. Но на этот раз его искусство ему не помогло: раздраженный холодным и презрительным обращением Рэвенсвуда, в особенности тем, что тот не сразу принял его вызов, он, не умея сдерживать нетерпение, бросился на противника с неосмотрительной горячностью. Рэвенсвуд, не менее искусно владевший шпагой, но обладавший большей выдержкой, только защищался и даже не пожелал воспользоваться несколькими промахами не в меру горячившегося врага.

Наконец Бакло сделал отчаянный выпад, но, вместо того чтобы поразить Рэвенсвуда, поскользнулся и упал на траву.

– Дарю вам жизнь, сэра, – сказал Рэвенсвуд, – постарайтесь исправиться.

– Боюсь, ничего путного из меня уже не получится, – ответил Бакло, медленно поднимаясь и беря шпагу: он был гораздо меньше расстроен исходом поединка, чем можно было бы ожидать при неуравновешенности его нрава. – Благодарю вас за великодушие. Вот вам моя рука: я несколько не сержусь на вас за свою неудачу и ваше искусство.

Рэвенсвуд пристально посмотрел на него и, протянув руку, сказал:

– Вы благородный человек, Бакло. Я виноват перед вами и чистосердечно прошу прощения за необдуманные и обидные слова; сознаюсь, они несправедливы.

– Правда? – обрадовался Бакло, и лицо его тотчас приняло свойственное ему беспечно-нагловатое выражение. – Вот уж чего я меньше всего ожидал!

Говорят, вы неохотно отказываетесь от своих слов и убеждений.

– Я никогда не отказываюсь от своих слов, если говорю обдуманно.

– Значит, вы благоразумнее меня: я всегда сначала дерусь, а потом уже объясняюсь. Если противник убит, то все счета кончены, если же нет, то мир всего легче заключить после войны. Но что надо этому крикуну? – прибавил Бакло, указывая на мальчика верхом на осле. – Жаль, что он не прибыл сюда несколькими минутами раньше. Впрочем, мы бы все равно кончили, так или иначе; и, право, я вполне доволен исходом дела.

Тем временем мальчик, ударами палки заставлявший осла нестись во всю прыть, приблизился к ним и, подобно одному из героев Оссиана, принялся возглашать новости еще издали.

– Джентльмены, джентльмены! – кричал он. – Спасайтесь! Хозяйка послала сказать вам, что в гостинице солдаты. Они схватили капитана Крайгенгельта и ищут мистера Бакло. Уезжайте отсюда, да поскорее!

– Клянусь честью, ты прав, дружище, – сказал Бакло. – Вот тебе шестипенсовик за предупреждение.

Я дал бы вдвое тому, кто указал бы, куда мне ехать.

– Пожалуйста, Бакло, – отозвался Рэвенсвуд, – поедем ко мне в «Волчью скалу»; в моей старой башне найдутся, такие уголки, где вас не отыщет и тысяча солдат.

– Это может навлечь на вас беду, Рэвенсвуд.

Если вы еще не спутались с якобитами, то не к чему мне втягивать вас в такое дело.

– Пустое, мне нечего бояться.

– В таком случае я с радостью поеду с вами; по правде говоря, я не знаю, куда Крайгенгельт собирался отвести нас, а если его схватили, он не преминет рассказать властям всю правду обо мне да сочинит тысячу небылиц о вас, лишь бы самому спастись от петли.

Молодые люди тотчас сели на коней и, свернув с проезжей дороги, поскакали пустынным вересковым полем, выбирая уединенные тропинки, которые им, как охотникам, были хорошо известны, но совершенно неведомы другим. Они долго ехали молча, двигаясь со всей быстротой, на какую был способен усталый иноходец Рэвенсвуда; наконец совершенно стемнело, и они пустили лошадей шагом, отчасти потому, что с трудом различали дорогу, отчасти же потому, что считали себя уже вне опасности.

– Ну, кажется, можно чуть отпустить поводья, – сказал Бакло, – и, если позволите, я бы хотел

здать вам один вопрос.

– Сделайте одолжение, – ответил Рэвенсвуд. – Но прошу не обижаться, если я не сочту нужным на него ответить.

– Пожалуйста, – возразил его недавний противник. – Просто я хотел спросить, какого дьявола вы, человек с такой хорошей репутацией, решили связаться с таким мошенником, как Крайнгельт, и с таким сорвиголовой, каким слывет Бакло.

– Очень просто: я был в отчаянном положении и искал себе в товарищи отчаянных людей.

– Так почему же вы вдруг, ни с того ни с сего порвали с нами? – продолжал Бакло.

– Потому что изменил свои планы, – ответил Рэвенсвуд, – и отказался, во всяком случае на время, от того, что задумал. Вы видите, я честно и откровенно отвечаю на ваши вопросы. Ответьте же теперь на мой: что заставляет вас водить дружбу с Крайнгельтом, человеком настолько ниже вас как по рождению, так и по своим понятиям?

– По правде говоря, только то, что я дурак и промотал свое состояние. Моя двоюродная бабка, леди Гернингтон, решила, по-видимому, жить второй век. Единственная моя надежда – это перемена правительства. С Крайги я познакомился за картами. Он сразу же смекнул, в каком я положении, – дьявол, он всегда тут как тут, – наговорил с три короба о своих полномочиях из Версаля и о связях в Сен-Жермене, пообещал выхлопотать мне капитанский чин и Париже, а я, такой олух, попался на удочку. Уверен, что теперь он уже успел понаскзать обо мне властям немало хорошеньких историй. Вот до чего довели меня вино, карты, женщины, петушинные бои, борзые и лошади.

– Да, Бакло, – ответил Рэвенсвуд, – вы вскормили на своей груди множество гадюк, которые теперь вас же терзают.

– Что правда, то правда; но, не во гнев вам будь сказано, вы тоже пригрели на своей груди огромного гада, который пожрал всех прочих; он наверняка проглотит и вас, не хуже чем мои шесть гадюк прикончат все, что еще осталось у бедного Бакло, хотя мой конь да я сам – вот все, что у меня есть.

– Я не могу быть на вас в обиде за ваши слова – я первый подал вам пример, – ответил Рэвенсвуд, – но, говоря без метафор, в какой чудовищной страсти вы меня обвиняете?

– В жажде мести, сэр, в жажде мести. А эта страсть, которая не менее к лицу джентльмену, чем страсть к вину, веселым пирушкам и всему такому прочему, тоже недостойна христианина, но не в пример кровавее. Куда лучше сломать ограду, выслеживая лань или девчонку, чем застрелить старика.

– Не правда! – воскликнул Рэвенсвуд. – У меня никогда не было подобного намерения, клянусь честью! Я хотел только, прежде чем покинуть отчизну, встретиться наедине с гонителем моего рода, чтобы бросить ему в лицо обвинение в произволе и беззаконии.

Я нарисовал бы ему такую картину несправедливости что его душа содрогнулась бы от ужаса.

– Возможно, – согласился Бакло. – Но старик тут же взял бы вас за шиворот и позвал бы на помощь слуг, и тогда, надо полагать, вы, в свою очередь, взяли бы и вытрясли из него эту самую душу. Да одного вашего вида вполне достаточно, чтобы запугать его до смерти.

– Не забывайте о тяжести его вины! Не забывайте, что его жестокосердие принесло нам гибель и смерть: он разорил наш древний род, он убил моего отца. В старину в Шотландии человек, который молча снес бы такие кровные обиды, считался бы не только недостойным руки друга, но даже шпаги врага.

– Признаюсь, Рэвенсвуд, приятно видеть, что черт умеет опутать других людей не хуже, чем тебя. Всякий раз, когда я собираюсь сделать какую-нибудь глупость, он неизменно уверяет меня, что в целом свете не найти поступка благороднее, разумнее и полезнее: я только тогда замечаю, куда я влез, когда уж по пояс увяз в трясине. Вот вы тоже могли бы сделаться убийцей, лишив человека жизни исключительно из уважения к памяти своего отца.

– Вы рассуждаете куда разумнее, чем, судя по вашему поведению, можно от вас ожидать. Вы правы: пороки прокрадываются к нам в душу в образах внешне столь же привлекательных, как те, которые, по мнению суеверных людей, принимает дьявол, желая овладеть человеком, и мы только

тогда замечаем их, когда уже слишком поздно.

– Но в нашей власти отделаться от них, – возразил Бакло, – и я это обязательно сделаю, как только умрет леди Гернингтон.

– Вам известно выражение английского богослова: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями»? – заметил Рэвенсвуд. – Или, другими словами: мы чаще обещаем, чем выполняем?

– Ладно, – ответил Бакло, – я начну с сегодняшнего вечера. Клянусь, не пить зараз больше кварты, ну разве что ваше бордо окажется особенно вкусным.

– В «Волчьей скале» у вас вряд ли будет много искушений, – заверил его Рэвенсвуд. – Боюсь, что я могу предложить вам только кров. Все наше вино и съестные припасы уничтожены во время поминального пиршества.

– Дай бог, чтобы по такому поводу они вам подольше не понадобились вновь, – заметил Бакло. – Но зачем же было выпивать все до капли: это, говорят, приносит несчастье.

– Мне все приносит несчастье, – сказал Рэвенсвуд. – А вот и «Волчья скала». – Все, что еще осталось в замке, – к вашим услугам.

Шум моря уже давно возвестил путникам, что они приближаются к утесу, на вершине которого предок Рэвенсвуда, словно горный орел, свил себе гнездо.

Бледная луна, долго состязавшаяся с легкими облачками, теперь выглянула из-за них и осветила башню, одиноко возвышавшуюся на крутой скале, нависшей над Северным морем. С трех сторон скала была почти отвесная, четвертую, обращенную к материку, некогда защищал искусственный ров с подъемным мостом, но мост сломался и разрушился, а ров почти совсем завалило, и теперь ничто не мешало всаднику проникнуть на узкий двор, застроенный с двух сторон службами и конюшнями, наполовину уже развалившимися; спереди, со стороны материка, двор заканчивался зубчатой стеной; с противоположной стороны высилась сама башня – высокая и узкая, с серыми каменными стенами, она при тусклом лунном свете казалась призраком в прозрачном одеянии. Трудно было представить себе жилище печальнее и уединеннее. Где-то далеко внизу слышался зловеший, тяжелый гул беспрестанно разбивавшихся о скалы волн, и этот звук, как и вся открывавшаяся взору картина, казался символом неизбежной тоски и ужаса.

Хотя сумерки только что сгустились, ничто в этом одиноком жилище не обнаруживало присутствия живого существа; только в одном из узких зарешеченных окон, прорубленных на разной высоте и на неравных расстояниях друг от друга, мерцал огонек.

– Это – комната единственного слуги, который еще остался в нашем доме, – сказал Рэвенсвуд. – Счастье, что он здесь. Не будь его, мы не нашли бы ни огня, ни света. Поезжайте за мной следом: дорога узка, и можно проехать только по одному.

В самом деле, тропинка шла теперь по узкой полоске земли, соединявшей материк со скалой, на дальнем конце которой стояла башня. Выбор места и стиль постройки говорили о том, что шотландские бароны больше заботились о неприступности жилья, чем о его удобствах.

Осторожно продвигаясь вперед, путники благополучно въехали во двор. Но прошло еще много времени, прежде чем усилия Рэвенсвуда, громко стучавшего в низкую входную дверь, увенчались успехом, хотя он не переставал звать Калеба, приказывая ему отпереть калитку и впустить их.

– Старик, должно быть, уехал, или с ним приключился обморок, – сказал наконец владелец этого мрачного жилища. – Даже семь эфесских, отроков проснулись бы от такого грохота.

Наконец послышался робкий, дрожащий голос:

– Мастер Рэвенсвуд, мастер Рэвенсвуд, это вы?

– Я, Калеб, я, отворите же поскорее.

– Вы ли это или дух ваш? Уж лучше бы мне явилось полсотни дьяволов, чем призрак моего господина или даже бессмертная его душа. Прочь! Прочь!

Будь вы стократ мой господин, я не пушу вас, если вы не человек из плоти и крови.

– Да я же это, я, глупый старик, – возразил Рэвенсвуд. – Из плоти и крови, живой, хотя и полумертвый от холода.

Свет в верхнем окне исчез и, постепенно снижаясь, замелькал то в одной, то в другой бойнице – очевидно, Калеб, несший лампу, спускался по винтовой лестнице, устроенной в одной из



угольных башенок старого замка. Он шел очень медленно, и это вызвало несколько нетерпеливых восклицаний Рэвенсвуда и немало проклятий у его менее терпеливого и более пылкого спутника. Но прежде чем отодвинуть засов, слуга снова заколебался и еще раз спросил – действительно ли люди, а не бесплотные духи просят пустить их в замок в столь поздний час.

– Если бы я мог до тебя добраться, старый дурак, – воскликнул Бакло, – я бы тебе показал, какой я бесплотный дух.

– Отворяйте, Калев, – приказал Рэвенсвуд более мягким тоном: во-первых, он привык уважать верного старого слугу, а во-вторых, возможно, понимал всю бесполезность угроз, пока между ними и Калевом находилась крепкая дубовая дверь, окованная железом.

Наконец, приподняв дрожащей рукой железный засов, Калев отворил тяжелую дверь и предстал перед путниками. Это был худой белый как лунь старик с большой лысиной и крупными чертами лица, особенно четко выступавшими при свете мерцавшей лампы, которую он держал в правой руке, тогда как левой заслонял пламя от ветра. Испуганно-почтительные взгляды, которые он бросал вокруг себя, резкий контраст между ярко освещенным лицом и закрытыми тенью сединами могли бы послужить сюжетом для превосходной картины; но наши путешественники горели нетерпением укрыться от надвигавшейся бури, а потому не стали предаваться созерцанию его живописной внешности.

– Вы ли это, мой дорогой господин, вы ли это? – воскликнул старый слуга. – Горе мне! Заставить вас дожидаться у ворот вашего собственного замка; но кто бы мог подумать, что вы возвратитесь так скоро, а с вами незнакомый джентльмен... (Тут Калев прервал свою речь и заметил, так сказать, в сторону, обращаясь к кому-то внутри замка и явно не предназначая своих слов для тех, кто ждал во дворе: «Эй, Мизи, Мизи, пошевеливайся, ради бога! Скорее разведи огонь! Возьми старый трехногий стул, возьми что угодно, лишь бы горело».) Боюсь, у нас мало припасов: мы ждали вас не раньше, чем через несколько месяцев. Уж тогда бы постарались принять вас, как подобает вашему высокому званию и рождению. Но что поделаешь...

– Что поделаешь, Калев, – прервал его Рэвенсвуд. – Наши лошади нуждаются в отдыхе, да и мы тоже. Надеюсь, вы не огорчены тем, что я возвратился раньше, чем собирался.

– Огорчен, милорд!.. Для всех честных людей вы всегда останетесь милордом, как ваши предки все эти триста лет, которые были лордами, не спрашивая на это соизволения какого-нибудь вига... Сожалеть о возвращении лорда Рэвенсвуда в один из его родовых замков! (Тут он снова зашептал в сторону, обращаясь к своей невидимой помощнице, находившейся где-то за сценой: «Мизи, зарежь сейчас же курицу, что сидит на яйцах. И без разговоров! Не твоя забота!?!») Это не лучший из наших замков, – продолжал он, поворачиваясь к Бакло. – Просто крепость, в которой лорд Рэвенсвуд скрывается, – то есть... я хотел сказать, не скрывается, а уединяется в смутное время, вот как сейчас, когда ему нельзя удалиться в глубь страны, в одно из главных своих поместий; к слову сказать, стены башни очень древние и, говорят, заслуживают внимания.

– Поэтому вы решили дать нам время полюбоваться ими, – сказал Рэвенсвуд, забавляясь уловками, которые изобретал старик, стараясь подольше продержатъ путников перед закрытой дверью, в то время как верная его сообщница Мизи делала все необходимые приготовления в замке.

– О! Меня мало заботит, как выглядят стены снаружи, любезнейший, – заметил Бакло. – Покажите-ка лучше, что у вас там внутри, да отведите лошадей на конюшню, вот и все.

– Да, сэр, слушаю, сэр... Милорд и его высокочтимый друг...

– Наши лошади, старина, наши лошади... – перебил его Бакло. – После такой утомительной и долгой дороги они охромеют, стоя тут на холоду, а мой конь слишком хорош, чтобы его портить. Так вот, займитесь-ка лошадьми!

– Ах да, лошади... Сейчас крикну конюхов, – засуетился Калев и громовым голосом, разнесшимся по всему двору, заорал:

– Эй, Джон! Уильям! Сондерс!..

Мошенники... Они или спят, или ушли куда-нибудь, – прибавил он, подождав несколько минут ответа, которого, он знал, ему не от кого было ждать. – Когда хозяин в отъезде, все в доме не так. Я сам позабочусь о лошадях.

– И отлично сделаете, – сказал Рэвенсвуд, – а то как бы бедные животные не остались и во-все без ухода.

– Тише, милорд, ради бога тише, – шепнул Калев на ухо Рэвенсвуду умоляющим тоном. – Если вы не дорожите своей честью, то пощадите мою и без того будет трудно хоть сколько-нибудь прилично устроить вас на ночь, как бы я тут ни карался.

– Ничего, ничего, – успокоил его Рэвенсвуд. – Отведите лошадей на конюшню. Надеюсь, сено и овес у нас найдутся.

– О, сена и овса вдоволь, – решительно и громко объявил Калев и тут же прибавил вполголоса:

– После похорон осталось несколько мер овса и немного сена.

– Хорошо, – сказал Рэвенсвуд, взяв лампу из рук слуги, который, казалось, неохотно ее уступил. – Я сам посвечу гостю.

– Как можно, милорд! Ни в коем случае! Если б вы только потерпели несколько минут, ну самое большее четверть часа, и полюбовались Басом и Норт-Бериком при лунном свете, пока я займусь лошадьми, я бы проводил вас в замок со всеми подобающими вашей светлости и вашему высокочтимому гостю почестями. К тому же серебряные канделябры убраны, а разве лампа достойна...

– Она вполне нас удовлетворит, – сказал Рэвенсвуд. – Вам же в конюшне огонь ни к чему: насколько мне помнится, ветром снесло с нее полкрыши.

– Точно так, милорд, – ответил верный слуга и сразу нашелся, добавив:

– Какое ленивое отродье эти кровельщики! Все еще не явились чинить крышу, милорд!

– Если бы у меня хватало духу смеяться над невзгодами моего семейства, – сказал Рэвенсвуд, провожая гостя наверх, – бедный старик дал бы мне немало поводов для смеха. Он помешан на том, чтобы представить наше жалкое хозяйство не таким, каково оно на самом деле, а каким, по его мнению, оно должно быть, и, по правде говоря, хитрости, на которые пускается мой бедный дворецкий, пытаюсь добыть та необходимое, без чего, по его понятиям, невозможно поддержать честь семьи, и его пространные извинения, когда, несмотря на всю свою изобретательность, он не может раздобыть замену недостающим предметам, – все это уже не раз забавляло меня. Однако, хотя башня и невелика, но без него мне будет трудно отыскать комнату, где затоплен камин.

С этими словами Рэвенсвуд отворил дверь.

– Ну, здесь по крайней мере, – сказал он, – не видно ни огня, ни постели.

И точно, глазам путников представилась картина печального запустения. Большой зал с резными сводами, напоминавшими своды Уэстминстер-холла, оставался почти в том же состоянии, в каком гости покинули его после поминок. На большом дубовом столе грудой лежали опрокинутые кувшины, мехи, оловянные стопы и баклаги; пол был усеян осколками бокалов, этих хрупких сосудов веселья, принесенных в жертву восторженными гостями. Что же касается серебряной посуды, которой ради такого случая друзья и родственники снабдили Рэвенсвуда, то они же и унесли ее тотчас после буйной попойки, столь же ненужной, сколь и несвоевременной. Словом, в этом зале не было и намека на благоденствие, напротив, все говорило о недавней расточительности и нынешнем запустении. Черное сукно, заменившее во время похоронного пира изъеденные молью ткани, было наполовину сорвано и свисало со стен лохмотьями, обнаруживая голые, даже не оштукатуренные камни. Вид перевернутых, брошенных где попало стульев довершал общую картину, давая понять, какой беспорядок царил в этих стенах под конец поминальной оргии.

– Этот зал, мистер Бакло, был местом разгула, а не скорби, – сказал Рэвенсвуд, приподымая лампу. – Что ж, вполне справедливо, если он имеет столь скорбный вид теперь, когда мог бы выглядеть радостно.

Путники покинули это печальное место и двинулись дальше; отворив понапрасну еще несколько дверей, они вошли наконец в небольшую комнату, пол которой был устлан циновками, а в камине, к великому их удовольствию, пылало пламя, – очевидно, следуя указаниям Малоба, Мизи ухитрилась наскрести немного пищи для огня. Радуясь в душе, что в замке нашелся уютный уголок, на что, казалось, было трудно рассчитывать, Бакло подошел к камину и, удовлетворенно потирая руки, добродушно выслушал извинения Рэвенсвуда.

– К сожалению, я не могу предложить вам никаких удобств, – сказал он. – Я сам их не имею. В этих стенах давно уже не знают, что такое комфорт, а может быть, никогда и не знали; но приют и безопасность, пожалуй, я могу вам обещать.

– И прекрасно, – ответил Бакло, – мне больше ничего и не надо. А если к этому прибавить добрый ростбиф да глоток вина, я буду вполне удовлетворен.

– Боюсь, что вас действительно ждет очень скудный ужин, – сказал Рэвенсвуд, – я слышу, как совещаются Калев и Мизи. При всех его достоинствах, бедняга Болдерстон, к несчастью, глуховат, и его секреты слышны всем, в особенности тем, от кого он больше всего стремится скрыть свои проделки... Тише!

Хозяин и гость прислушались; из соседней комнаты до них донесся голос Калеба. Старый слуга наставлял Мизи – Выше голову, Мизи, выше голову! – поучал он. – Под хорошим соусом все можно подать.

– Но курица старая, она будет жестка, как подошва.

– Скажешь, что ошиблась. Скажешь, что ошиблась. Не ту взяла, – увещевал верный Калев, стараясь говорить вполголоса – Возьми все на себя; только бы не пострадала честь дома.

– Но курица... – возразила Мизи. – Она сидит на яйцах где-то под тронем в зале. Я боюсь идти туда в темноте: там привидения, и потом мне все равно ее не найти. Там темно, как в пропасти, а в доме нет другой лампы, кроме той, что у господ. А если я даже и поймаю курицу, ведь надо же ее ощипать, выпотрошить, изжарить. А как же все это сделать, когда они сидят у единственного в доме огня!

– Ну, будет, будет, – проворчал старый слуга, – подожди здесь минуточку. Сейчас я постараюсь взять у них лампы.

И Калев Болдерстон вошел в комнату, нисколько не подозревая, что там слышали всю предшествующую интермедию.

– Ну что ж, старина, есть ли надежда на ужин? – спросил Рэвенсвуд.

– Надежда на ужин, милорд? – повторил Калев, делая вид, что он глубоко оскорблен сомнением, прозвучавшим в голосе хозяина. – Как вы можете спрашивать? Разве мы не в доме вашей светлости? Надежда на ужин! Тоже скажете. Но ведь говядину вы есть не станете! У нас пропасть жирной птицы, так и просится на вертел или на рашпер. Зажарь каплуна, Мизи! – закричал он с такой уверенностью, словно в доме и впрямь водились каплуны.

– Не надо мне каплуна, – остановил его Бакло, считая долгом вежливости облегчить бедному дворецкому его тяжелые обязанности. – У вас найдется немного холодного мяса или просто кусок хлеба?

– Сейчас принесу отличных овсяных лепешек! – воскликнул Калев, у которого словно гора свалилась с плеч, – А что до холодного мяса, так холодного у нас в доме, слава богу, предостаточно. Правда, после похорон все остатки мяса и пирогов, как полагается, роздали бедным, однако ж...

– Будет, Калев, – прервал его Рэвенсвуд, – пора кончать. Мой гость, молодой лэрд Бакло, скрывается от преследования, и потому...

– Он не будет взыскательнее вашей милости, – понимающе кивнул Калев, сразу повеселев. – Очень сожалею, что у джентльмена неприятности, но от души рад, что он не станет бранить наше хозяйство, раз у него самого дела не лучше наших... Не скажу, чтоб наши дела были плохи, слава богу, нет, – прибавил он, тотчас отрекаясь от вырвавшегося у него в порыве радости признания, – но разве сравнишь с тем, что было, или с тем, что должно быть! Ну, а что касается ужина... Что за беда, если и приврешь немного. У нас есть баранья лопатка, ее подавали на стол всего три раза, а, как вашим милостям известно, чем ближе к кости, тем мясо слаще; потом есть немного овечьего сыра, кусочек превосходного масла и... и... Но этого, вероятно, будет достаточно.

Калев с готовностью извлек скромные припасы и со всей подобающей случаю торжественностью разместил их на круглом столике перед молодыми людьми, которые, нимало не смущаясь скудостью и незатейливостью трапезы, тут же за нее принялись. Калев подавал тарелки с особой предупредительностью, словно надеялся почтительным обхождением заменить отсутствующих слуг.

Но увь! Когда имеешь дело с голодным гостем, даже самое тщательное, самое точное соблюдение церемониала не может возместить существенной части обеда. Уничтожив значительную часть уже и без того порядком обглоданной баранины, Бакло потребовал эля.

– Не смею предложить вам нашего эля, – ответил Калев, – нехорошо вышло сусло, да и гроза была; но, сэр, такой воды, как в нашем колодце, клянусь, вы никогда не пили!

– Ну, если эль прокис, дайте вина, – сказал Бакло, морщась при одном упоминании о чистой влаге, так горячо рекомендуемой Калевом.

– Вина? Слава богу, вина у нас предостаточно, – храбро соврал Калев. – Всего два дня тому назад... не дай бог никому пить по такому поводу... в этом доме выпили столько вина, что хватило бы для спуска шлюпки. Уж в чем в чем, а в вине у лорда Рэвенсвуда никогда не было недостатка.

– Так перестаньте угощать нас разговорами и подайте вина! – отозвался хозяин дома, и Калев пустился в путь.

Спустившись в погреб, он опрокинул все бочонки, уже пустые, и стал трясти их в отчаянной надежде нацедить со дна хоть немного бордо, надеясь наполнить принесенную им с собою кружку. Увь, они были уже старательно осушены, и, даже пустив в ход весь свой опыт, всю свою смекалку, старый дворецкий не набрал и кварталы мало-мальски пригодного вина.

Однако Калев был слишком искусным стратегом, чтобы покинуть поле битвы без всякой попытки прикрыть свое отступление. Не теряя присутствия духа, он бросил на пол пустую кружку, делая вид, что поскользнулся на пороге, крикнул Мизи, чтобы та подтерла вино, которого вовсе не проливал, и, поставив на стол другую кружку, выразил надежду, что для их милостей осталось еще довольно. Действительно, вина оказалось вполне достаточно, ибо даже Бакло, верный друг виноградной лозы, не нашел в себе сил возобновить атаку на винные погреба «Волчьей скалы» и согласился, хотя и неохотно, удовольствоваться стаканом воды. Теперь предстояло устроить гостя на ночлег, и так как ему предназначалась потайная комната, то перед Калевом открылись перво-классные возможности правдоподобнейшим образом объяснить убожество ее убранства, нехватку постельного белья и прочее.

– Кому бы пришло в голову, – говорил он, – что понадобится наш тайник. Он пустует со дня заговора Гаури, и не мог же я пустить сюда женщину: вы, ваша милость, сами понимаете, что после этого убежище недолго оставалось бы потайным.

## Глава VIII

*Столы пустые стояли угрюмо,  
Чернел холодный и мертвый камин,  
Ни звона чаш, ни веселого шума...  
«Здесь радости мало», – промолвил Линн.*

**Старинная баллада**

Возможно, что Рэвенсвуду в заброшенной башне «Волчья скала» были не чужды те чувства, которые охватили расточительного наследника Линна, когда, как рассказывается в превосходной старинной песне, промотав все свое состояние, он остался единственным обитателем пустынного жилища. Рэвенсвуд имел, однако, преимущество над блудным сыном баллады: как бы то ни было, он дошел до нищеты не по собственной глупости. Он унаследовал свои несчастья от отца вместе с благородной кровью и титулом, который вежливые люди могли употреблять перед его именем, а грубые – опускать, как кому заблагорассудится, – вот и все наследство, доставшееся ему от предков.

Быть может, эта печальная и вместе с тем утешительная мысль несколько успокоила бедного молодого человека. Утро, рассеивая ночные тени, располагает к спокойным размышлениям, и под его воздействием бурные страсти, волновавшие Рэвенсвуда накануне, несколько поулеглись и утихли. Он был теперь в состоянии анализировать противоречивые чувства, его волновавшие, и твердо решил бороться с ними и преодолеть их. В это светлое, тихое утро даже пустынная, поросшая вереском равнина, которая открывалась взору со стороны материка, казалась привлекатель-



ной; с другой стороны, необозримый океан, грозный и вместе с тем благодушный в своем величии, катил подернутые серебристой зыбью волны. Подобные мирные картины природы приковывают к себе человеческое сердце, даже взволнованное страстями, побуждая на благородные и добрые поступки.

Покончив с исследованием своего сердца, которое на этот раз он подверг крайне суровому допросу, Рэвенсвуд первым делом отыскал Бакло в отведенном ему убежище.

– Ну, Бакло, как вы себя чувствуете сегодня? – приветствовал он гостя. – Как вам спалось на ложе, на котором некогда мирно почивал изгнанный граф Лнгюс, несмотря на все преследования разгневанного короля?

– Гм! – воскликнул Бакло, просыпаясь. – Мне не пристало жаловаться на помещение, которым пользовался такой великий человек; матрац, пожалуй, очень уж жесткий, стены несколько сыроваты, крысы злее, чем я ожидал, судя по количеству запасов у Калеба; и, мне кажется, если бы у окон были ставни, а над кроватью полог, комната бы много выиграла.

– Действительно, здесь очень мрачно, – сказал Рэвенсвуд, оглядываясь кругом. – Вставайте и пойдете вниз. Калев постарается покормить вас сегодня за завтраком лучше, чем вчера за ужином.

– Пожалуйста, не надо лучше, – взмолился Бакло, вставая с постели и пытаясь одеться, несмотря на царящий в комнате мрак. – Право, если вы не хотите, чтобы я отказался от намерения исправиться, не меняйте вашего меню. Одно воспоминание о вчерашнем напитке Калеба лучше двадцати проповедей уничтожило во мне желание начать день стаканом вина. А как вы, Рэвенсвуд? Вы уже начали доблестную борьбу с пожирающим вас гадом? Видите, я стараюсь понемногу расправиться с моим змеиным выводком.

– Начал, Бакло, начал, и во сне мне на помощь явился прекрасный ангел.

– Черт возьми! – сказал Бакло. – А мне вот неоткуда ждать видений. Разве что моя тетка, леди Гернингтон, отправится к праотцам, но и тогда, мне думается, скорее ее земное наследство, нежели общение с ее духом, поможет поддерживать во мне благие намерения. Что же касается завтрака, Рэвенсвуд, то скажите: может быть, олень, предназначенный на паштет, еще бегаёт в лесу, как говорится в балладе?

– Сейчас справлюсь! – ответил Рэвенсвуд и, покинув гостя, отправился разыскивать Калеба.

Он нашел дворецкого в темной башенке, некогда служившей замковой кладовой. Старик усердно чистил старое оловянное блюдо, стараясь придать ему блеск серебра, и время от времени поощрял себя восклицаниями:

– Ничего, сойдет... кажется, сойдет, только бы они не ставили его слишком близко к свету.

– Возьмите деньги и купите все, что нужно, – прервал его Рэвенсвуд, подавая старому дворецкому тот самый кошелек, который накануне чуть не попал в цепкие когти Крайгенгельта, Старик покачал лысеющей головой и, взвесив жалкое сокровище на ладони, взглянул на хозяина с выражением глубочайшей сердечной муки.

– И это все, что у вас осталось? – спросил он горестно.

– Да, – сказал Рэвенсвуд, стараясь казаться веселым, – зеленый этот кошелек да золотых еще немного, как говорится в старинной балладе, – вот все, чем мы сейчас располагаем. Ну ничего, Калев, когда-нибудь и наши дела поправятся.

– Боюсь, что к тому времени старая песня забудется, а старый слуга умрет, – возразил Калев. – Впрочем, не следует мне говорить вашей милости такие слова, вы и так очень бледны. Спрячьте кошель и держите при себе, чтобы при случае нашлось чем похвастаться перед приятелями. И если ваша милость позволит дать вам совет: показывайте его людям почаще, и тогда никто не откажет вам в кредите, хоть добро у нас было, да сплыло.

– Вы же знаете, Калев, что я все еще не отказался от мысли в скором времени уехать отсюда, и мне хотелось бы покинуть родину с репутацией честного человека, не оставляя после себя долгов, во всяком случае таких, в каких повинен я сам.

– Конечно, вы должны оставить после себя добрую память, и так оно и будет. Но старый Калев может взять все на себя, и тогда ответственность за долги падет на него. Я могу и в тюрьме пожить, если придется, а честь дома не пострадает.

Рэвенсвуд попытался было втолковать Калебу, что если он сам не хочет делать долгов, то тем более не потерпит, чтобы его дворецкий отвечал за них; однако Эдгар имел дело с премьер-министром, который был слишком поглощен изобретением новых способов для изыскания денежных средств, чтобы у него явилась охота опровергать доводы, говорящие об их несостоятельности.

– Эппи Смолтраш откроет нам кредит на эль, – рассуждал он сам с собой, – она всю жизнь пользовалась покровительством дома Рэвенсвудов; быть может, удастся взять у нее в долг немного бренди; за вино не поручусь – она женщина одинокая и больше одного бочонка зараз не покупает; ну да ладно, правдою или не правдою, а бутылочку я у нее как-нибудь достану. Дичь нам будут поставлять наши крестьяне, хотя матушка Хирнсайд и говорит, что уже внесла вдвое против того, что следовало... Как-нибудь перебьемся, ваша милость! Перебьемся, не беспокойтесь: пока жив Калеб, честь вашего дома не пострадает.

И действительно, ценою бесконечных усилий Калеб ухитрился кормить и поить своего господина и его гостя в течение нескольких дней; угощение, правда, не отличалось великолепием, но Рэвенсвуд и его гость не были слишком требовательны, а мнимые промахи Калеба, его извинения, уловки и хитрости даже забавляли их, скрашивая скудные обеды, которые к тому же не всегда подавались вовремя. Молодые люди были рады любой возможности повеселиться и хоть как-нибудь убить томительно тянущееся время.

Вынужденный скрываться в замке и лишенный поэтому своих обычных занятий – охоты и веселых попок, Бакло сделался угрюм и молчалив. Когда Рэвенсвуду надоедало фехтовать или играть с ним в мяч, Бакло отправлялся на конюшню, чистил своего скакуна, наводя глянец то щеткой, то скребницей, то специальной волосяной тряпкой, задавал ему корму и, наблюдая, как конь опускался на подстилку, чуть ли не с завистью смотрел на бессловесное животное, по-видимому вполне довольное такой однообразной жизнью.

«Глупая скотина не вспоминает ни о скачках, ни об охоте, ни о зеленом пастбище в поместье Бакло, – говорил он про себя. – Ее держат на привязи у кормушки в этом развалившемся склепе, и она так же счастлива, как будто родилась здесь; а я пользуюсь всей свободой, какая только доступна узнику, – могу бродить по всем закоулкам этой злосчастной башни – и не знаю, как дотянуть время до обеда».

В таком грустном расположении духа Бакло направлял свои стопы в одну из сторожевых башенок или к крепостным стенам замка и подолгу смотрел на поросшую вереском равнину или швырял камушками да обломками известки в бакланов и чаек, имевших неосторожность расположиться поблизости от молодого человека, не знающего, чем себя занять.

Рэвенсвуд, наделенный умом, несомненно, более глубоким и серьезным, чем Бакло, предавался тревожным размышлениям, которые нагоняли на него такую же тоску, какую вызывали скука и безделье у его гостя. В первую минуту Люси Эштон не произвела на него сильного впечатления, но образ ее оставил в его памяти глубокий след. Мало-помалу жажда мести, побудившая его искать встречи с лордом-хранителем, начинала утихать; мысленно возвращаясь к прошлому, он решил, что грубо обошелся с его дочерью – так не поступают с девушкой высокого положения и удивительной красоты. На ее благодарный взгляд и любезные слова он ответил чуть ли не презрением; и хотя отец ее заставил его претерпеть немало обид, совесть твердила Рэвенсвуду, что недостойно вымещать их на дочери. Как только мысли молодого человека приняли этот оборот и он в душе признал себя виновным перед Люси, воспоминание о ее прекрасном лице, которому обстоятельства их встречи придали особую выразительность, стало для него одновременно источником утешения и боли. Припоминая ее нежный голос, изысканность выражений, пылкую любовь к отцу, он все более и более сожалел, что так грубо отверг ее признательность, а воображение не переставало рисовать перед ним ее пленительный образ.

Рэвенсвуду с его высокой нравственностью и чистотой помыслов было особенно опасно предаваться подобным размышлениям. Решив во что бы то ни стало побороть в себе жажду мести – сильнейший из всех его пороков, он охотно допускал, более того – вызывал в себе мысли, которые могли служить противоядием этому злему чувству. Он был груб с дочерью врага и поэтому теперь, словно вознаграждая ее за это, естественно, наделял такими совершенствами, какими она, быть может, и не обладала.

Если бы кто-нибудь теперь сказал Рэвенсвуду, что всего лишь несколько дней назад он клялся мстить потомкам того, кого не без основания считал виновником разорения и смерти своего отца, он назвал бы это гнусной клеветой; однако, заглянув в собственную душу поглубже, он должен был бы признать такое обвинение справедливым, хотя при теперешнем его настроении все это даже трудно было бы предположить.

В сердце Рэвенсвуда боролись два противоположных чувства: желание отомстить за смерть отца и восхищение дочерью врага. Он всячески старался подавить в себе первое, второму же чувству он не сопротивлялся, потому что не подозревал о его существовании; и то, что он вернулся к мысли уехать из Шотландии, служило верным тому доказательством. Однако, несмотря на это свое намерение, он продолжал жить в «Волчьей скале», ничего не предпринимая для отъезда. Правда, он сообщил о своих планах кое-кому из родственников, живших в отдаленных графствах Шотландии, и прежде всего маркизу Э\*\*\*; и всякий раз, когда Бакло требовал от него решительных действий, Рэвенсвуд тотчас же ссылался на необходимость дожидаться ответа, в особенности от маркиза, прежде чем сделать такой важный шаг.

Маркиз был человеком богатым и влиятельным; и хотя его подозревали в недобрых чувствах к правительству, учрежденному после революции, ему все же удалось возглавить одну из партий в шотландском Тайном совете. Эта партия, связанная с приверженцами Высокой церкви в Англии, была так сильна, что грозила вырвать власть из рук сторонников лорда – хранителя печати. Необходимость посоветоваться с лицом столь могущественным служила Рэвенсвуду убедительным доводом, который он приводил Бакло, а может быть, и самому себе, оправдывая их затянувшееся пребывание в «Волчьей скале»; к тому же распространился слух о возможных переменах в шотландском кабинете и даже в самой Шотландии. Эти слухи, которым одни верили, а другие нет, смотря по тому, каковы были собственные помыслы и желания слушателей, проникли даже в их полуразрушенную башню, главным образом через Калеба, который, ко всем прочим своим достоинствам, отличался страстным интересом к политике и никогда не возвращался из соседнего селения Волчья Надежда без целого короба новостей.

Хотя Бакло не мог представить сколько-нибудь основательных соображений против решения Рэвенсвуда отложить их отъезд из Шотландии, он не стал терпеливее сносить бездеятельность, на которую его обрекала эта отсрочка; только благодаря влиянию, которое приобрел над ним его новый приятель, Бакло кое-как принуждал себя довольствоваться жизнью, столь чуждой всем его привычкам и наклонностям.

– Все считают вас на редкость деятельным человеком, – не раз упрекал он Рэвенсвуда, – а вы, кажется, собираетесь сидеть здесь вечно, словно крыса в подполье. Только крыса разумнее вас и выбирает себе жилье, где по крайней мере есть пища; а у нас здесь извинения Калеба становятся с каждым днем все длиннее, а еда все хуже. Боюсь, что нас скоро постигнет участь ленивца: мы уничтожим на дереве последний лист, и нам ничего не останется, как свалиться вниз и сломать себе шею.

– Не беспокойтесь, – ответил Рэвенсвуд, – провидение печется о нас: не сегодня-завтра произойдет переворот. Многие сердца уже тревожно бьются в ожидании его, а вы и я в нем кровно заинтересованы.

– Какое провидение? Какой переворот? – воскликнул Бакло. – По-моему, у нас и так уже было слишком много переворотов!

Рэвенсвуд молча подал ему письмо.

– Вот оно что! – произнес гость. – Вот, значит, в чем дело. То-то мне сегодня утром показалось, что я слышу, как Калек уговаривает какого-то несчастного выпить стакан воды, убеждая его, что натошак вода гораздо полезнее эля или бренди.

– Это был гонец маркиза Э\*\*\*, – сообщил Рэвенсвуд. – И ему пришлось испытать на себе пресловутое гостеприимство Калеба. Под конец беднягу угостили кислым пивом и селедками. Однако прочтите письмо: вы узнаете, какие новости он нам привез.

– Постараюсь, – сказал Бакло. – Я не бог весть какой грамотей, а у его светлости почерк, видно, тоже не из лучших.

Благодаря печатным станкам моего друга Баллантайна читатель пробежит за несколько се-

кунд то, что Бакло разбирает добрых полчаса, несмотря на помощь Рэвенсвуда. Вот это письмо:

Достойнейший наш кузен!

Посылая вам нижеследующее, мы передаем вам сердечный привет и желаем заверить вас в живейшем участии, кое проявляем к вашему благополучию и к любым мерам, какие вы предпримете для его упрочения. Если в последнее время, изъявляя вам наше расположение, мы проявили меньше рвения, чем нам хотелось бы в качестве вашего любящего родственника и единокровного дяди, то просим приписать это единственно отсутствию удобного случая, а не нашему равнодушию к вам. Что касается вашего решения предпринять путешествие в чужие края, то в настоящее время оно не представляется нам желательным, ибо ваши враги по своему обыкновению не преминут приписать этой поездке дурные цели, и хотя мы знаем, более того – твердо убеждены, что злые умыслы так же чужды вам, как и нам, но некоторые влиятельные лица могут поверить этой клевете и отнесутся к вам с предубеждением, в чем при всем нашем желании и старании мы не в силах будем им помешать.

Мы охотно подкрепили бы наш совет также и другими доводами, сообщив о некоторых обстоятельствах, могущих послужить на пользу вам и вашему дому и тем самым упрочить ваше решение оставаться в «Волчьей скале» по крайней мере до нового урожая.

Но, как говорится, *verbum sapienti*<sup>14</sup> – одно слово скажет умному человеку больше, чем дураку целая проповедь. И хотя мы писали вам письмо собственноручно и вполне доверяем нашему нарочному, который нам многим обязан, но тем не менее, так как никогда неизвестно, где подстерегает нас беда, мы не решаемся доверить бумаге то, что охотно сообщили бы вам устно. Мы с радостью пригласили бы вас в наше поместье в горной Шотландии, где мы могли бы поохотиться на оленя, а заодно поговорить о предметах, на которые ныне решаемся только намекнуть, но в настоящее время обстоятельства не благоприятствуют нашей встрече, а потому придется отложить ее до того дня, когда мы, ликуя, сможем поведать друг другу все то, о чем ныне храним молчание.

А пока мы просим не забывать, что всегда были и будем вашим любящим родственником и искренним доброжелателем, ожидающим светлого дня, первые проблески которого мы уже предвидим, и от всего сердца желаем и надеемся на деле доказать вам свое расположение и участие.

Ваш любящий родственник

Э\*\*\*

Написано в нашем скромном жилище Б., и пр., и пр.

На обороте стояло:

«Его сиятельству, нашему уважаемому родственнику, мастеру Рэвенсвуду. Спешно! Скакать безостановочно, пока пакет не будет доставлен».

– Что вы скажете об этом послании, Бакло? – спросил Рэвенсвуд, когда его приятель не без труда разобрал письмо.

– Честно говоря, сообразить, что маркиз хочет сказать, почти так же трудно, как разобрать его каракули. Ему необходимо обзавестись «Толкователем остроумных слов и изречений» и «Полным письмовником». На вашем месте я послал бы ему эти книги с его же гонцом. Он любезно советует вам по-прежнему растрачивать время и деньги в этой подлой, тупой, угнетенной стране, но даже не предлагает убежища в своем доме. По-моему, он затеял какую-то интригу и, думая, что вы можете ему пригодиться, хочет иметь вас под рукой; если же заговор провалится, он всегда успеет предоставить вам возможность выпутываться самому.

– Заговор? Вы подозреваете маркиза в государственной измене?

– А что же еще? Уже давно поговаривают, что маркиз заигрывает с Сен-Жерменом.

– Зачем он вовлекает меня в такие авантюры! – воскликнул Рэвенсвуд. – Достаточно вспомнить царствования Карла Первого и Карла Второго или Иакова Второго! Нет, ни как частное лицо, ни как шотландец, любящий свою родину, я не вижу повода обнажать меч за их наследников.

– Вот как! – возмутился Бакло. – Значит, вы решили оплакивать этих собак круглоголовых, те которыми честный Клевер-хауз расправился по заслугам?

---

<sup>14</sup> Умному достаточно одного слова (лат.)



– Этих несчастных сначала опорочили, а потом повесили, – ответил Рэвенсвуд. – Хотел бы я дожить до того дня, когда и к вигам и к тори будут относиться с равной справедливостью и когда эти клички останутся в ходу разве что среди политиков кофеен, да и то как бранные слова, как, скажем, «шлюха» или «сука» у рыночных торговков.

– Ну, мы с вами до этого времени не доживем, Рэвенсвуд: болезнь слишком сильно поразила и тело и душу.

– Все-таки когда-нибудь этот день настанет. Не вечно же эти клички будут действовать на людей как звуки боевой трубы. Когда общественная жизнь наладится, люди будут слишком дорого ценить ее блага, чтобы рисковать ими ради политики.

– Все это прекрасно, – возразил Бакло, – но я стою за старинную песню:

Если хлеба мною в риге

Да на виселице виги,

А дела идут на славу,

Это мне, друзья, по нраву.

– Вы можете петь как угодно громко, *cantabit vacuus*,<sup>15</sup> – сказал Рэвенсвуд, – но, мне сдается, маркиз слишком благоразумен или по крайней мере слишком осторожен, чтобы подтягивать, вам. Пожалуй, в своем письме он скорее намекает на переворот в шотландском Тайном совете, чем на революцию в Британском королевстве.

– А, да пропади она пропадом, вся эта ваша политическая игра! – воскликнул Бакло. – К черту все эти заранее обдуманые ходы, которые выполняются титулованными старикашками в расшитых ночных колпаках и шлафроках на меху. Эти господа перемещают лорда-казначей или министра с такой же легкостью, будто переставляют ладью или пешку на шахматной доске. Нет, это не по мне! Для меня забава – игра в мяч, серьезное же дело – война. Мяч меня тешит, а шпага кормит. Ну, а в вас, Рэвенсвуд, сидит все-таки черт: хоть вы и стараетесь вести себя рассудительно и осторожно, уж больно кипит в вас кровь, как вы ни любите пофилософствовать о политических истинах. Вы, видимо, из тех благоразумных мужей, что смотрят на все с завидным спокойствием, пока кровь не ударит в голову, – а тогда... горе тому, кто осмелится им напомнить их же собственные благоразумные правила.

– Быть может, вы читаете в моем сердце лучше, чем я сам, – ответил Рэвенсвуд. – Но рассуждать благоразумно не значит ли уже сделать первый шаг к благоразумным поступкам? Однако слышите, кажется Калев звонит к обеду.

– Чем оглушительнее трезвон» тем скромнее будет угощение, – заметил Бакло. – Можно подумать, что этот дьявольский гул и гром, от которого в один прекрасный день обрушится ваша башня, превратят тощую курицу в жирного каплуна или баранью лопатку в олений окорок!

– Судя по чрезвычайной торжественности, с которой Калев ставит на стоя это единственное, к тому же тщательно прикрытое, блюдо, боюсь, действительность превзойдет самые дурные ваши ожидания.

– Снимите крышку, Калев! Ради бога, снимите крышку! – возопил Бакло. – Не надо предисловий!

Показывайте, что у вас там спрятано. Ладно, вы уже поставили вашу посудину как нельзя лучше, – прибавил он, торопя старого дворецкого, который, не устаивая его ответом, долго переставлял блюдо, пока с математической точностью не поместил его на самую середину стола.

– Так все-таки что же у нас на обед, Калев? – спросил, в свою очередь, Рэвенсвуд.

– Конечно, милорд, мне следовало бы уже давно доложить вашей милости, но его милость лэрд Бакло так нетерпелив! – ответил Калев, продолжая держать блюдо одной рукой и поддерживая крышку другой с явным нежеланием снять ее.

– Но что же это, наконец? Скажите же, бога ради! Надеюсь, нас ждет не пара блестящих шпор, по старинному шотландскому обычаю?

– Гм, гм! – отозвался Калев – Ваша милость изволит шутить... Впрочем, осмелюсь заметить, это был очень хороший обычай, и, насколько мне известно, его придерживались во многих благо-

---

<sup>15</sup> Пустой человек всегда поет (лат).

родных и богатых семействах. Что же касается нынешнего обеда, то мне казалось, что поскольку нынче канун дня святой Магдалины, некогда достойной нашей королевы, то ваши милости сочтут своим долгом не то чтобы совсем отказаться от пищи, но подкрепиться чем-нибудь полегче – селечкой, например...

С этими словами Калев снял крышку и явил миру вышеупомянутое лакомство: на блюде лежали четыре селетки.

– Это не простые селетки, – доложил он, чуть понизив голос, – они отобраны и посолены нашей экономкой (бедная Мизи!) с особой тщательностью, исключительно для вашей милости.

– Пожалуйста, избавьте нас от извинений, – сказал Рэвенсвуд. – Будем есть селетки, Бакло, раз больше ничего нет. Кажется, я начинаю разделять ваше мнение: мы действительно доедаем последний лист, и, если не хотим умереть с голоду, нам решительно нужно искать себе новое место, не дожидаясь, к чему приведут интриги маркиза.

## Глава IX

*Как прозвучит веселый рог охоты  
И зверь в испуге логово покинет,  
Неужели тот, в ком кровь кипит живая,  
Останется лежать, как труп безгласный,  
Всем прелестям творенья недоступный?*  
**«Эсуолд», акт. I, сц. I**

После легкого ужина, как говорится, и легкий сон; не удивительно поэтому, что после угощения, которое Калев не то по набожности, не то по необходимости, нередко скрывающейся под этим обличьем, преподнес обитателям «Волчьей скалы», сон их не был продолжителен.

На другое утро Бакло вбежал в комнату Рэвенсвуда с громким криком: «Ату его! ату!», способным разбудить даже мертвого.

– Вставайте, вставайте, ради бога! Охотники на равнине! Первая охота за весь месяц, а вы лежите в постели, у которой только то достоинство, что она помягче камня в склепе ваших предков.

– Отложите ваши шутки до другого времени, Бакло, – рассердился Рэвенсвуд. – Не очень-то приятно, едва забывшись после бессонной ночи, проведенной в раздумьях об участи более жестокой, чем это жесткое ложе, вдруг лишиться недолгой минуты покоя.

– Ладно, ладно, – ответил гость. – Вставайте, вставайте! Собаки уже спущены. Я сам оседлал коней: ваш Калев стал бы сначала сзывать слуг и конюхов, а потом пришлось бы битый час выслушивать его извинения за отсутствие людей, которых давно уже нет и в помине. Вставайте, Рэвенсвуд! Говорят «вам, собаки спущены! Вставайте же! Охота началась.

И Бакло выбежал из комнаты.

– Какое мне до всего этого дело? – бормотал Рэвенсвуд, медленно поднимаясь. – Чьи это собаки лают у самых стен нашей башни?

– Их светлости лорда Битлбрейна, – сказал Калев, вошедший в комнату вслед за неистовым лэрдом Бакло. – Не знаю, по какому праву они подняли весь этот вой и визг в охотничьих угодьях вашей милости.

– Не знаю, Калев, не знаю, – отозвался хозяин замка. – Быть может, купив эти земли вместе с охотой, лорд Битлбрейн считает себя вправе пользоваться тем, за что заплатил.

– Возможно, милорд, – ответил Калев, – но настоящему джентльмену не пристало являться сюда и пользоваться своим правом, когда ваша милость сами сейчас живут в замке. Не мешало бы лорду Битлбрейну помнить, кем были его предки.

– А нам – кем мы стали, – заметил Рэвенсвуд, едва, сдерживая горькую улыбку. – Однако подайте мне плащ, Калев, надо потешить Бакло и поехать с ним на охоту. Слишком эгоистично жертвовать ради себя удовольствием гостя.

– Жертвовать! – повторил старик таким тоном, словно даже мысль о том, что его господину придется чем-то ради кого-то поступиться, является кошунственной. – Жертвовать!.. Но, простите,

какое платье угодно вам надеть сегодня?

– Все равно, Калев, Мой гардероб, кажется, не слишком богат.

– Не богат! – повторил старый слуга. – А серая пара, которую вы соблаговолили подарить вашему фореитору Хью Хилдебранду; а платье из французского бархата, в котором похоронен ваш покойный отец (царство ему небесное!)... а вся прочая одежда. вашего батюшки, которая роздана бедным, а пара из берийского сукна...

– Которую я отдал вам, Калев. Она, пожалуй, единственная, которую я могу получить, не считая той, что была на мне вчера. Вот ее-то, пожалуйста, и дайте. И не будем больше говорить об этом.

– Как вашей милости угодно, – согласился Калев. – Конечно, это платье темное, так что оно вполне прилично по случаю траура; но, право, я ни разу не надевал той пары: она для меня слишком хороша – Ведь у вашей милости нет другой перемены... Камзол прекрасно вычищен, а на охоте присутствуют дамы...

– Дамы? – спросил Рэвенсвуд. – Кто именно, Калев?

– Откуда мне знать, ваша милость? Из сторожевой башни я только и видел, как они промчались мимо, натянув поводья, а перья на их шляпах развевались, как у фрейлин королевы эльфов.

– Ладно, Калев, ладно. Подайте же мне плащ и принесите портупею. Что там еще за шум во дворе?

– Это лэрд Бакло вывел лошадей, – ответил Калев, посмотрев в окно.

– Будто в замке не довольно слуг! Или будто я не могу заменить их, если им вздумалось выйти за ворота!

– Ах, Калев, у нас ни в чем не было недостатка, если бы ваше «могу» равнялось вашему «хочу».

– Надеюсь, вашей милости это ни к чему, мы и так, кажется, несмотря на все наши невзгоды, поддерживаем честь рода, насколько можем. Только мистер Бакло больно уж горяч, больно нетерпелив! Взгляните: вот вывел коня вашей милости без вышитого чепрака... А я вычистил бы его в одну минуту.

– Хорош и так, – сказал Рэвенсвуд и, спасаясь от Калеба, направился к узкой винтовой лестнице, спускавшейся во двор.

– Может быть, и так хорош, – возразил Калев с некоторым неудовольствием, – но если ваша милость чуточку помедлит, я скажу, что, безусловно, будет очень нехорошо...

– Ну, что еще? – нетерпеливо спросил Рэвенсвуд, однако остановился и подождал.

– Нехорошо, если вы приведете кого-нибудь в замок к обеду; не могу же я опять устраивать пост в праздничный день, как тогда, в день святой Магдалины. По правде говоря, если бы ваша милость изволили отобедать вместе с лордом Битлбрейном, то я бы воспользовался передышкой и поискал чего-нибудь на завтра. А не отправиться ли вам обедать вместе с охотниками на постоянный двор? Всегда найдется отговорка, чтобы не заплатить: можно сказать, что вы забыли кошелек, или что хозяин не выплатил ренту и вы зачтете, или...

– Или сочинить еще какую-нибудь ложь, не так ли? – досказал Рэвенсвуд. – До свиданья, Калев.

Возлагаю на вас заботы о чести нашего дома!

И, вскочив в седло, Рэвенсвуд последовал за Бакло, который, увидев, что его приятель вдел ногу в стремя, с риском сломать себе шею поскакал во весь опор по крутой тропинке, спускавшейся от башни к равнине.

Калев Болдерстон с волнением следил за удаляющимися всадниками.

– Дай бог, чтоб с ними ничего не случилось, – бормотал он, качая седой головой. – Вот они уже на равнине. Разве кто-нибудь скажет, что их коням не хватает резвости или прыти!

Бесшабашный и горячий от природы, молодой Бакло летел вперед с беспечной стремительностью ветра. Рэвенсвуд не отставал от него ни на шаг: он принадлежал к тем созерцательным натурам, что неохотно покидают состояние покоя, но, раз выйдя из него, движутся вперед с огромной, неукротимой силой. К тому же его энергия не всегда соответствовала силе полученного толчка; ее можно было сравнить с движением камня, который катится под гору все быстрее и

быстрее, независимо от того, приведен ли он в движение десницей великана или рукой ребенка.

И на этот раз охота – эта забава, настолько любимая юношами всех сословий, что скорее кажется врожденной страстью, данной нам от природы и не знающей различий сословий и воспитания, нежели благоприобретенной привычкой, – охота явилась для Рэвенсвуда мощным толчком, и он предался ей с необычным пылом.

Призывное пение французского рожка, которым ловчие в те далекие дни имели обыкновение подстрекать собак, пуская их по следу; разливистый лай своры, раздававшийся где-то вдали; еле слышные крики егерей; еле различимые фигуры всадников, то подымавшихся из пересекавших равнину оврагов, то мчавшихся по ровному полю, то пробирававшихся через преградившее им путь болото; а главное – ощущение бешеной скачки, – все это возбуждало Рэвенсвуда, вытесняя, хотя бы на краткий миг, обступившие его болезненные воспоминания. Однако очень скоро сознание того, что, несмотря на все преимущества, которые давало ему превосходное знание местности, он все-таки не сможет на своем усталом коне угнаться за охотниками, напомнило Рэвенсвуду о его тяжелом положении. В отчаянии он остановил коня, проклиная бедность, лишившую его любимой забавы, или, лучше сказать, единственного занятия предков в свободное от бранных подвигов время, как вдруг к нему подъехал неизвестный всадник, уже довольно долго незаметно следовавший за ним.

– Ваша лошадь устала, сэра, – обратился к нему незнакомец с предупредительностью, необычной среди охотников. – Разрешите предложить вашей милости моего коня.

– Сэр, – сказал Рэвенсвуд, скорее удивленный, чем обрадованный подобным предложением, – право, я не знаю, чем заслужил такую любезность со стороны незнакомого человека.

– Не задавайте лишних вопросов, – закричал Бакло, который, чтобы не обгонять Рэвенсвуда, чьим покровительством и гостеприимством он пользовался, все время нехотя сдерживал коня. – «Берите то, что дают вам боги», как говорит великий Джон Драйден, или... постойте... Послушайте, мой друг, дайте-ка вашу лошадь мне: я вижу, вам трудно справиться с нею.

Я ее усмирю и объезжу для вас. Садитесь на моего скакуна, Рэвенсвуд: он полетит как стрела.

Не дожидаясь ответа. Бакло бросил поводья своей лошади Рэвенсвуду и, вскочив на коня, которого ему уступил незнакомец, поскакал во весь опор.

– Вот бесшабашный малый! – воскликнул Рэвенсвуд. – Как вы могли, сэра, доверить ему лошадь?

– Тот, кому принадлежит эта лошадь, – сказал незнакомец, – всегда рад служить вашей милости и друзьям вашей милости всем, что у него есть.

– Кто же это такой? – изумился Рэвенсвуд, – Простите, ваша милость: он желает сообщить вам свое имя лично. Не угодно ли вам сесть на лошадь вашего приятеля, а свою оставить мне – я разыщу вас после охоты. Слышите? Трубят рога – олень уже загнан.

– Пожалуй, это самое верное средство возратить вам коня, – сказал Рэвенсвуд и, вскочив на скакуна Бакло, помчался к тому месту, откуда звуки рога возвещали последний час оленя.

Ликующие призывы рогов мешались с криками ловчих: «Ату его, Толбот! Ату его, Тевийот! Вперед, ребята, вперед!» и другими охотничьими возгласами, оглашавшими в старину отъезжее поле, и вместе с нетерпеливым лаем борзых, теперь уже вплотную окруживших свою жертву, сливались в веселый неумолчный хор. Рассыпавшиеся по равнине всадники, словно лучи, устремляющиеся к единому центру, съезжались со всех сторон к месту последнего действия.

Опередив всех, Бакло первым прискакал туда, где выбившийся из сил олень внезапно остановился и, повернувшись кругом, кинулся на собак. Он, как принято говорить, был загнан. Опустив благородную голову, затравленное животное, все покрытое пеной, с выкатившимися от бешенства и страха глазами, теперь, в свою очередь, – вселяло ужас в своих преследователей. Охотники, подъезжавшие один за другим со всех концов поля, казалось, подстерегали благоприятный момент, чтобы взять зверя, – в подобных обстоятельствах приходится действовать особенно осторожно. Собаки отпрянули назад, громко лая от нетерпения и страха; каждый охотник словно выжидал, чтобы кто-нибудь другой взял на себя опасную задачу – броситься на оленя и прикончить его. Местность была совершенно открытая, так что подойти к зверю незамеченным не было



никакой возможности, и потому, когда Бакло с проворством, отличавшим лучших наездников тех далеких дней, соскочил с лошади, стремглав подбежал к оленю и ударом короткого охотничьего ножа в заднюю ногу повалил его на землю, у всех присутствующих вырвался радостный крик. Собаки ринулись на поверженного врага и вскоре прикончили его, возвестив о своей победе пронзительным лаем; ликующие крики охотников и звуки рогов, играющих песнь смерти, заглушили даже доносящийся сюда рокот морского прибоя.

Затем ловчий отозвал собак и, преклонив колено, подал нож даме на белом коне, которая из боязни или, быть может, из сострадания держалась до сих пор поодаль. Согласно тогдашней моде лицо всадницы закрывала черная шелковая маска, – ее надевали не только для защиты кожи от действия солнечных лучей или непогоды, но главным образом в соответствии со строгими правилами этикета, не позволявшими молодой леди участвовать в буйных забавах или появляться в смешанном обществе с открытым лицом. Богатство туалета этой дамы, резвость и красота ее коня, в особенности же учтивые слова, с которыми обратился к ней ловчий, подсказали Бакло, что перед ним королева охоты. Велико же было огорчение, если те сказать презрение, нашего пылкого охотника, когда он увидел, что дама отстранила поданный ловчим нож, отказываясь от чести первой рассечь грудь животного и взглянуть, хороша ли оленина. Он было совсем уже собрался сказать ей какой-нибудь комплимент, но, на свое несчастье, Бакло вел жизнь, исключавшую возможность близкого знакомства с представительницами высшего сословия, и потому, несмотря на врожденную смелость, испытывал робость и смущение всякий раз, когда ему нужно было заговорить со знатной дамой.

Наконец, по его собственному выражению, собравшись с духом, он отважился приветствовать прелестную амазонку и выразить надежду, что охота не обманула ее ожиданий. Молодая женщина отвечала очень скромно и любезно, выказав признательность отважному охотнику, так искусно окончившему травлю как раз тогда, когда собаки и ловчие, по-видимому, растерялись, не зная, что делать.

– Клянусь охотничьим ножом, миледи, – ответил Бакло, которого слова прекрасной дамы возвратили на родную почву, – не велик труд и не велика заслуга, если малый не трусит оленьих рогов. Я ходил на оленя раз пятьсот, и как увижу, что зверь загнан, земля ли, вода ли под ногами – бросаюсь на него и колю. Это – дело привычки, миледи; только я вам скажу, миледи, гут, при всем прочем, нужно действовать быстро и осторожно; и еще, миледи, всегда имейте при себе хорошо отточенный обоюдоострый нож, чтобы колоть и справа и слева, как будет сподручнее, потому что рана от оленьих рогов дело нешуточное и может загноиться.

– Боюсь, сэр, – сказала молодая женщина, улыбаясь из-под маски, – вряд ли мне представится случай воспользоваться вашими советами.

– Осмелюсь сказать, миледи, джентльмен истинную правду говорит, – вмешался старый ловчий, находивший несвязные речи Бакло весьма назидательными, – я часто слышал от отца – он был лесничим в Кабрахе,

– что раны от клыков кабана менее опасны, чем от рогов оленя. Как говорится в песне старого лесника.

Кого пронзит олений рог, не минет похорон,  
А клык кабаний излечим, не так уж страшен он.

– И еще один совет, – продолжал Бакло, который теперь уже совсем освоился и желал всем распорядиться, – собаки измучились и устали, так надо скорее дать им оленю голову в награду за усердие; а потом позвольте напомнить, что ловчий, который будет свежевать оленину, должен первым делом осушить за здоровье вашей милости кружку эля или чашу доброго вина: если он не промочит горло, оленина быстро испортится.

Нечего и говорить, что ловчий не преминул в точности исполнить последнее указание, а затем в благодарность протянул Бакло нож, отвергнутый прекрасной дамой, и она, со своей стороны, вполне одобрила этот знак уважения.

– Я уверена, сэр, – сказала она, удаляясь от кружка, образовавшегося вокруг убитого живот-

ного, – что, мой отец, ради которого лорд Битлбрейн затеял эту охоту, с радостью предоставит распоряжаться всем человеку, столь опытному и искусному, как вы.

С этими словами дама любезно поклонилась всем присутствовавшим, простилась с Бакло и уехала в сопровождении нескольких слуг, составлявших ее свиту. Бакло почти не заметил ее отъезда: он так обрадовался случаю выказать свое искусство, что все на свете, и мужчины и женщины, стали ему совершенно безразличны. Он скинул плащ, засучил рукава и обнаженными руками, по локоть забрызганными кровью и салом, принялся резать, рубить, отсекал и разрубать тушу на части с точностью, достойной самого сэра Тристрама; и при этом он рассуждал и спорил с ловчими об оленьих деревьях, грудице, бочках, рульке и тому подобных охотничьих или, если угодно, скотобойных терминах, в то время весьма употребительных, а ныне, возможно, преданных забвению.

Когда Рэвенсвуд, немного отставший от приятеля, увидел, что с оленем покончено, минутное увлечение охотой уступило место горькому чувству отчужденности, которое он всегда испытывал не только при встрече с людьми своего круга, но даже с теми, кто был ниже его по рождению и положению в свете.

Поднявшись на невысокий холм, юноша стал наблюдать за веселой возней, происходившей на равнине; до него доносились радостные крики охотников, мешавшиеся с лаем собак, ржанием и топотом коней.

С тяжелым чувством внимал он – дворянин, лишенный титула и состояния, – этим веселым звукам. Охота и все, что с ней связано, ее удовольствия и волнения, с давних времен всегда считалась исключительным правом аристократии и издавна была главным ее занятием в мирное время. Сознание того, что в силу тяготивших над ним обстоятельств он лишен возможности принимать участие в забаве, составлявшей особую привилегию его сословия, мысль о том, что чужие люди свободно охотились на исконных землях его предков, предназначенных ими для собственных развлечений, а он – их наследник – принужден смотреть на это издали, – все это не могло не угнетать Рэвенсвуда, натуру созерцательную и меланхолическую. Однако из гордости он не позволил себе предаваться подобным настроениям. К тому же вскоре чувство подавленности сменилось негодованием: Рэвенсвуд увидел, что его легкомысленный приятель, Бакло, и не думает расставаться с взятым взаймы конем, и решил не уезжать, пока конь не будет возвращен хозяину.

Однако в ту самую минуту, когда Рэвенсвуд направился было к группе охотников, к нему приблизился всадник, также не принимавший участия в травле зверя.

Незнакомец казался человеком преклонных лет.

На нем был широкий пунцовый плащ, застегнутый по самую шею, и низко надвинутая на лоб шляпа с опущенными полями, вероятно чтобы защищать лицо от ветра. Его конь, выносливый и смирный, как нельзя лучше подходил всаднику, приехавшему скорее полюбоваться охотой, нежели для того, чтобы принять в ней участие. Его сопровождал слуга, державшийся несколько поодаль, и это, так же как и весь вид джентльмена, обличало человека немолодого, но родовитого и знатного. Незнакомец заговорил с Рэвенсвудом очень учтиво, однако в голосе его слышалось смущение.

– Вы, я вижу, храбрый юноша, сэр, – начал он. – Почему же вы смотрите на эту благородную забаву так хладнокровно, словно несете на плечах бремя моих лет?

– Прежде я с жаром предавался радостям охоты, – отвечал Рэвенсвуд,

– но нынче мои обстоятельства изменились; к тому же, – прибавил он, – в начале охоты у меня была плохая лошадь.

– Кажется, один из моих слуг догадался предложить лошадь вашему приятелю, – сказал незнакомец.

– Я очень благодарен и ему и вам, сэр, за эту любезность. Моего приятеля зовут мистер Хейстон из Бакло; вы, без сомнения, найдете его в самой гуще этих ретивых охотников. Он тотчас возвратит коня вашему слуге, пересядет на мою лошадь и, – добавил Рэвенсвуд, натягивая поводья, – присоединит свою благодарность к моей.

С этими словами Рэвенсвуд повернул коня, тем самым давая понять, что разговор окончен, и направился домой. Однако отделаться от незнакомца оказалось не так-то легко. Он тоже повернул

коня и поехал рядом с Рэвенсвудом, а так как из соображений этикета, не говоря уже об уважении к преклонным летам этого джентльмена, к тому же только что оказавшего ему услугу, юноша счел неприличным обгонять его, ему пришлось продолжать путь в обществе непрощеного спутника.

Незнакомец недолго хранил молчание.

– Так это и есть древний замок «Волчья скала», о котором так часто упоминается в шотландских летописях? – спросил он, указывая на старую башню, мрачно черневшую на темном фоне грозовой тучи.

Преследуя зверя, охотники кружили недалеко от замка, и потому наши всадники не проехали и мили, как очутились на том самом месте, где Рэвенсвуд и Бакло присоединились к охоте.

Молодой человек ответил холодным и сдержанным «да».

– Это, как я слышал, – продолжал незнакомец, не обращая внимания на сдержанность Рэвенсвуда, – одно из самых первых владений благородного семейства Рэвенсвудов.

– Первое, сэр, и, вероятно, последнее.

– Я... я... надеюсь, что не последнее, сэр, – запинаясь и несколько раз откашливаясь, проговорил заметно смущенный джентльмен. – Шотландия знает, чем она обязана этому старинному роду, и помнит его многочисленные и блестящие подвиги. Не сомневаюсь, что, если бы ее величеству стало известно о разорении – то есть я хотел сказать: об упадке – столь древнего и славного рода, то нашлись бы средства *ad reedificandum antiquam domum*.<sup>16</sup>

– Я избавлю вас от труда продолжать этот разговор, сэр, – гордо перебил его Рэвенсвуд. – Перед вами наследник этого злосчастного рода. Я – Рэвенсвуд. Вы, по-видимому, сэр, принадлежите к людям светским и образованным, а потому вам должно быть известно, что непрощеное страдание едва ли не тягостнее самого несчастья.

– Прошу простить меня, сэр, – ответил незнакомец, – я не знал... Сознаюсь, мне не следовало упоминать... Но я никак не предполагал...

– Не стоит извинений, сэр, – сказал Рэвенсвуд. – К тому же дороги наши, кажется, расходятся; право, я не считаю себя обиженным.

При этих словах Рэвенсвуд свернул на узкую тропинку, служившую некогда проездом к «Волчьей скале», тогда как ныне, по словам певца «Надежды»,

Дорога давно заросла травой,  
И редко по ней проезжал верховой  
К холмам, окружающим море.

Не успел он, однако, проехать и шагу, как к незнакомцу приблизилась молодая леди, о которой мы говорили выше, в сопровождении слуг.

– Дочь моя, – обратился старик к даме в маске, – это Эдгар Рэвенсвуд.

Рэвенсвуду надлежало сказать в ответ несколько учтивых слов или по крайней мере осведомиться об имени незнакомца и его дочери, но грациозность и робкая скромность молодой женщины так поразили его, что на мгновение лишили дара речи.

Тем временем туча, уже давно висевшая над скалой, где стояла башня, мало-помалу надвигаясь, затянула небо густой темной пеленой; уже ничего нельзя было различить вдаль, а вблизи все предметы казались черными, море сделалось свинцовым, а поросшая вереском равнина стала бурой; уже несколько раз слышались отдаленные раскаты грома, вспыхнула молния – одна, другая, – вырвав из темноты встававшие в отдалении серые башенки «Волчьей скалы» и озарив багровым мерцающим светом пышные гребни бегущих один за другим валов океана.

Лошадь прелестной всадницы стала проявлять признаки страха и беспокойства, и Рэвенсвуд подумал что он, как мужчина и к тому же джентльмен, не может в подобную минуту оставить молодую девушку на попечении престарелого отца и раболепных слуг. Долг вежливости, как ему казалось, обязывал его взять ее лошадь под уздцы и помочь справиться с перепуганным животным. Между тем старик сказал, что гроза, видимо, усиливается, а так как до поместья лорда Битлбрейва,

---

<sup>16</sup> Для восстановления древнего дома (лат.).

у которого они гостят, очень далеко, то он был бы крайне благодарен Рэвенсвуду, если бы тот указал им какое-нибудь место поблизости где они смогут укрыться от дождя. При этом он бросил такой просительно-смятенный взгляд на «Волчью скалу», что Рэвенсвуду ничего не оставалось, как предложить старику и даме, оказавшимся в столь крайних обстоятельствах, временный приют в своем доме. Действительно, состояние, в котором находилась прелестная всадница, делало это совершенно необходимым: помогая ей управиться с лошадью, Рэвенсвуд заметил, что девушка дрожит и сильно взволнована: очевидно, она испугалась надвигавшейся грозы.

Не знаю, передался ли ее страх Рэвенсвуду, но непонятное волнение вдруг охватило его.

– Башня «Волчья скала», – сказал он, – не может предложить вам ничего, кроме крова, но если в подобную минуту этого достаточно...

Он замолчал, словно не имея сил договорить до конца. Но старик, навязавшийся ему в спутники, поспешил воспользоваться ненароком сорвавшимся словом и принять за приглашение то, что было лишь слабым намеком на него.

– Гроза, – сказал он, – достаточный повод, чтобы отложить в сторону всякие церемонии. Моя дочь слаба здоровьем. Она недавно перенесла сильное потрясение. Мы, конечно, злоупотребляем вашим гостеприимством, но наши обстоятельства, мне думается, послужат нам оправданием. Благополучие дочери мне дороже правил этикета.

Путь к отступлению был отрезан, и, взяв под уздцы коня молодой женщины, чтобы не дать ему вздыбиться или понести при неожиданном ударе грома, Рэвенсвуд повел гостей в замок. Смятение, охватившее его в первые минуты, не помешало ему заметить, что смертельная бледность, покрывавшая шею, лоб и видневшуюся из-под маски нижнюю часть лица его спутницы, теперь сменилась ярким румянцем, и юноша с величайшим смущением почувствовал, что, по какому-то неизъяснимому сродству душ, сам тоже начинает краснеть. Незнакомец под предлогом беспокойства о здоровье дочери не сводил с молодых людей глаз и все время, пока лошади подымались в гору, пристально следил за выражением лица Рэвенсвуда. Вскоре кавалькада достигла стен древней крепости, и противоречивые чувства наполнили душу Рэвенсвуда. Проведя всадников в пустой двор, он принялся звать Калеба суровым, чуть ли не свирепым голосом, который никак не шел к его роль учтивого хозяина, принимающего у себя знатных гостей.

Калеб явился. Такой бледности не было даже на лице прелестной незнакомки при первых раскатах грома! Никто никогда ни при каких обстоятельствах не бледнел так, как страдалец дво-рецкий, когда увидел гостей в замке и вспомнил, что приближается час обеда.

– С ума он сошел! – пробормотал старик. – Нет, он совсем рехнулся! Привести сюда знатных господ, даму и целое полчище слуг! И это в два часа пополудни!

Подойдя к хозяину, Калеб принялся извиняться, что отпустил всех слуг на охоту.

– Я не ждал вашу милость раньше ночи, – объяснил он. – Боюсь, что теперь этих бездельников не скоро докличешься.

– Довольно, Болдерстон, – сурово прервал его Рэвенсвуд. – Ваше шутовство здесь неуместно. Сэр, – обратился он к гостю, – этот старик и служанка, еще старее и глупее его, – вот вся моя челядь. Угощение, которое я могу предложить вам, еще более скудно, чем можно ожидать при взгляде на эту жалкую челядь и ветхое жилище. Но, как бы там ни было, все, чем я располагаю, к вашим услугам.

Незнакомец, пораженный представшей перед ним картиной разрушения, или, точнее, запустения, которой низко нависшая туча придавала еще более мрачный колорит, а быть может, обеспокоенный властным тоном Рэвенсвуда, с тревогой смотрел вокруг и, видимо, жалел, что поспешил принять приглашение. Но теперь у него не было иного выхода: он сам себя поставил в это неловкое положение.

Что же касается Калеба, то публичное и безоговорочное признание хозяина в том, что он гол как сокол, совершенно его ошеломило; в продолжение нескольких минут он мог только бормотать что-то себе под нос, теребя заросший подбородок, уже дней шесть не знавший прикосновения бритвы.

– Он сошел с ума... Совсем сошел с ума! Ну, да пусть моя душа достанется дьяволу, – прибавил он, призывая к себе на помощь всю свою изобретательность и сметливость, – если я не су-



мею спасти честь рода, будь мастер Рэвенсвуд так же безумен, как все семь мудрых визирей вместе взятые.

Калев смело приблизился к гостям и, невзирая на гневные, нетерпеливые взгляды, бросаемые на него Рэвенсвудом, важно спросил, не прикажет ли молодая леди подать каких-нибудь закусок, бокал токайского, или хереса, или...

– Прекратите ваше непристойное фиглярство! – прикрикнул на него Рэвенсвуд. – Отведите лошадей на конюшню и не надоедайте нам вашими глупыми рассказами.

– Приказания вашей милости всегда будут точно исполнены, – ответил Калев, – но если вашим высокочтимым гостям не угодно отведать ни хереса, ни токайского...

В эту минуту голос Бакло, покрывавший цокот подков и рев рогов, возвестил о его приближении во главе чуть ли не всей доблестной охотничьей ватаги, взбравшейся к башне по узкой тропинке.

– Дьявол меня возьми! – воскликнул Калев, не падая духом даже при этом новом нашествии филистимлян, – если я им сдамся. Шалопай беспутный!

Ведь знает, каковы у нас дела, а тащит сюда целую ораву негодяев, думающих, что у нас здесь бренди – все равно что воды в колодце. Ох, только бы мне избавиться от этих глазастых олухов лакеев, которые пробрались сюда вслед за господами, – много их так-то вперед лезет, – право, с остальными я бы уж справился.

О том, что предпринял Калев для осуществления своего смелого замысла, читатель узнает из следующей главы.

## Глава X

*С засохшим, черным языком,  
В движеньях нетверды,  
Они пытались хохотать  
И снова начали дышать,  
Как бы хлебнув воды.  
Колридж, «Песнь о старом моряке»<sup>17</sup>*

Хейстон из Бакло принадлежал к числу тех легкомысленных людей, которые ради потехи не пожалею г и друга. Когда стало известно, что гости лорда Битлбрейна отправились в замок «Волчья скала», охотники любезно предложили отнести туда убитого оленя. Бакло нашел эту мысль весьма удачной: он заранее предвкушал удовольствие увидеть ужас на лице бедного Калеба Болдерстона, когда перед ним появится вся эта многочисленная орава, и нисколько не помышлял о затруднительном положении, в которое поставит своего приятеля, не имеющего чем накормить и напоить столько ртов. Однако старый дворецкий оказался искусным и ловким противником, готовым на всевозможные увертки и любые хитрости ради спасения чести рода Рэвенсвудов.

– Слава богу, – сказал себе старый слуга, – ветер вчера захлопнул одну из створок больших ворот, а с другой я и сам как-нибудь управлюсь.

Тем не менее, прежде чем принять меры для защиты своих владений от внешних врагов, возвещавших о своем приближении веселыми криками, Калев, как осторожный правитель, решил избавиться от врагов внутренних, каковыми считал всех, кто ест и пьет.

Поэтому, выждав, когда его господин наконец уведет пожилого джентльмена с дочерью в башню, он приступил к исполнению задуманного плана.

– Охотники торжественно несут в замок оленя, – обратился он к свите незнакомца, – и, мне кажется, нам приличествует встретить их у входа.

Однако, как только слуги, неосмотрительно послушавшись коварного совета, вышли за ограду, честный Калев, воспользовавшись тем, что ветер, как сообщалось выше, уже захлопнул одну половинку ворот, немедленно затворил вторую. Страшный грохот прокатился по всей крепо-

---

<sup>17</sup> Перевод Н. Гумилева.

сти, от сводов главной башни до зубчатых стен.

Обезопасив таким образом вход в крепость, старый дворецкий приблизился к маленькому башенному окошечку, из которого некогда осматривали каждого, кто приближался к воротам замка, и вступил в переговоры с охотниками, столпившимися у закрытых ворот. В краткой, но выразительной речи он объяснил им, что ворота замка никогда и ни под каким видом не отворяются во время обеда и что его милость мастер Рэвенсвуд вместе с гостями, тоже весьма знатными особами, только что сел за стол; затем он сообщил, что в деревне Волчья Надежда, у жены конюха на постоялом дворе, есть отличное бренди, и даже дал понять, что его господин заплатит за угощение; правда, это последнее заявление было сделано в очень уклончивых и двусмысленных выражениях, ибо, подобно Людовику XIV, Калев Болдерстон, плетя свои интриги, остерегался прибегать к прямой лжи, стараясь обманывать, не слишком греша против истины.

Слова Калеба удивили одних, у других вызвали смех, а изгнанных из замка слуг повергли в глубокое уныние: они просили впустить их обратно, ссылаясь на свое неотъемлемое право прислуживать господам за столом. Но Калев не желал делать для них исключения. Он стоял на своем с тем непоколебимым, но весьма удобным упорством, которое не поддается никаким убеждениям и не внемлет доводам рассудка.

Тогда Бакло выступил вперед и гневным голосом приказал немедленно впустить его в замок. Калев и тут остался непреклонным.

– Будь здесь сам король, – заявил он, – и то моя рука не поднялась бы отворить ворота против правил и обычаев, принятых в доме Рэвенсвудов, и, как старший слуга, я никогда не нарушу своего долга.

«Бакло пришел в неопишемую ярость и принялся осыпать Калеба отменной бранью и такими проклятиями, кои мы не беремся пересказать. Он заявил, что с ним обходятся самым непозволительным образом, и потребовал, чтобы его немедленно провели к Рэвенсвуду. Но Калев ко всему оставался глух.

– Этот Бакло настоящая пороховая бочка, – бормотал он про себя, – но дьявол меня возьми, если он увидит моего господина раньше завтрашнего утра.

Утром он будет поспокойнее. Только такой повеса мог притащить сюда эту ораву умирающих от жажды охотников, когда ему отлично известно, что в доме не достанет вина даже для него самого.

Затем Калев притворил окошечко и удалился, предоставив непрошеным гостям поступать, как они знают.

Вся эта сцена происходила на глазах молчаливо взиравшего на все происходящее свидетеля, о присутствии которого Калев ничего не подозревал. Это был главный слуга незнакомца – человек, пользовавшийся в доме Эштона большим доверием и уважением – тот самый, кто во время охоты уступил Бакло свою лошадь. В тот момент, когда Калев изгонял из замка слуг, он находился в конюшне и, таким образом, избег общей участи, от которой, конечно, не спасло бы его даже занимаемое им высокое положение.

Увидев проделку Калеба, он тотчас догадался об ее истинных причинах и, зная намерения своего господина относительно Рэвенсвуда, без труда сообразил, как ему следует поступить. Он занял место Калеба в окошечке, чего тот нисколько не подозревал, и объявил стоявшей у ворот толпе, что его господин приказывает своим слугам, равно как и слугам лорда Битлбрейна, отправиться в соседний трактир и, заказав там все, что им приглянется, отобедать на счет лорда – хранителя печати.

Охотники немедленно повернули от негостеприимных ворот «Волчьей скалы». Спускаясь шумной гурьбой по крутой тропинке, они всю бранили Рэвенсвуда за скаредность и недостойное поведение и, не стесняясь в выражениях, проклинали замок со всеми его обитателями.

Бакло, одаренный от природы качествами, которые при других обстоятельствах могли бы сделать из него достойного и разумного человека, отличался вследствие небрежного воспитания крайней слабостью воли и таким непостоянством суждений, что всегда готов был разделить мнения и чувства случайных товарищей. Сравнив похвалы, только что расточавшиеся его ловкости, с попреками, сыпавшимися на Рэвенсвуда, припомнив скучные, томительные дни, проведенные им

в замке, и сопоставив их со своей привычной веселой жизнью, он с крайним возмущением подумал о своем недавнем друге, а так как отказ отворить ворота представлялся ему жесточайшей обидой, решил немедленно порвать с Рэвенсвудом всякие отношения.

Прибыв на постоялый двор в Волчью Надежду, Бакло неожиданно увидел там старого знакомого, как раз слезавшего с лошади. Это был не кто иной, как почтенный капитан Крайнгельт собственной персоной. Он тотчас подошел к Бакло и, по-видимому совершенно забыв, сколь холодно они расстались, самым дружеским образом протянул ему руку., Бакло никогда не умел устоять перед дружеским рукопожатием, и как только Крайнгельт ощутил его руку в своей, старый плут сразу же понял, что у них будут прежние приятельские отношения.

– Рад тебя видеть в добром здравии, Бакло! – воскликнул он. – Честным людям еще можно жить на этой мерзкой земле, Честными людьми, в ту пору якобиты, неизвестно на каком основании, называли только своих приверженцев.

– Ну-ну, кажется, другим-прочим на ней тоже хватает места, – ответил Бакло. – Иначе как бы вы очутились здесь, капитан?

– Кто? Я? Да я волен, как ветер, что в день святого Мартина не платит ни ренты, ни налогов. Все объяснилось и устроилось. Эти старые песочницы из Эдинбурга не посмели продержаться меня и недели.

Ха-ха! Они преданы известной особе больше, чем мы полагали, и способны оказать услугу, когда меньше всего ее ожидаешь.

– Так, так, – сказал Бакло: он отлично знал цену Крайнгельту и питал к нему глубочайшее презрение. – Обойдемся-ка на этот раз без хвастовства.

Скажите честно: вы действительно на свободе и в безопасности?

– На свободе и в безопасности, как судья-виг в собственном судебном округе, как пресвитерианский проповедник у себя на кафедре. Знайте – я приехал сюда специально, чтобы сообщить вам радостное известие: вам больше нет нужды скрываться.

– Значит, можно предположить, что вы снова считаете себя моим другом, Крайнгельт?

– Другом, Бакло? Клянусь, я твой верный Ахат, как любят выражаться люди ученые. Отныне мы будем неразлучны. Да, нас теперь водой не разольешь!

Я пойду с тобой на жизнь и на смерть!

– Сейчас проверим, – сказал Бакло. – Не знаю откуда, но у вас всегда водятся деньги. Ссудите мне два золотых: первым делом я хочу дать этим молодцам промочить пересохшее горло, а там...

– Два? Двадцать, дружище! И еще двадцать в придачу!

– Ого! А вы не шутите? – воскликнул Бакло, недоумевая, – природная сметливость подсказывала ему, что такая чрезмерная щедрость, по всей вероятности, была вызвана какими-то особыми причинами. – Вы, Крайнгельт, или и вправду честный мальчик, чему, признаюсь, трудно поверить, или вы хитрее, чем я подозревал, чему, признаюсь, не менее трудно поверить.

– L'un n'empêche pas l'autre,<sup>18</sup> – ответил Крайнгельт, – впрочем, смотрите сами: золото настоящее.

Капитан отсыпал Бакло пригоршню золотых, которые тот, не глядя, сунул в карман, бросив мимоходом, что при сложившихся обстоятельствах ему все равно придется идти в солдаты, а за хорошие деньги он готов служить хоть самому дьяволу. Затем Бакло повернулся к охотникам.

– За мной, друзья, я угощаю! – крикнул он.

– Да здравствует лэрд Бакло! – грянул дружный хор.

– И черт побери того, кто, позабавившись вволю, отпускает охотников, не дав им сполоснуть пересохшую, как барабанная шкура, глотку, – добавил один из ловчих в виде заключения.

– Рэвенсвуды, – заметил другой, старый охотник, – некогда считались у нас достойным и почтенным родом, но сегодня они себя обесчестили: мастер Рэвенсвуд оказался презренным скрягой.

Эти слова вызвали единодушное одобрение у всех присутствующих, и шумная ватага бросилась в трактир, где и пропировала до глубокой ночи.

---

<sup>18</sup> Одно не мешает другому (франц.).

В силу общительности характера Бакло не был слишком требователен в выборе приятелей, и нынче, восседая во главе пьяной компании после непривычно долгого поста, даже, более того, воздержания, он чувствовал себя совершенно счастливым в кругу своих собутыльников, словно свел знакомство с принцами крови. У Крайгенгельта имелись свои причины подливать масло в огонь, а потому, обладая некоторой долей грубого юмора, изрядным запасом бесстыдства и умением спеть задорную песенку, к тому же без труда читая в душе своего вновь обретенного друга, старый пройдоха искусно поддерживал в нем буйное настроение.

Между тем совсем иная сцена происходила в «Волчьей скале». Поднявшись в замок, Рэвенсвуд, слишком погруженный в свои противоречивые размышления, чтобы заметить проделку Калеба, повел гостей в большой зал.

Неутомимый Калеб, то ли из любви к делу, то ли по привычке трудившийся с утра до ночи, понемногу уничтожил все следы оргии, происходившей в этой комнате после похорон, и водворил в ней какое-то подобие порядка. Но как ни старался бедняга, расставляя жалкие остатки мебели, он был не в силах скрыть потемневшие голые стены, придававшие всей комнате печальный и мрачный вид. Узкие боковые окна, пробитые в толще могучих стен, скорее заслоняли, чем пропускали свет, а свинцовые тучи, закрывавшие небо, еще более усиливали царящий в комнате мрак.

Хотя Рэвенсвуд все еще испытывал некоторую неловкость и замешательство, тем не менее он со всей галантностью кавалера тех далеких дней предложил даме руку и повел ее в верхний конец зала, тогда как ее отец задержался у дверей, по-видимому намереваясь снять плащ и шляпу. В эту минуту ворота с грохотом захлопнулись. Незнакомец вздрогнул, быстро подошел к окну и, увидев, что створки закрыты, а его слуги удалены из замка, бросил на Рэвенсвуда испуганный взгляд.

– Вам нечего бояться, сэра, – мрачно произнес Рэвенсвуд, – эти стены пока еще способны защитить гостя, хотя уже не могут оказать ему радушный прием. Однако полагаю, пора бы мне узнать, – добавил он, – кто оказал честь моему разоренному дому?

Молодая девушка оставалась безмолвной и неподвижной; ее отец – к нему, собственно, относился вопрос – имел вид актера, который, дерзнув взять на себя непосильную роль, позабыл все слова как раз в тот самый момент, когда зрители ожидают, что он начнет говорить. Он старался скрыть свое смущение за внешними формами учтивости, предписываемой светским воспитанием: он отвесил поклон, но одна его нога скользила вперёд, как бы делая шаг к Рэвенсвуду, тогда как другая пятилась назад и словно пыталась спастись бегством. Затем он развязал шнурки от пелерины и поднял забрало, но пальцы его двигались, но неловко, словно плащ был оторочен ржавым железом, а забрало весило не меньше, чем свинцовая плита. Темнота сгустилась, словно желая утаить черты незнакомца, с такой явной неохотой открывавшего свое лицо. Чем больше он медлил, тем сильнее становилось нетерпение Рэвенсвуда; юноша с усилием сдерживал волнение, вызванное, возможно, совсем иными причинами. Эдгар употреблял все старания, чтобы заставить себя молчать, тогда как незнакомец, очевидно, все еще не находил нужных слов, чтобы выразить то небольшое, что считал необходимым. Наконец Рэвенсвуд не выдержал:

– По-видимому, сэра Уильяма Эштона не желает назвать свое имя в замке «Волчья скала».

– Я надеялся, что смогу обойтись без этого, – сказал лорд-хранитель, вновь обретая дар речи, словно дух, разрешенный от молчания заклинателем. – Я очень вам признателен, мастер Рэвенсвуд, что вы положили начало знакомству, когда обстоятельства – несчастные обстоятельства, позволю себе сказать – сделали этот шаг для меня крайне затруднительным.

– Должен ли я считать, что обязан чести этого посещения не одной лишь случайности? – мрачно сказал Рэвенсвуд.

– Не совсем так, – возразил лорд-хранитель, стараясь казаться спокойным, хотя в душе он, возможно, испытывал совсем иное чувство. – Не скрою, я давно желал этой чести, но, пожалуй, если бы не гроза, вы едва ли согласились бы принять меня. Моя дочь и я благодарим случай, позволяющий нам выразить нашу признательность отважному юноше, которому мы обязаны жизнью.

Хотя родовая вражда, разделявшая знатные семьи в феодальную эпоху, в то время уже не проявлялась в открытом насилии, с годами она не стала менее ожесточенной. Поэтому ни нежное чувство к Люси, зародившееся в сердце Рэвенсвуда, ни законы гостеприимства не могли полно-



стью побороть – хотя и несколько умилили – те страсти, которые закипели в груди молодого человека, когда он увидел злейшего врага своего отца под кровом древнего дома, разорению которого тот всемерно споспешествовал.

Эдгар стоял в нерешительности, переводя взгляд с отца на дочь, и сэр Уильям не считал нужным ждать, чем кончатся эти колебания. Освободившись от плаща и шляпы, он подошел к дочери и развязал ленты на ее маске.

– Люси, дитя мое! – начал он и, подав руку дочери, вместе с нею направился к Рэвенсвуду. – Сними маску с лица. Мы должны высказать нашу признательность мастеру Рэвенсвуду открыто и не таясь.

– Если он согласится принять ее от нас, – ответила Люси, и в этих немногих словах, сказанных нежным голосом, казалось, прозвучал упрек и вместе с тем прощение за холодный прием. Произнесенные устами такого «истого и прелестного создания, слова эти поразили Рэвенсвуда в самое сердце, и ему стало нестерпимо стыдно за свою грубость. Он пробормотал что-то о неожиданности их приезда, о своем смущении и кончил горячим признанием в том, как он счастлив предоставить ей приют в своем доме. Затем он отвесил низкий поклон и проделал весь церемониал приветствия, предписанный для таких случаев.

При этом щеки Люси и Эдгара на мгновение соприкоснулись. Рэвенсвуд еще держал руку, протянутую ему Люси в знак доброго расположения, а на щеках девушки еще алел румянец, придававший всей этой сцене несвойственное обычной церемонии значение, как вдруг разряд молнии озарил всю комнату ярким светом и словно вырвал ее из мрака. На какую-то долю секунды все предметы стали отчетливо видимы.

Хрупкая трепещущая фигурка Люси, статная и величавая фигура Рэвенсвуда, его смуглое лицо, страстное и вместе с тем нерешительное выражение его глаз, старинное оружие и гербы, развешанные на стенах, – все это, освещенное резким красноватым отблеском, со всей отчетливостью предстало перед лордом-хранителем. Молния угасла, и тотчас же грянул гром: очевидно, грозовая туча нависла прямо над замком. Раскат был так внезапен и так силен, что старая башня дрогнула до самого основания и все, кто находился в ней, решили, что она рухнет. Сажа, веками лежавшая нетронутой в широких дымоходах, посыпалась в комнату, тучи пыли и извести полетели со стен, и оттого ли, что молния действительно ударила в башню, или из-за сильного сотрясения воздуха, но несколько камней оторвались от старых крепостных стен и рухнули в ревущее море.

Казалось, сам древний основатель замка наслал на землю эту страшную бурю, осуждая примирение наследника рода со злейшим его врагом.

На мгновение все оцепенели от ужаса, и если бы, совладав с собой, лорд-хранитель и Рэвенсвуд не бросились к Люси, она неминуемо лишилась бы чувств. Таким образом Эдгару во второй раз пришлось исполнять щекотливую и опасную обязанность – поддерживать прелестную хрупкую девушку, образ которой уже после первой их встречи во сне и наяву царил в его воображении. Если дух рода Рэвенсвудов действительно имел в виду предостеречь своего потомка от союза с очаровательной гостьей, то средство, к которому он прибег для этой цели, надо признаться, оказалось столь неудачным, как будто выбирал его простой смертный. Хлопоча вокруг Люси, чтобы успокоить ее и помочь ей прийти в себя, Рэвенсвуд волей-неволей вынужден был общаться с ее отцом, – в совместных заботах уничтожилась, по крайней мере на это время, вековая преграда, воздвигнутая между ними родовой враждой. Мог ли Эдгар обойтись сурово или даже холодно с пожилым человеком, чья дочь (и какая дочь!) была почти что в обмороке от вполне понятного испуга – у него в доме! И когда Люси наконец оправилась и с благодарностью протянула им обоим руки, Рэвенсвуд почувствовал, что в сердце его нет уже былой ненависти к лорду – хранителю печати.

Замок лорда Битлбрейна находился в пяти милях от «Волчьей скалы», и о том, чтобы Люси Эштон в ее Состоянии, в такую непогоду, да к тому же еще и без помощи слуг, проделала этот путь, не могло быть и речи. Эдгару ничего не оставалось, как из простой вежливости предложить ей и ее отцу переночевать у него в замке. Он тут же добавил, что дом его слишком беден, чтобы должным образом принять гостей, при этом лицо его снова нахмурилось и приняло прежнее

угрюмое выражение.

– Прошу вас, не говорите об этом, – поспешил перебить его лорд-хранитель, стараясь поскорее уйти от опасного разговора. – Мы знаем, что вы готовитесь к отъезду на континент и, конечно, не в состоянии сейчас заботиться о доме. Это совершенно естественно. Но, право, если вы будете говорить о неудобствах, вы вынудите нас искать пристанище внизу, у крестьян.

Не успел Рэвенсвуд ответить лорду-хранителю, как распахнулась дверь, и в зал вбежал Калеб Болдерстон.

## Глава XI

*Дай мяса им – полкурицы на стол;  
Добавь сардинок тухлых, что остались  
(Хотя приправа будет необычной);  
Все сдобри луком, чтоб отбило запах,  
«Паломничество любви»*

Удар грома, оглушивший всех, кто находился в замке, пробудил дерзкий и изобретательный гений лучшего из мажордомов. Еще не смолкли последние раскаты, еще в башне никто с уверенностью не знал, устоит ли она или рухнет, а Калеб уже восклицал:

– Слава богу! Вот это кстати, прямо как ложка к обеду!

Тут он заметил, что слуга сэра Эштона, отдав какие-то распоряжения стоявшей у ворот толпе, направляется в замок, и тотчас запер кухонную дверь перед самым его носом.

– Как он сюда попал, черт возьми! – бормотал старик сквозь зубы – Ну да черт с ним! Мизи! – обратился он к своей верной помощнице. – Будет тебе дрожать и отбивать поклоны перед печкой. Иди сюда... Или нет, оставайся, где стоишь, и кричи что есть мочи! Все равно больше ты ни на что не годишься! А, да говорят же тебе, старая чертовка!

Кричи! Громче, еще громче! Кричи так, чтобы господа в зале услышали. Я-то знаю, как ты умеешь орать по любому поводу, – до самого Баса слышно.

Погоди! Грохнем-ка эти плошки!

С этими словами Калеб с размаху швырнул на пол всю оловянную и глиняную посуду и, заглушая звон, грохот и треск, завопил таким нечеловеческим голосом, что Мизи, и без того уже насмерть перепуганная грозой, в ужасе уставилась на него, испугавшись, не сошел ли он с ума.

– Что он делает? – закричала она. – Вывалил все, что осталось от поросенка, разлил молоко! Из чего я теперь сварю суп? Господи помилуй, старик от грома совсем рехнулся.

– Придержи-ка свой язык, потаскуха! – прикрикнул на нее Калеб, торжествуя по поводу своей удачной выдумки. – Теперь все в порядке!.. И обед и ужин... Все разом устроилось благодаря грозе.

– Бедняжка совсем спятил, – прошептала Мизи, глядя на Калеба с сожалением и страхом. – Дай-то бог, чтобы к нему когда-нибудь вернулся разум.

– Слушай, тупица ты старая, – продолжал Калеб вне себя от радости, что ему удалось выпутаться из такого, казалось бы, безвыходного положения, – смотри, чтобы сюда не пролез этот молодчик – слуга сэра Эштона, и кричи изо всех сил, что гром ударил в трубу и испортил распрекраснейший обед – все погибло: и говядина, и нежный бекон, и жаркое из козленка, и жаворонки на вертеле, и заяц, и паштет из утки, и оленина, и – ну, что еще? Не беда, если даже преувеличишь! Я пойду наверх, в зал. Расшвыряй здесь все, что можно. Да смотри не впускай сюда этого молодчика.

Распорядившись таким образом, Калеб поспешил наверх, но, прежде чем войти в зал, остановился и заглянул туда через маленькое отверстие в двери, сделанное временем для удобства многих поколений слуг. Увидав, в каком состоянии находится мисс Эштон, он с присущим ему благоразумием решил немного обождать, отчасти для того, чтобы не причинить еще больше беспокойства, отчасти же, чтобы обеспечить должное внимание рассказу об ужасных последствиях грозы.

Но как только Люси пришла в себя и разговор коснулся устройства гостей в замке на ночь,

Калеб счел этот момент вполне подходящим для своего появления и ворвался в зал, как об этом уже сообщалось в предыдущей главе.

– О, горе нам! Горе нам! Какое несчастье с домом Рэвенсвудов! И зачем только я дожился до этого дня!

– Что случилось, Калеб? – с испугом спросил Рэвенсвуд. – Неужели обрушилась одна из башен замка?

– Башня? Нет, слава богу! Но обрушилась сажа, а молния ударила прямо в кухонную трубу. Все разбросано – один кусок здесь, другой там, точно земли лэрда Там-и-Сям. И надо же случиться такой напасти, когда в замке высокие гости, знатные и почтенные господа, – он отвесил низкий поклон лорду-хранителю и его дочери. – Вся снедь перепорчена, нечего подать на обед; да и на ужин, пожалуй, тоже ничего не осталось.

– Охотно верю вам, Калеб, – сухо сказал Рэвенсвуд.

Болдерстон повернулся к хозяину и посмотрел на него с выражением мольбы и упрека.

– Не скажу, чтобы готовился какой-нибудь необыкновенный обед, – продолжал он, опасливо поглядывая на Рэвенсвуда, – так, прибавили кое-что к обычному меню вашей милости, малый столовый прибор, как говорят в Лувре, – три блюда и десерт.

– Оставьте при себе ваши глупости, старый болван! – воскликнул Рэвенсвуд. Назойливость Калеба приводила его в отчаяние, но он не знал, как уговорить старика, чтобы не вызвать какой-нибудь еще более нелепой сцены.

Калеб понял свое преимущество и не преминул им воспользоваться. Однако, заметив, что слуга сэра Эштона вошел в зал и что-то тихо говорит своему господину, он улучил минуту, чтобы шепнуть несколько слов Рэвенсвуду.

– Молчите, бога ради, молчите! Если уж мне хочется губить душу ложью ради спасения чести рода Рэвенсвудов, вас это не должно касаться. Если вы не станете мне мешать, я буду умерен в описаниях, но если вы начнете противоречить мне, я закачу обед, достойный герцога.

Рэвенсвуд счел за наилучшее предоставить назойливому дворецкому свободу действий, и тот, загибая пальцы, пустился перечислять:

– Не очень много блюд; всего на четверых: первая перемена – каплун под белым соусом, жаркое из молодого козленка, бекон. Вторая перемена

– жареный заяц, раки, пирог с начинкой из телятины. Третья перемена – чернослив, теперь-то он уж совсем черен от сажи; сладкий пирог, воздушное пирожное, еще разные сласти, ну, потом – засахаренные фрукты, ну... и это все, – сказал он, перехватив нетерпеливый взгляд хозяина, – все, кроме груш и яблок.

Между тем мисс Эштон, мало-помалу оправившись от испуга, с интересом следила за всем происходящим. Рэвенсвуд, который еле сдерживал раздражение, и Калеб, с решительным видом объявлявший одно за другим кушанья придуманной им трапезы, показались ей настолько смешными, что, несмотря на все усилия, она не могла совладать с собой и неудержимо расхохоталась; отец, правда, более сдержанно, последовал ее примеру, наконец и сам Рэвенсвуд присоединился к ним обоим, хотя и признавал, что веселится на собственный счет. Впервые за долгие годы под древними сводами зала вновь звучал громкий смех – ибо сцена, оставляющая нас холодными при чтении, очевидцам нередко кажется очень забавной. Они то умолкали, то снова принимались хохотать, вновь умолкали – и вновь заливались смехом. Между тем Калеб важно молчал, показывая всем своим разгневанно-презрительным видом, что не намерен отступать от своих слов, и этим только усиливал общее веселье. Наконец, когда Рэвенсвуд и его знатные гости, почти охрипнув от смеха, совсем выбились из сил, он обратился к ним без всяких церемоний.

– Бога не боятся эти благородные господа! Завтракают они по-королевски, и, конечно, утрата лучшего из всех обедов, какие когда-либо готовили повара, только смешит их, словно шутки Джорджа Бьюкэнана. А если бы желудок ваших милостей был так же пуст, как у Калеба Болдерстона, вы вряд ли стали бы смеяться по такому прискорбному поводу.

Отповедь Калеба вызвала новый взрыв веселья, и старый слуга не на шутку обиделся не только за оскорбление, нанесенное роду Рэвенсвудов, но и за презрение к красноречию, с которым он представил размеры мнимого ущерба, причиненного грозой.

«Я им так расписал обед, – говорил он впоследствии Мизи, – что даже у сытого по горло и то бы слюнки потекли, а они, подумай, только смеялись!»

– Но неужели, – сказала мисс Эштон, стараясь придать своему лицу серьезное выражение, – неужели все эти вкусные кушанья погибли безвозвратно и из них нельзя уже выбрать ни кусочка?

– Выбрать, миледи?! Что тут выберешь из золы и сажи! Соболаговолите спуститься вниз и взглянуть на кухню – служанка трясется от страха, все припасы на полу: и говядина, и каплуны, и белый соус, и пирог, и воздушные пирожные, и бекон, и разные сласти, и чего только там нет. Вы вес это можете увидеть собственными глазами, миледи, то есть, – прибавил он, спохватившись, – вы бы могли увидеть... Но теперь кухарка уже прибрала кухню., Правда, остался еще соус, но я попробовал его, и, представьте, на вкус – это совсем кислое молоко. Не иначе, как свернулся от грома. Вот этот джентльмен – он, конечно, слышал, какой был грохот, когда полетела на пол посуда: все наши блюда, и серебро, и фарфор.

Дворецкий лорда-хранителя, хотя и состоял на службе у важного господина, а потому умел в любых обстоятельствах придавать должное выражение своему лицу, оторопел при этом вопросе; не найдясь, что ответить, он только молча поклонился.

– Я полагаю, милейший, – сказал Калебу лорд-хранитель – он начинал опасаться, как бы продолжение этой сцены не рассердило Рэвенсвуда, – я полагаю, что, если бы вы посоветовались с моим слугой Локхардом – он много путешествовал и привык ко всякого рода неожиданностям и различным превратностям судьбы, – вместе вы нашли бы способ выйти из этого затруднительного положения.

– Его милость мистер Рэвенсвуд знает, – возразил Калеб, который, хотя и не питал надежды добиться желанной цели собственными усилиями, однако, подобно благородному слону, согласился бы скорее умереть под возложенным на него бременем, чем прибегнуть к помощи собрата, – его милость знает, что в делах, касающихся чести нашего дома, мне не надобно советчиков.

– Было бы несправедливо отрицать это, Калеб, – ответил Рэвенсвуд, – но вы – мастер главным образом приносить извинения, а ими так же трудно насытиться, как и перечислением блюд вашего уничтоженного грозой обеда. А мистер Локхард, возможно, обладает талантом заменять то, чего нет, а скорее всего, никогда и не было.

– Ваша милость всегда изволит шутить, – сказал Калеб. – Но я не сомневаюсь, что стоит мне спуститься в Волчью Надежду, и даже в худшем случае мы накормим здесь самое малое сорок человек.

Правда, не знаю, пожелает ли ваша милость принять что-либо от этих строптивцев. Не стану отрицать – в деле о яйцах и масле, положенных нам по оброку, они вели себя крайне неблагоприятно.

– Посоветуйтесь с Локхардом, Калеб, – приказал Рэвенсвуд. – Ступайте вместе в деревню и устройте, что можете. Нельзя же морить голодом наших гостей ради спасения чести разоренного рода. Да, Калеб – вот вам мой кошелек. Сдается мне, он будет вам самым лучшим союзником,

– Ваш кошелек! – возмутился Калеб. – На что мне ваш кошелек? Разве мы не в наших собственных владениях? Разве мы должны платить за то, что принадлежит нам по праву?

И Калеб пулей выскочил из комнаты. Локхард последовал за ним.

Как только дверь зала затворилась за слугами, лорд-хранитель счел нужным извиниться за свой неуместный смех, а Люси выразила надежду, что она не обидела доброго, преданного старика.

– Калебу и мне, мисс Эштон, приходится учиться добродушно или по крайней мере терпеливо сносить насмешки, которые повсюду сопутствуют бедности.

– Клянусь честью, вы несправедливы к себе, мастер Рэвенсвуд, – возразил сэр Эштон – Мне кажется, я знаю о ваших делах больше, нежели вы сами, и, надеюсь, сумею доказать вам, что принимаю в них некоторое участие и что... Словом, ваше положение лучше, чем вы полагаете. А пока позвольте заверить вас: я глубоко уважаю всякого человека, который не унывает в несчастье и предпочитает переносить лишения, нежели делать долги или продавать свою независимость.

Опасался ли лорд-хранитель оскорбить чувства Рэвенсвуда или страшился пробудить его гордость, но эти слова были произнесены им крайне осторожно, сдержанно и как-то нерешитель-



но, словно, даже слегка касаясь болезненного предмета, он боялся показаться навязчивым, хотя Рэвенсвуд сам дал повод к подобному разговору. Словом, сэра Уильяма, казалось, боролся между желанием выразить свое дружеское расположение и опасением быть в тягость. Неудивительно, что Рэвенсвуд, почти не знавший света, поверил в искренность этого обходительного придворного, хотя ее едва ли наберется даже капля в целой дюжине таких, как он. Тем не менее ответ Эдгара прозвучал весьма сдержанно. Он сказал, что признателен каждому, кто питает к нему добрые чувства, и, извинившись, вышел из зала, чтобы отдать необходимые распоряжения относительно ночлега.

С помощью старой Мизи все удалось устроить довольно быстро, да и выбор комнат был невелик. Рэвенсвуд уступил свою спальню мисс Эштон, и Мизи – некогда занимавшая почетное место среди замковой челяди, – облачившись в черное атласное платье, которое во время оно принадлежало бабушке Рэвенсвуда и украшало придворные балы королевы Генриетты Марии, – отправилась исполнять обязанности горничной. Тут Эдгар вспомнил о Бакло и, узнав, что он вместе с охотниками и другими случайными сотрапезниками угощается на постоялом дворе, поручил Калебу разыскать его там, объяснить, в каком они находятся затруднении, и попросить остаться ночевать в Волчьей Надежде, поскольку потайную комнату, за неимением другого подходящего помещения в замке, придется отдать лорду-хранителю. Рэвенсвуд не видел большой беды, если сам он, завернувшись в дорожный плащ, проведет ночь в зале у камина; что до слуг, то в те далекие времена в Шотландии все они, от младших и до старших, да и не только слуги, а даже молодые люди из богатых и знатных семей, не считали для себя зазорным переспать на охапке сухой соломы или на сеновале.

Что касается остального, то Локхард получил от своего господина приказание достать оленьины в трактире, Калебу же была предоставлена полная возможность радеть о чести дома по собственному усмотрению. Рэвенсвуд снова предложил ему свой кошелек, но, так как разговор их происходил в присутствии чужого слуги, старый дворецкий, как ни чесались у него руки, отказался взять у хозяина деньги.

«Не мог он разве сунуть мне их тайком, – рассуждал он сам с собой.

– Ох, его милость никогда не научится вести себя в подобных обстоятельствах».

Между тем, по принятому во всех шотландских деревнях обычаю, Мизи подала гостям немного молока и сыра собственного изготовления – «перекусить до обеда». Гроза миновала, и Рэвенсвуд, вспомнив другой старинный обычай, тогда еще не преданный забвению, предложил лорду-хранителю подняться на самую высокую сторожевую башню, чтобы полюбоваться красивым видом, открывающимся оттуда на окрестности, да заодно и нагулять хороший аппетит.

## Глава XII

*«Мадам, – он отвечал, -  
Лишь ломтик хлеба  
(Неприхотлив я в пище, видит небо),  
Да каплуна печенку и пупок,  
Да жареной баранины кусок.  
Но всякое убийство мне претит,  
И вы испортите мне аппетит,  
Коль для меня каплун заколот будет».*  
Чосер, «Рассказ пристава церковного суда»<sup>19</sup>

Тревожные мысли обуревали Калеба, когда он отправился в свою разведывательную экспедицию. Действительно, положение его было тройне трудным.

Он не посмел рассказать своему господину, как утром оскорбил Бакло (только ради чести дома!), и не смел признаться даже самому себе, что слишком поспешно отказался от кошелька;

---

<sup>19</sup> Перевод И. Кашкина

наконец, он со страхом предвидел неприятные последствия от встречи с Бакло, который, конечно, не забыл обиды и, возможно, выпив уже порядочное количество бренди, находится под влиянием винных паров.

Надо отдать Калебу справедливость: он был храбр, как лев, когда дело шло о чести рода Рэвенсвудов, но, отличаясь благоразумием, не любил рисковать понапрасну. Впрочем, предстоящая встреча не слишком его занимала: мысли его были сосредоточены главным образом на том, как скрыть убогое хозяйство замка и доказать, что он не бахвалился, когда брался добыть угощение собственными силами, не прибегая к помощи Локхарда и не тратя хозяйских денег. Это было для него делом чести, как для того благородного слона, с которым мы уже сравнивали Калеба и который, увидев, что ему на помощь ведут собрата, сломал себе хребет в отчаянной попытке выполнить свой долг и самому справиться с непосильным уроком.

Деревня, куда они сейчас направлялись, не раз выручала старого дворецкого в тяжелых обстоятельствах, но за последнее время в отношениях Калеба с ее обитателями произошли значительные перемены.

Это было маленькое селение, раскинувшееся на берегу бухты, образовавшейся при впадении в море небольшой речки; отрог горы, подымавшийся сзади, закрывал его от замка, которому оно некогда принадлежало. Немногочисленные жители Волчьей Надежды, или Волчьей Гавани, как называлось это селение, добывали себе пропитание от случая к случаю: летом – ловлей сельдей (они выходили в море на нескольких рыбацких баркасах), зимою же – контрабандой джина и бренди. Они питали наследственное уважение к лордам Рэвенсвудам, что, однако, не помешало большинству из них воспользоваться невзгодами, обрушившимися на их господ, и приобрести за незначительную плату права аренды.<sup>20</sup> на находящиеся в их пользовании маленькие владения: хижинки, огороды и выгоны для скота, и, таким образом, сбросить с себя оковы феодальной зависимости и избавиться от многочисленных поборов, которыми под любым предлогом, а иногда и без всякого предлога, обнищавшие шотландские лэнд-лорды произвольно облагали своих еще более нищих крестьян. Словом, жители селения могли считать себя свободными – обстоятельство, особенно раздражавшее Калеба, имевшего обыкновение взимать с них дань, пользуясь неограниченной властью, какой в старину пользовались в Англии «королевские поставщики, когда, покинув защищенные готическими решетками замки, совершали вылазки за снедью, не приобретаемой за деньги, а отторгаемой силой и властью, и, ограбив сотни рынков и захватив все, что можно, у населения, обращавшегося в бегство и прятавшегося при их появлении, наполняли добычей множество глубоких подвалов»<sup>21</sup>

Калев, некогда сбиравший с крестьян оброк, словно феодальный сюзерен с вассалов (правда, в несколько меньших размерах), с нежностью вспоминал о былой своей власти и не желал примириться с ее падением, а так как он не переставал надеяться, что жестокий закон и исконная привилегия, отдававшая баронам Рэвенсвудам первую и лучшую долю всех плодов земли на пять миль в округе, не уничтожены навеки, а лишь временно бездействуют, то время от времени напоминал о них жителям Волчьей Надежды каким-нибудь мелким побором. Вначале они подчинялись Калебу с большей или меньшей готовностью, ибо, привыкнув издавна считать потребности барона и его семейства важнее собственных нужд, они, даже обретя фактическую независимость, не сразу почувствовали себя свободными. Они походили на человека, который долгие годы томился в оковах и, оказавшись на воле, не может избавиться от ощущения, будто наручники все еще сжимают ему запястья. Но подобно тому, как выпущенный из темницы узник, получив возможность беспрепятственно двигаться, вскоре избавляется от чувства связанности, рожденного долгим ношением кандалов, так и человек, обретший свободу, быстро осознает дарованные ему права.

Мало-помалу жители Волчьей Надежды начали роптать, сопротивляться и наконец наотрез отказались подчиняться поборам Калеба Болдерстона.

---

<sup>20</sup> То есть неотъемлемое право пользования земельным участком с ежегодной выплатой определенной денежной суммы, незначительной по сравнению с теми оброками и поборами, о которых говорится ниже. (Прим, автора.)

<sup>21</sup> Берк. Речи об экономических реформах. – Собр. соч., т. 3, (Прим, автора.)

Тщетно он напоминал им, что, когда одиннадцатый барон Рэвенсвуд, прозванный шкипером за любовь к морскому делу, желая содействовать торговле в их маленькой гавани, построил пристань (груда кое-как сваленных в кучу камней), защищавшую рыбацьи суда от непогоды, то было решено, что на всем протяжении его владений он будет пользоваться первым куском масла от каждой новотельной коровы и первым яйцом, снесенным каждой курицей в понедельник, почему эти яйца и получили название понедельничьих.

Бывшие вассалы слушали, почесывали затылки, кашляли, чихали, а припертые к стенке, отвечали в один голос: «Не знаем» – излюбленный ответ шотландца, когда ему предъявляют требование, которое его совесть, а подчас и сердце, признает справедливым, соображения же выгоды заставляют отвергать.

– Тогда Калев вручил арендаторам Волчьей Надежды бумагу с требованием доставить в замок означенное в ней количество яиц и масла, как недоимку по упомянутому выше оброку, причем снисходительно согласился принять взнос какими-либо другими продуктами или деньгами, если им затруднительно уплатить натурой. После чего он удалился, надеясь, что о дальнейшем они договорятся сами. Крестьяне не замедлили собраться, но не с тем чтобы, как полагал Калев, распределить между собой оброк, а чтобы решительно воспротивиться этому побору; они только не знали, каким способом выказать свое несогласие.

Как вдруг бочар, личность весьма уважаемая в рыбацьем поселке, своего рода местный сенатор, сказал:

– Наши куры все кудахтали для лордов Рэвенсвудов, а теперь пускай-ка покудахнут для тех, кто их поит и кормит.

Собрание выразило свое одобрение единодушным смехом.

– А если хотите, – продолжал бочар, – я схожу к Дэви Дингуоллу, стряпчему, что приехал сюда, с севера. Ручаюсь, уж он-то найдет для нас законы.

Крестьяне тут же назначили день для большого разговора о требованиях Калеба и пригласили его явиться в Волчью Надежду. Калев прибыл в селение с жадно простертыми руками и пустым желудком, рассчитывая поживиться за счет данников Волчьей Надежды и наполнить первые – с пользой для своего господина, а второй – с пользой для себя. Но, увы, надежды его развеялись как дым! Не успел он вступить в селение с восточной стороны, как увидел, что с западного конца, к нему приближается, роковая фигура Дэви Дингуолла, хитрого, сухопарого, язвительного стряпчего, обладавшего к тому же железными кулаками; он вел тяжбы против Рэвенсвуда и был главным клеветником сэра Уильяма Эштона. Размахивая кожаным мешком, доверху набитым грамотами и хартиями, выданными селению, Дэви выразил надежду, что не заставил мистера Болдерстона ждать, поскольку ему «поручено, а также даны все полномочия, погашать и взыскивать долги, примирять тяжущиеся стороны и возмещать убытки, словом, действовать согласно необходимости касательно всех взаимных и неудовлетворенных претензий достопочтенного Эдгара Рэвенсвуда, иначе именуемого мастер Рэвенсвуд...»

– Высокоблагородного Эдгара, лорда Рэвенсвуда, – сказал Калев с особым ударением: зная, как мало у него шансов на успех в предстоящем споре, он тем более был полон решимости ни на йоту не уступать в вопросах чести дома.

– Пусть лорд Рэвенсвуд, – согласился деловой человек, – не будем спорить о титулах, даваемых из вежливости... Итак, именуемого лорд Рэвенсвуд или мастер Рэвенсвуд, наследственного владельца замка «Волчья скала» и принадлежащих ему земель, с одной стороны, и Джона Уайт-фиша и других ленников из селения Волчья Надежда, расположенного на вышеупомянутых землях, с другой.

Калев знал по горькому опыту, насколько труднее вести борьбу с этим наемным поборником чужих прав, чем с самими поселянами, – на их воспоминания, привязанности и образ мыслей он мог бы воздействовать сотнями косвенных аргументов, к которым их полномочный представитель оставался совершенно глух.

Исход этого свидания подтвердил всю справедливость опасений Калеба. Тщетно пускал он в ход все свое красноречие и изобретательность, тщетно приводил кучу доводов, ссылаясь на древние обычаи и наследственное чувство уважения, тщетно напоминал о помощи, оказанной лордами

Рэвенсвудами жителям Волчьей Надежды в прошлом, и намекал на возможные услуги в будущем, – стряпчий твердо держался буквы грамот: этого он в них не видел, там это не было записано. А когда Калев, желая попробовать, не подействует ли угроза, упомянул о печальных последствиях для селения, если лорд Рэвенсвуд лишит крестьян своего покровительства, и даже дал понять, что лорд Рэвенсвуд может прибегнуть к решительным мерам в отместку за обиду, Дингуолл громко расхохотался.

– Мои доверители, – сказал он, – решили сами заботиться об интересах своего селения, а лорду Рэвенсвуду, коль скоро он лорд, довольно хлопот в своем собственном замке. Что же касается угроз о насильственном изъятии, с применением силы, или *via facti*,<sup>22</sup> как это называется в законах, то позволю себе напомнить вам, мистер Болдерстон, что мы живем не в прежние времена, к тому же к югу от Форты, и достаточно далеко от горной Шотландии. Мои доверители считают себя в состоянии защищаться собственными силами, но, если окажется, что они ошибаются, они обратятся за помощью к правительству, – прибавил он с ехидной улыбкой, – и капрал с четырьмя красными мундирами сумеет оградить их от притязаний лорда Рэвенсвуда и от любых насильственных поборов, какие он или его слуги вздумают здесь производить.

Если бы Калев мог сосредоточить в своем взгляде всю ненависть аристократии, если бы он мог испепелить этого стряпчего, отрицавшего вассальную зависимость и родовые привилегии, он бы уничтожил его своим взором, не задумываясь о последствиях. При настоящих же обстоятельствах ему ничего не оставалось, как вернуться в замок. Целых полдня он не показывался никому на глаза и никого к себе не допускал, даже Мизи: запершись в своей каморке, он шесть часов подряд начищал оловянное блюдо да насвистывал песенку «Мэгги Лаудер».

Неудачный исход этой реквизиции лишил Калеба помощи Волчьей Надежды и ее окрестностей, его Перу и Эльдорадо, откуда прежде в случае необходимости он черпал полными пригоршнями. Он поклялся, что ноги его больше не будет в этом селении, и сдержал слово. Трудно поверить, но этот разрыв, как и предполагал Калев, явился чем-то вроде наказания для непокорных вассалов. В их глазах мистер Болдерстон был важным лицом, общающимся с высшими существами; его присутствие украшало их маленькие празднества, его советы во многих случаях оказывались весьма полезными, и знакомство с ним делало честь Волчьей Надежде. По общему мнению, с тех пор как Калев засел у себя в замке, селение «стало совсем не таким, как прежде... Но спору нет, насчет яиц и масла мистер Калев был совсем не прав, и мистер Дингуолл доказал это по всей справедливости».

Таково было положение дел между враждующими сторонами, когда старый дворецкий оказался перед необходимостью либо в присутствии знатного незнакомца и (уж куда хуже!) его слуги признать, что замок «Волчья скала» не способен накормить гостей – а для Калеба это было нож острый, – либо обратиться к милосердию жителей Волчьей Надежды. Предстояло пойти на жестокое унижение, но нужда была крайней, и тут ни с чем нельзя было считаться. Вот какие чувства теснились в груди бедного Калеба, когда он ступил на улицу селения.

Прежде всего он решил избавиться от соглядатая и тотчас указал Локхарду дорогу в харчевню матушки Смолтраш, где Бакло и Крайгенгельт пировали вместе с охотниками и откуда по всей деревне разносилось громкое пение; красноватый свет падал из окон и, рассеивая сгущающиеся сумерки, мерцал на бочках, кадках и бадьях, сваленных в кучу во дворе бочара по другую сторону улицы.

– Не угодно ли вам, мистер Локхард, – обратился к нему Калев, – зайти в тот дом, где горит свет и как раз распевают «Холодной похлебкой угощали нас в Эберднне». Вы сможете выполнить поручение вашего господина и купить там оленины, а я, как только достану остальное, найду туда передать лэрду Бакло, что мастер Рэвенсвуд просил его переночевать в деревне. Разумеется, можно было бы вполне обойтись и без оленины, – прибавил он, держа за пуговицу слугу сэра Эштона, – но, понимаете, это надо сделать из любезности к охотникам. И вот еще что мистер Локхард: если вам предложат вина, или там бренди, или эля, так вы не отказывайтесь, а захватите с собой бочоночек, потому что наши запасы в замке, возможно, пострадали от грозы... Признаться, я этого

---

<sup>22</sup> Явочным порядком (лат.).



очень опасуюсь.

Отпустив Локхарда, Калев тяжелой поступью и с еще более тяжелым сердцем двинулся по кривой улице, которая вилась между разбросанными домиками, обдумывая, с кого начать атаку. Нужно было найти человека, для которого прежнее величие рода Рэвенсвудов имело бы больший вес, чем недавно приобретенная независимость, а просьба Калеба была бы воспринята как высокая честь и, вызвав раскаяние, польстила бы самолюбию. Мысленно перебрав всех жителей селения, он так ни на ком и не мог остановиться. «Боюсь, как бы наша похлебка не оказалась ледяной», – подумал Калев, до слуха которого вновь донесся нестройный хор: «Холодной похлебкой угощали нас в Эбердине». «Пастор... Он получил приход благодаря покойному лорду, но потом они поссорились из-за десятины. Вдова пивовара... Она много месяцев снабжала замок пивом в долг, и ей еще ничего не уплатили по счету – конечно, если бы не честь рода, было бы грешно обижать вдову». Никто не мог бы помочь Калебу в его беде лучше, чем бочарных дел мастер Джибби Гирдер, но, как говорилось выше, он-то и возглавил бунт, так что на его дружескую руку менее всего можно было рассчитывать.

«Впрочем, все зависит от умения взяться за дело, – рассуждал сам с собой Калев. – Я имел неосторожность назвать бочара зеленым новичком, и с тех пор он плохо относится к дому Рэвенсвудов. Но он женился на славной девушке, Джин Лайтбоди, дочке старого Лайтбоди, того самого, что жил в Луп-де-Дайке, а старый Лайтбоди был женат на Мэрион, служившей у леди Рэвенсвуд сорок лет тому назад.

Помню, я не раз повесничал с нею, а она, говорят, теперь живет у зятя. У этого мошенника водятся якобитские и георгиевские денежки. Эх, кабы до них добраться!.. Конечно, если я попрошу займы у этого неблагодарного болвана, то окажу ему и его семейке столько чести, сколько они вовсе не заслуживают.

А если он и потеряет на нас немного, так не велика беда. Накопит еще».

Приняв, таким образом, решение, Калев мигом повернул назад и поспешно зашагал к дому бочара, распахнул без долгих церемоний дверь и сразу очутился в сенях, откуда он мог, никем не замеченный, окинуть взглядом всю кухню.

В противоположность запустению, царящему в замке, дом бочара был полной чашей; в очаге весело пылало пламя. Молодая жена бочара в нарядном платье с широкими рукавами и кружевным воротничком заканчивала праздничный туалет, и ее красивое, добродушное лицо отражалось в осколке зеркала, специально для этой цели прикрепленном к посудной полочке. Ее мать, старая Мэрион, «самая развеселая женщина в околотке», по единодушному мнению окрестных кумушек, сидела перед пылающим огнем во всем великолепии парадного облачения: на ней была гродена-плевая блуза и нить янтарных бус, волосы были уложены в замысловатый узел и скреплены лентой. Уютно попыхивая трубочкой, она надзирала за стряпней, ибо на очаге, упомянутом нами выше, стоял большой горшок, или, точнее говоря, котел, в котором, громко булькая, варилась говядина с хлебными ломтиками, а на вертелах, усердно поворачиваемых двумя мальчишками-учениками, стоявшими по обе стороны печи, жарились бараний бок, жирный гусь и пара диких уток – зрелище, более приятное для страждущего сердца и голодного желудка отчаявшегося мажордома, чем красавица хозяйка и ее развеселая матушка. Вид этого изобилия и соблазнительный запах так подействовали на Калеба, что он едва не лишился чувств. На мгновение он отвернулся, желая посмотреть, что творится в парадной половине дома, и взору его представилась картина, глубоко поразившая его сердце; большой круглый стол был накрыт на десять, а то и на все двенадцать человек и «убран», как любил выражаться Калев, белоснежной скатертью; большие оловянные фляги и несколько серебряных кубков, вероятно сохранивших в себе напиток, достойный их великолепного вида, чистые тарелки, ложки, вилки и ножи, отточенные, начищенные и готовые к употреблению, казались были разложены здесь по какому-то особо торжественному случаю.

«Что из себя корчит этот неуч бочар! – подумал Калев, с завистью любуясь праздничным столом. – Противно смотреть, как это холопское отродье набивает себе утробу. Не будь я Калев Болдерстон, если часть этих превосходных яств сегодня же не отправится со мною в замок».

Задавшись этой целью, Калев смело шагнул в кухню и любезно раскланялся с обеими хозяйками – старой и молодой. Замок «Волчья скала» был своего рода королевским двором для всего

околотка, и Калев – его первым министром; а давно уже замечено, то, если мужское население, платящее подати, нет-нет да и выражает свое недовольство придворными, прекрасный пол, не смотря ни на что, никогда не отказывает им в своей благосклонности, ибо от кого же, как не от них, наша слабая половина узнает последние придворные сплетни и наинovelейшие моды. Поэтому обе женщины тотчас бросились обнимать Калеба, громко изъявляя свой восторг:

– Вы ли это, мистер Болдерстон? Какое счастье видеть вас! Садитесь, садитесь, сделайте милость! Хозяин будет вне себя от восхищения! Для него это такая радость! Ведь у нас сегодня крестины. Вы, вероятно, слышали об этом и, конечно, останетесь взглянуть на обряд. Мы зарезали барана, а один из наших работников ходил на охоту и подстрелил на болоте диких уток. Вы, кажется, всегда любили дичь?

– Что вы, что вы, хозяйюшки, – замахал руками Калев, – я зашел только поздравить вас, да заодно хотел сказать пару слов хозяину, но раз его нет дома... – И Калев сделал движение, будто собрался уходить.

Нет, мы вас так не отпустим! – смеясь, воскликнула старшая хозяйка, крепко держа его за фалды – вольность, относившаяся ко времени их бывшего знакомства. – А вдруг это принесет малютке несчастье, если вы уйдете до крестин.

– Я очень тороплюсь, голубушка, – возразил дворецкий, однако, не слишком сопротивляясь, дозволил усадить себя за стол и, видя, что хозяйка дома поспешно ставит перед ним прибор, добавил:

– Нет, есть я решительно не могу, мы в замке прямо уже дышать не в силах, обедаюсь с утра до ночи. Право, даже стыдно быть такими чревоугодниками, а всему виной английские пудинги, черт бы побрал этих англичан.

– Бог с ними, с вашими английскими пудингами, мистер Болдерстон, – сказала матушка Лайтбоди. – Отведайте-ка наших пудингов: вот ржаной, а вот овсяный. Какой вы больше любите?

– Оба хороши, голубушка, оба превосходны, уж куда лучше, да с меня довольно и запаха – я только что отобедал (у несчастного с самого утра не было во рту ни крошки!). Но, чтобы не обижать вас, хозяйюшки, с вашего позволения, заверну их в салфетку да захвачу с собой, а за ужином обязательно съем.

Откровенно говоря, мне страх как надоели все эти пирожные и сладкие подливы, которыми потчует нас Мизи. Вы же знаете, Мэрион, деревенские лакомства всегда были мне больше по душе, и деревенские красавицы тоже, – прибавил он, смотря на молодую хозяйку. – Как похорошела после замужества! А ведь и раньше была первой красоткой в нашем приходе, да, пожалуй, и во всей окрестности. У доброй коровушки и телка хороша.

Женщины приняли комплименты каждая на свой счет и улыбнулись Калебу, потом они улыбнулись друг другу, а Калев тем временем завернул пудинги в салфетку, которую специально принес на случай, словно фурыер-драгун, повсюду таскающий с собой фуражную сумку, в надежде наполнить ее чем приведется.

– А что нового у вас в замке? – спросила молодая хозяйка.

– Нового? Да уж такие новости, каких вы никогда и не слыхивали! Лорд-хранитель гостит у нас с дочерью; он прямо-таки готов навязать ее нашему милорду, если тот сам не захочет взять ее в жены. Ручаюсь, сэр Эштон не преминет отдать за нею все наши бывшие земли.

– Ах, боже мой! – в один голос воскликнули обе женщины и тотчас засыпали Калеба вопросами:

– А он захочет на ней жениться? А хороша она собой?

А какие у нее волосы? А что на ней надето – амазонка или платье с накидкой?

– Та-та-та! Да тут не меньше дня нужно, чтобы ответить на все ваши вопросы, а у меня нет и минуты свободной. Но где же хозяин?

– Он поехал за пастором, – сообщила миссис Гирдер, – за достопочтенным Питером Байдибентом из Мосхеда; бедняжка долгое время скрывался от преследований в горах и схватил там ревматизм.

– Вот как! Виг, да еще из тех, что прятались в горах! – с нескрываемым раздражением воскликнул Калев. – Я помню время, Мэрион, когда вы и другие порядочные женщины обращались в

подобных случаях к достопочтенному мистеру Кафкушену и его молитвеннику.

– Что правда, то правда, мистер Болдерстон, – согласилась миссис Лайтбоди. – Но как же быть?

Джин – жена своего мужа и должна во всем его слушаться. Она и псалмы поет и гребень выбирает по его сказке. На то он хозяин и глава дома. Так-то, мистер Болдерстон.

– И денежки, чего доброго, тоже у него хранятся? – спросил Калев, которому мужское владичество в доме не сулило ничего хорошего.

– Все, до последнего пенни. Но, как видите, мистер Болдерстон, Гирдер наряжает ее как куколку, так что она не может на него пожаловаться. На чем выиграешь, а на чем и проиграешь.

– Ладно, ладно, Мэрион, – сказал Калев, несколько павший духом, но отнюдь не сраженный. – Вы, мне помнится, вели себя с вашим мужем иначе; ну Да у всякой пичужки свой голосок. Однако мне пора; я и зашел-то только для того, чтобы сказать Гирдеру, что умер Питер Панчен, бочар при королевских погребках в Лите. Пожалуй, если мой господин замолвит словечко за вашего мужа перед лордом-хранителем, это может принести Гилберту немалую пользу, но раз его нет дома...

– Ах, подождите его, – взмолилась молодая женщина, – я всегда говорила мужу, что вы желаете ему добра, но он такой обидчивый – слова нельзя сказать.

– Ну хорошо, подожду еще минутку.

– Значит, вы говорите, – начала молодая жена мистера Гирдера, – что мисс Эштон хорошенькая?

Она и должна быть хорошенькой, если собирается за нашего молодого лорда: он ведь такой красавчик и сидит на лошади как настоящий принц. Знаете, мистер Болдерстон, когда ему случается проезжать мимо нашего дома, он всегда смотрит в мое окно. Вот потому-то я не хуже всех других знаю, какой он из себя.

– Еще бы, дружок! Мой господин всегда говорит, что у жены бочара самые черные глазки во всем околотке, а я ему отвечаю: «Вполне возможно, ваша милость, ведь они ей достались от ее матушки. Черные-пречерные, это уж мне по собственному опыту известно». А? Мэрион! Ха-ха-ха! Хорошее было времечко.

– Ах вы, старый проказник! – воскликнула Мэрион. – Разве так можно говорить при молодой женщине? Джин, мне кажется, ребенок плачет. Ну конечно, он опять схватил эту гадкую простуду.

Мать и бабка, натыкаясь друг на друга, бросились из кухни в темный угол дома, где находился юный виновник торжества.

Увидев, что поле боя очистилось, Калев поднес к носу живительную понюшку – табак всегда придавал ему силы, помогая утвердиться в принятом решении.

«Не видать мне счастья на этом свете, – подумал он, – если Гирдер и Байдибент будут лакомиться этими вкусными утками».

Повернувшись к стоящим у очага мальчикам, Калев сунул старшему из них, которому на вид было лет одиннадцать, два пенса и сказал:

– Вот тебе деньги, дружок, сбегай-ка к миссис Смолтраш и попроси ее насыпать мне в кيسет табачку; она тебе даст за труды пряник, а я пока поверчу за тебя утку.

Не успел старший мальчик закрыть за собою дверь, как Калев, окинув оставшегося поваренка суровым и пристальным взором, снял с огня вертел с дикими утками, за которыми взялся приставать, и, нахлобучив шляпу, торжественно удалился с трофеем в руках. Он шел не останавливаясь и задержался только у харчевни, чтобы в нескольких словах передать через хозяйку мистеру Хейстону Бакло, что его никак нельзя будет устроить в замке на ночь.

Просьба Рэвенсвуда была и так слишком кратко изложена его дворецким, но в устах деревенской трактирщицы она прозвучала совсем уж грубо и оскорбительно: не только Бакло, а любой, даже спокойный и уравновешенный человек вышел бы из себя. Капитан Крайгенгельт, при единодушном одобрении всех присутствующих, предложил догнать старую лису (то есть Калеба), пока она еще не ушла в свою нору, и задать ей хорошую трепку. Но Локхард тоном, не терпящим возражений, объявил слугам сэра Эштона и лорда Битлбрейна, что малейшая обида, причиненная домочадцам молодого Рэвенсвуда, нанесет тяжчайшее оскорбление лорду-хранителю. Сказав все

это достаточно веско, чтобы отбить у слушателей охоту потешаться над стариком, он отправился в обратный путь, прихватив с собою двух слуг, нагруженных всей той снедью, какую ему удалось раздобыть, и в конце селения догнал Калеба.

### Глава XIII

*Принять ваш дар? – Да, я просил об этом,  
Но хуже то, что, я уже украл,  
И худшее, – что, растерялся я.  
«Ум без гроша»*

Лицо мальчика, единственного свидетеля нарушения Калемом всех законов собственности и гостеприимства, могло бы послужить прекрасным сюжетом для картины. Он остолбенел, словно воочию увидел один из тех призраков, о которых ему рассказывали в долгие зимние вечера; забыв о возложенной на него обязанности, он перестал поворачивать вертел и, в довершение всех бед, баранина пригорела и обуглилась. Увесистая пощечина вывела мальчика из оцепенения. Перед ним стояла миссис Лайтбоди, женщина тучная (хотя, надо полагать, другие качества соответствовали ее имени),<sup>23</sup> к тому же мастерски владеющая искусством рукоприкладства, в чем ее покойный супруг, как говорят, имел возможность убедиться на собственном опыте.

– Недоносок ты паршивый! Почему у тебя сгорело жаркое, дармоед никчемный?

– Не знаю, – пролепетал мальчик.

– А куда делся этот негодяй Джайлс?

– Не знаю, – прорыдал несчастный.

– Где же мистер Болдерстон?.. О боже! Именем святых отцов и церковного суда, отвечай: где вертел с дичью?

Тут подросла миссис Гирдер, и обе женщины принялись что было сил кричать на бедного мальчишку, оглушая его одна справа, другая слева, и довели до такого состояния, что он не мог уже вымолвить ни слова. Только с приходом второго мальчика истина мало-помалу начала проясняться.

– Ну, знаете ли, – произнесла миссис Лайтбоди, – кто бы мог подумать, что Калед Болдерстон способен сыграть такую шутку со старой знакомой!

– Стыдно ему! – воскликнула супруга мистера Гирдера. – Что я теперь скажу мужу? Он же убьет меня!

– Что ты, что ты, глупенькая! – проговорила мать. – Беда, конечно, большая, но уж совсем не такая страшная, как ты говоришь. Убить тебя! Для этого ему придется начать с меня, а я и не с такими справлялась. У меня не очень-то разойдешься, а крика мы не боимся.

В эту минуту у ворот раздался конский топот, возвещавший о прибытии бочара с пастором. Спешившись, они прошли прямо в кухню, чтобы поскорее обогреться: после грозы стало очень холодно, а в лесу было сыро и грязно. Молодая женщина, зная, как велико очарование праздничного наряда, бросилась вперед, решив принять на себя первый удар, между тем как миссис Лайтбоди, подобно когорте ветеранов римского легиона, осталась в арьергарде, готовая в случае надобности поддержать дочь. Обе делали все возможное, чтобы отсрочить роковое открытие: старуха загородила собою печку, а дочь, наградив пастора и супруга нежнейшей улыбкой, принялась участливо их расспрашивать, то и дело выражая опасение, как бы они «не простыли».

– Простыли! – сердито передразнил ее Гирдер, не принадлежавший к числу мужей, которых жены держат под каблуком. – Простынешь тут, раз вы не пускаете нас к огню.

С этими словами бочар прорвался сквозь двойную линию заграждений; а так как он обладал чрезвычайно зорким глазом, когда дело шло о его собственности, то сразу же обнаружил отсутствие вертела с дичью.

– Черт возьми! – воскликнул он. – Где...

---

<sup>23</sup> По-английски Лайтбоди (Lightbody) дословно означает «легкое тело».



– Фи, как тебе не стыдно! – накинулись на него обе женщины. – При достопочтенном мистере Байдибенте!

– Виноват, – сказал бочар, – но...

– Произносить вслух имя врага рода человеческого, – сказал мистер Байдибент, – значит...

– Виноват, – повторил бочар.

– Значит, – продолжал преподобный отец, – подвергать себя искушениям, вынуждая его некоторым образом забыть тех несчастных, кои уже составляют предмет его попечений, и заняться тем, кто призывает имя его.

– Ладно, мистер Байдибент, будет, – взмолился бочар. – Ведь я уже признал свою вину, чего же еще? Но, с вашего позволения, я хочу спросить этих женщин, зачем они выложили на блюдо дичь, не дождавшись нашего приезда.

– Мы до нее не дотрагивались, Гилберт, – сказала Джин. – Несчастный случай...

– Какой там еще несчастный случай! – заорал Гилберт, бросая на нее гневный взгляд. – Утки-то, надеюсь, целы? А?

Джин, испытывавшая благоговейный страх перед мужем, не осмелилась отвечать ему, но ее мать немедленно бросилась ей на помощь.

– Я отдала их одному моему знакомому, – заявила она зятю, воинственно отведя локти в сторону, словно собираясь при малейшем возражении упереть руки в бока. – Ну и что?

От такой самоуверенности у Гирдера на мгновение отнялся язык.

– Вы отдали моих диких уток, лучшее украшение нашего обеда?! – завопил он. – Ах вы, старая ведьма! Хотел бы я знать, как его зовут, этого вашего знакомого!

– Достопочтенный мистер Калев Болдерстон из замка «Волчья скала», – отвечала Мэрион, готовая тотчас ринуться в бой.

Когда Гирдер услышал, что его роскошные утки принесены в дар нашему другу Калебу, которого по причинам, уже известным читателю, он решительно недолюбливал, он пришел в неописуемую ярость; ни одно обстоятельство не могло бы сильнее разжечь его негодование. Он замахнулся на миссис Лайтбоди хлыстом, но та даже не шелохнулась; собравшись с силами, она бесстрашно подняла на обидчика железную поварешку, которой только что поливала маслом жаркое. Без сомнения, это оружие не уступало хлысту, а поднявшая его длань была поувесистее, нежели рука Гирдера, а потому он счел за наилучшее выместить свой гнев на жене, издававшей какие-то булькающие звуки, весьма похожие на жалобное всхлипывание, к которым пастор, поистине самый простодушный и добрейший из людей, отнесся с большим состраданием.

– А ты, безмозглая потаскушка, – заорал Гирдер, – ты спокойно смотрела, как мое добро отдают какому-то бездельнику, этому пьянице и распутнику, этой старой развалине, этому лакею, отдают за то, что он поверещал над ухом у глупой старой сплетницы да наврал ей с три короба чепухи. Сейчас я с тобой...

Но тут за нее вступился пастор, пытаясь удержать бочара не только словом, но и делом; между тем миссис Лайтбоди, загородив собою дочь, воинственно размахивала поварешкой.

– Значит, нельзя уж поучить собственную жену?! – возмутился бочар.

– Свою жену, Гирдер, можешь учить сколько тебе угодно, – заявила миссис Лайтбоди, – но мою дочь ты не тронешь и пальцем: в этом уж можешь не сомневаться.

– Стыдитесь, мистер Гирдер, – увещевал пастор. – Не ожидал я от вас такого недостойного поведения! Как! Предаться греховной страсти: с таким гневом ополчиться на самое близкое и дорогое вам существо! И это в тот час, когда вы готовитесь исполнить священнейший долг христианина

– долг отца.

И за что? За пустое и презренное земное благо.

– Презренное! Пустое! – вскричал Гирдер. – Да я отроду не видывал такого жирного гуся! А таких прекрасных уток во всем свете не сыскать!

– Положим, что так, сосед, – возразил пастор. – Но взгляните: разве мало превосходных яств еще осталось в вашем доме? Я помню время, когда одна такая лепешка, которых, как я вижу, имеется у вас в избытке, показалась бы лучшим лакомством тем несчастным, что во имя святой веры

умирали с голоду в горах, в болотах и вырытых в земле пещерах, где они скрывались от гонений.

– Вот это-то меня и бесит, – сказал бочар, желавший хотя бы в ком-нибудь найти сочувствие. – Отдай она мою дичь страждущему праведнику или просто порядочному человеку, я бы слова не сказал. Но этому грабителю и вралю! Этому притеснителю и негодяю тори, гарцевавшему в отряде милиции, сражавшемуся против святых защитников веры при Босуэл-бридже под начальством старого тирана Аллана Рэвенсвуда, которого, слава богу, уже прибрал господь. Отдать самое лакомое блюдо этому негодяю!..

– Но, мистер Гилберт, неужели вы не видите здесь десницы провидения? Детям праведников не приходится протягивать руку за подаванием, а вот отпрыск их некогда могущественного гонителя вынужден поддерживать свое существование крохами с вашего обильного стола.

– К тому же, – вставила словечко миссис Гирдер, – наши утки пойдут совсем не лорду Рэвенсвуду, а на угощение лорда-хранителя, кажется, так его величают. Он сейчас в замке.

– Сэр Уильям Эштон в замке «Волчья скала»! – воскликнул изумленный мастер клепок и обручей.

– Да. Они теперь с лордом Рэвенсвудом такие друзья – водой не разольешь! – присовокупила миссис Лайтбоди.

– Дура набитая! – снова рассердился бочар. – Видно, этому старому сплетнику и пройдохе ничего не стоит уверить вас, что луна – это круг зеленого сыра! Лорд-хранитель – и Рэвенсвуд! Да они что кошка с собакой, что волк с охотником!

– А я вам говорю, что они дружны, словно муж с женой, и между ними больше согласия, чем между иными настоящими супругами. И еще есть одна новость: Питер Панчен, бочар при королевских погребях в Лите, умер, и место его свободно, и...

– Ах, да замолчите ли вы наконец! – прикрикнул Гирдер на говоривших разом женщин, ибо как только разговор принял другой оборот, молодая женщина приободрилась и стала вторить матери, произнося слова так же быстро, но октавой выше, так что получилось что-то вроде песни на два голоса.

– Это сущая правда, хозяин, – сказал старший подмастерье Гирдера, вошедший в кухню во время перебранки. – Я сам только что видел слуг лорда-хранителя в харчевне матушки Смолтраш. Они там пьют и веселятся.

– А господин их гостит в «Волчьей скале»?

– Да, честное слово!

– И он друг Рэвенсвуда?

– Похоже, что так, иначе что бы ему делать в замке?

– И Питер Панчен умер?

– Умер, умер, – подтвердил подмастерье, – преставился старина Панчен. Не одну флягу бренди он осушил на своем веку! Но пришел и ему конец! А что касается вертела с утками, так ваша лошадь еще не расседлана, хозяин. Я могу догнать мистера Болдерстона – едва ли он далеко ушел – и отнять у него птицу.

– Так и сделаем, Уил. Хотя погоди... вот что ты сделаешь, когда нагонишь мистера Болдерстона.

И, оставив женщин в обществе пастора, бочар удалился с Уилом, чтобы дать ему нужные указания.

– Умно, нечего сказать, – заметила миссис Лайтбоди, когда Гирдер вернулся в комнату, – посылать бедного малого в погоню за человеком, вооруженным до зубов. Ты же знаешь, что мистер Болдерстон всегда имеет при себе шпагу, да еще кинжал в придачу.

– Надеюсь, вы хорошо обдумали то, что собираетесь делать, – сказал пастор, – ибо вы можете вызвать ссору, и мой долг предупредить вас: тот, кто подстрекает к ссоре, будет виновен не менее того, кто в ней участвует.

– Не беспокойтесь, мистер Байдибент, – заявил бочар. – Эти женщины и священники всюду должны сунуть свой нос. Шагу нельзя ступить без их указки.

Я сам знаю, с какого конца есть пироги. Подавай обед, Джин, и хватит об этом.

И действительно, в продолжение всего вечера бочар ни разу не вспомнил о пропавшем блю-

де.

Тем временем подмастерье, получив от хозяина особые указания, вскочил на коня и устремился в погоню за мародером Калобом.

Однако последний, как легко можно догадаться, не мешкал в пути. Несмотря на всю свою страсть к болтовне, он шел молча, стремясь скорее добраться до замка, и только сообщил мистеру Локхарду, что, по его просьбе, жена поставщика слегка обжарила дичь на случай, если Мизи, насмерть перепуганная грозой, еще не успела развести огонь. Между тем он, ссылаясь на необходимость поскорее вернуться в замок, то и дело просил спутников поторопиться и все ускорял шаг, так что они с трудом поспевали за ним.

Достигнув вершины горной гряды, возвышавшейся между замком и Волчьей Надеждой, он уже счел себя вне опасности, как вдруг услышал отдаленный конский топот и громкие крики:

– Мистер Калоб! Мистер Болдерстон! Мистер Калоб Болдерстон! Подождите!

Само собой разумеется, Калоб не спешил откликнуться на эти призывы. Сначала он притворился, будто ничего не слышит, уверяя слуг сэра Эштона, что это всего лишь свист ветра; потом он заявил, что не стоит терять время из-за какого-то сорванца; наконец, когда фигура всадника ясно обозначилась в вечерних сумерках, Калоб неохотно остановился и, собрав все свои душевные силы для защиты награбленных сокровищ, принял позу, полную достоинства, поднял вертел, словно собираясь использовать его не то как пику, не то как щит, и приготовился скорее умереть, нежели возвратить драгоценную добычу.

Но каково же было удивление старого дворецкого, когда посланец бочара, подъехав к нему вплотную, почтительно с ним поздоровался и передал сожаления хозяина по поводу того, что мистер Калоб не застал его дома и не остался на крестинный обед; узнав о прибытии в замок знатных гостей, к приему которых не успели сделать должных приготовлений, мистер Гирдер взял на себя смелость послать бочонок с хересом и бочку с бренди.

Я читал где-то об одном пожилom господине, за которым гнался сорвавшийся с цепи медведь; окончательно выбившись из сил, старик в отчаянии остановился и, повернувшись к косолапому преследователю, замахнулся на него тростью. При виде палки в животном возобладал дух дисциплины и, вместо того чтобы разорвать несчастного на куски, мишка встал на задние лапы и пустился отплясывать сарабанду.

Даже радостное изумление, охватившее этого человека, уже видевшего себя на краю гибели и вдруг неожиданно обретшего спасение, не могло сравниться со смятением, объявшим Калоба, когда он обнаружил, что его преследователь не только не намеревается отнять у него добычу, но готов приобщить к ней новые дары. Однако он тотчас сообразил, в чем дело, когда подмастерье, восседавший на лошади между двумя бочонками, нагнулся к нему и шепнул:

– Если бы можно было замолвить словечко насчет места Питера Панчена, так Джон Гирдер готов служить лорду Рэвенсвуду душой и телом. А уж как бы он был рад поговорить об этом с мистером Болдерстоном; ну, а если мистеру Болдерстону чего-нибудь захочется, хозяин будет податлив, как ивовый обруч.

Калоб молча выслушал гонца и, подобно всем великим людям, начиная с Людовика XIV, вместо ответа удостоил его лаконическим: «Посмотрим».

– Ваш хозяин, – произнес он громко, специально для ушей мистера Локхарда, – поступил учтиво и достойно, прислав вина, и я не премину довести об этом до сведения милорда. А теперь, любезный друг, отправляйтесь-ка в замок и, если слуги еще не вернулись (что весьма вероятно, так как они пользуются всяким случаем погулять подольше), оставьте эти бочонки в комнате привратника, по правую руку от главных ворот. Самого привратника вы не застанете: он отпросился в гости, так что вряд ли вас кто-нибудь окликнет.

Выслушав указания Калоба, подмастерье поскакал в замок, где действительно никого не встретил, и, оставив оба бочонка в пустой разрушенной камерке привратника, повернул назад. Исполнив таким образом поручение хозяина и вторично раскланявшись с Калобом и всей честной компанией на обратном пути, он возвратился домой, чтобы принять участие в крестинном пире.

## **Глава XIV**

Как листья под осенним небосводом,  
Кружась, несутся в вихре хороводом,  
Иль как летит, колеблясь, из овина  
От зерен отделенная мякина,  
Так все людские помыслы летели,  
Стремясь, по воле неба, мимо цели.

Аноним

Мы оставили Калеба в минуту величайшей радости при виде успеха всех его ухищрений во славу рода Рэвенсвудов. Пересчитав и разложив все добытые им яства, он заявил, что такого королевского угощения не видывали в замке со дня похорон его покойного владельца. С гордым сознанием победы «убирал» он дубовый стол чистой скатертью и, расставляя блюда с жареной олениной и дичью, бросал время от времени торжествующие взгляды на своего господина и гостей, словно упрекая их за неверие в его силы; в продолжение всего вечера Калев угощал Локхарда бесконечными рассказами, более или менее правдивыми, о былом величии замка «Волчья скала» и могуществе его баронов.

– Без разрешения лорда Рэвенсвуда, – рассказывал он, – вассал, бывало, не смел считать своим ни теленка, ни ярочку. И чтобы жениться, также нужно было испросить согласие барона. А сколько забавнейших историй рассказывают об этом старинном праве.

И хотя теперь уже не то, что было в доброе старое время, когда крестьяне уважали власть сеньора, все же, мистер Локхард, как вы и сами, вероятно, заметили, мы, слуги дома Рэвенсвудов, не жалеем усилий, чтобы, опираясь на законные права милорда, поддерживать между сеньором и вассалами должные отношения, укрепляя связь, которая из-за всеобщего своеволия и беспорядка, повсюду царящих в наше печальное время, становится все слабее и слабее.

– Н-да, – сказал мистер Локхард. – Позвольте спросить вас, мистер Болдерстон: что, жители подвластного вам селения – покорные вассалы? Либо, должен сознаться, те, что перешли от вас к лорду-хранителю вместе с замком Рэвенсвуд, не очень-то услужливый народ.

– Ах, мистер Локхард, не забудьте, что они попали в чужие руки: там, где старый хозяин легко получал вдвое против положенного, новый, может статься, не получит ничего. Они всегда были упрямыми и беспокойными, наши вассалы, и с ними не просто справиться чужому человеку. Если ваш господин хоть раз с ними не поладит да разозлит, их потом никакими силами не уймешь.

– Сущая правда, – согласился Локхард, – и, сдается мне, самое лучшее для всех нас – это сыграть свадьбу вашего молодого лорда с нашей красавицей, молодой госпожой. Сэр Уильям мог бы дать за ней в приданое ваши прежние поместья. С его хитростью он быстро обставит еще кого-нибудь и добудет себе Другие.

Калев покачал головой.

– Желал бы я, чтобы это было возможно, – сказал он. – Но есть старинное предсказание роду Рэвенсвудов... Не дай мне бог дожить до того дня, когда оно сбудется... Мои старые глаза и так уже видели немало горя.

– Ерунда! Стоит ли обращать внимание на веяние суеверия? – возразил Локхард. – Если молодые люди понравятся друг другу, то это будет славная парочка.

Но, по правде говоря, у нас в доме ничего не делается без леди Эштон, и, конечно, в этом деле, как и в любом другом, все будет зависеть от нее. Ну, а пока не грех выпить за здоровье молодых людей. Я и миссис Мизи налью стаканчик хереса, что прислал вам мистер Гирдер.

Пока слуги таким образом угощались на кухне, общество, собравшееся в зале, проводило время не менее приятно. С той минуты, как Рэвенсвуд решил оказать гостеприимство лорду-хранителю, насколько это было в его силах, он счел себя обязанным принять вид радушного хозяина. Не раз уж было замечено, что, если человек берется исполнять какую-нибудь роль, он часто настолько входит в нее, что под конец действительно превращается в того, кого изображает.

Не прошло и часу, как Рэвенсвуд, к своему собственному удивлению, почувствовал себя хозяином, чистосердечно старающимся как можно лучше принять желанных и почетных гостей. В какой мере следовало приписать эту перемену в его настроении красоте мисс Эштон, искренности



ее обращения и готовности примириться с неудобствами положения, в котором она очутилась, и насколько это было вызвано гладкими, вкрадчивыми речами лорда-хранителя, обладавшего большим даром привлекать к себе сердца людей, мы предоставляем судить нашим проницательным читателям. Во всяком случае, Рэвенсвуд не остался безразличным ни к совершенствам дочери, ни к обходительности отца.

Лорд-хранитель был искушенным государственным деятелем: он в совершенстве знал все, касающееся двора и кабинета министров, и был до мельчайших подробностей осведомлен о всех политических интригах, связанных с недавними событиями конца семнадцатого столетия. Будучи участником важных событий и лично зная множество людей, он умел рассказывать о них чрезвычайно интересно; к тому же он обладал редким даром: не выдавая своих чувств и мыслей ни единым словом, создавать у слушателей впечатление, что говорит с ними не таясь, доверительно и чистосердечно. Рэвенсвуд, несмотря на все свое предубеждение против сэра Эштона и на веские причины питать к нему враждебные чувства, находил беседу с ним не только приятной, но и поучительной, а лорд-хранитель, вначале боявшийся даже назвать свое имя, теперь полностью оправился от смущения и говорил с легкостью и плавностью, сделавшими бы честь любому перво-классному адвокату-златоусту.

Мисс Эштон говорила мало и больше улыбалась; но несколько слов, оброненных ею, были исполнены искренней доброжелательности и кротости – качества, которые для такого гордого человека, как Рэвенсвуд, обладали большей привлекательностью, нежели самое блистательное остроумие; к тому же от Эдгара не ускользнуло еще одно немаловажное обстоятельство: его гости, то ли из благодарности, то ли по какой другой причине, оказывали ему столько же почтительного внимания в этом пустом, заброшенном зале, как если бы он принимал их со всем великолепием, сообразным его высокому рождению.

Они, казалось, не замечали бедности сервировки, а когда отсутствие того или иного необходимого предмета уж слишком обращало на себя внимание, принимались расхваливать те, коими Калев ухитрился заменить недостающую утварь. Если же отец и дочь не могли иногда удержаться от улыбки, то улыбка эта была очень добродушной и неизменно сопровождалась каким-нибудь к месту сказанным комплиментом, который показывал хозяину, как высоко они ценят его достоинства и как мало обращают внимания на окружающие их неудобства.

Вероятно, сознание того, что его личные достоинства в глазах гостей значат больше, нежели его бедность, произвело на сердце Рэвенсвуда столь же сильное впечатление, сколь и красноречие лорда-хранителя и красота его дочери.

Наконец настало время отправиться на покой.

Лорд-хранитель и его дочь удалились в отведенные им комнаты, которые оказались «убранными» гораздо лучше, чем того можно было ожидать. В этом нелегком деле Мизи помогла одна деревенская кумушка, прибежавшая в замок разведать, что там творится;

Калев тотчас ее задержал и заставил приняться за уборку, так что вместо того, чтобы возвратиться домой и описать соседям туалет и наружность мисс Эштон, ей пришлось изрядно потрудиться на пользу домашнего очага Рэвенсвудов.

По обычаям того времени, сам мастер Рэвенсвуд в сопровождении Калеба проводил гостя в отведенный ему покой. Войдя в комнату, старый дворецкий торжественно, словно канделябр с множеством восковых свечей, водрузил на стол жалкую проволочную подставку с двумя копящими сальными свечами, какие даже в те дни можно было встретить только в крестьянской лачуге. Потом он исчез, но тотчас возвратился с двумя глиняными флягами (после смерти миледи, объяснил он, в замке не принято пользоваться фарфором), в одной из которых был херес, а в другой – бренди. Презрев опасность оказаться уличенным во лжи, Калев заявил, что этот херес выдерживали в погребах замка двадцать лет; и «хотя ему, конечно, не годится надоедать их милостям своей болтовней, но этот бренди – замечательный напиток, сладкий как мед и такой крепкий, что способен свалить с ног самого Самсона. Оно хранится в подвалах замка со времени достопамятного пира, когда Джейми Дженклбрэ убил старого Миклстоба на верхней ступеньке лестницы, защищая честь достойной леди Мюренд, приходившейся некоторым образом родней семье Рэвенсвудов, но...»

– Но, чтобы покончить с этой длинной историей, мистер Калев, – прервал его сэр Эштон, – может быть, вы сделаете мне одолжение и принесете воды.

– Воды! Избави бог, чтобы ваша милость пили воду в нашем доме. Это же позор для знаменитого рода!

– Но таково желание сэра Эштона, Калев, – сказал, улыбаясь, Рэвенсвуд. – Мне кажется, вам следует исполнить его просьбу, тем более что, если мне не изменяет память, еще недавно здесь не гнушались пить воду и даже находили ее очень вкусной.

– Ну, раз таково желание милорда... – согласился Калев и немедленно принес кувшин с упомянутой чистой влагой. – Милорд нигде не найдет такой воды, как в колодце замка «Волчья скала», но все-таки...

– Все-таки пора нам дать нашему гостю покой в этом бедном жилище,

– сказал Рэвенсвуд, перебивая не в меру болтливого слугу, который тотчас направился к двери и, низко поклонившись лорду-хранителю, приготовился сопровождать своего господина из потайной комнаты.

Но лорд-хранитель остановил Рэвенсвуда.

– Мне хотелось бы сказать несколько слов мастеру Рэвенсвуду, мистер Калев, – сказал он дворецкому, – и, я полагаю, на это время он согласится обойтись без ваших услуг.

Калев отвесил поклон еще ниже первого и вышел; Эдгар остановился в большом смущении, ожидая разговора, который должен был закончить день, ознаменованный уже столькими неожиданными событиями.

– Мастер Рэвенсвуд, – неуверенно начал сэр Уильям Эштон, – я надеюсь, вы истинно добрый христианин и не захотите окончить этот день, по-прежнему тая гнев в сердце своем.

Рэвенсвуд вспыхнул.

– У меня не было оснований, по крайней мере нынче, упрекать себя в забвении тех обязанностей, которые налагает на христианина его вера, – сказал он.

– Мне кажется, – возразил ему гость, – это не совсем так, если вспомнить все споры и тяжбы, к несчастью слишком часто возникавшие между покойным лордом Рэвенсвудом, вашим батюшкой, и мною.

– Я просил бы, милорд, – сказал Рэвенсвуд, с трудом сдерживаясь, – чтобы в доме моего отца мне не напоминали об этих обстоятельствах.

– В любом ином случае я исполнил бы вашу просьбу, продиктованную щепетильностью, – ответил сэр Уильям Эштон, – но теперь мне необходимо высказаться до конца. Я был слишком наказан, уступив чувству ложной щепетильности, помешавшей мне настоять на встрече с вашим отцом, которой я много раз добивался. Сколько горя, принесенного и ему и мне, удалось бы тогда избежать!

– Это правда, – сказал Рэвенсвуд после минутного молчания. – Я слышал от отца, что вы предлагали ему свидание.

– Предлагал, дорогой Рэвенсвуд. Но этого было мало. Мне следовало просить, умолять, заклинять!

Мне нужно было разрушить преграду, которую корыстные люди воздвигли между нами, и показать себя в истинном свете, показать себя готовым пожертвовать даже большей частью моих законных прав из уважения к его столь естественным чувствам.

Но я должен сказать в свое оправдание, мой юный друг (разрешите мне так называть вас), что если бы мы с вашим отцом когда-нибудь провели вместе хоть столько времени, сколько теперь мне посчастливилось пробыть в вашем обществе, то наша страна, вероятно, сохранила бы одного из самых достойных своих сынов, а мне не пришлось бы враждовать с человеком, который всегда вызывал во мне восхищение и уважение.

Сэр Уильям поднес платок к глазам. Рэвенсвуд тоже был растроган, но хранил молчание, ожидая продолжения этого удивительного признания.

– Я хотел, чтобы вы знали, – продолжал лорд-хранитель, – что, хотя я счел необходимым подтвердить законность моих требований через судебное определение, я никогда не имел намерения настаивать на чем-нибудь таком, что выходило бы за пределы справедливости.

– Милорд, – ответил Рэвенсвуд, – нам незачем продолжать этот разговор. Все владения, которые закон отдаст или уже отдал вам, – ваши или будут ими. Ни мой отец, ни я никогда ничего не приняли бы из милости.

– Из милости? Нет, вы меня не поняли. Вам трудно понять – вы не юрист. Права могут быть действительны в глазах закона и признаны таковыми, но тем не менее благородный человек не во всех случаях сочтет возможным ими воспользоваться.

– Очень сожалею об этом, милорд.

– Ну-ну, вы – точь-в-точь как молодой адвокат: в вас говорит сердце, а не разум. Нам с вами нужно еще многое решить. Неужели вы осудите меня за то, что я, старик, желаю мира и, оказавшись в доме человека, спасшего жизнь мне и моей дочери, хочу от всей души покончить со всеми спорами самым благородным образом.

Произнося эти слова, лорд-хранитель сжимал неподвижную руку Рэвенсвуда в своей, и поэтому молодому человеку, каковы бы ни были его прежние намерения, ничего не оставалось, как согласиться с гостем и пожелать ему доброй ночи, отложив дальнейшие объяснения до следующего дня.

Рэвенсвуд поспешил в зал, где ему предстояло провести ночь, и долгое время ходил по нему взад и вперед в сильном волнении. Его смертельный враг находился у него в доме, а в его сердце не было ни родовой ненависти, ни истинно христианского прощения. Рэвенсвуд сознавал, что как исконный враг сэра Эштона он не может предать забвению нанесенные его дому обиды, а как христианин не в силах уже мстить за них и что он готов пойти на низкую, бесчестную сделку со своей совестью, примирив ненависть к отцу с любовью к дочери. Он проклинал себя. Не останавливаясь, шагал он по комнате, освещенной бледным светом луны и красноватым мерцанием затухающего огня, и то отворял, то затворял зарешеченные окна, словно задыхался без свежего воздуха и в то же время боялся его проникновения. В конце концов страсти в нем откипели, и Эдгар опустился в кресло, которое на эту ночь должно было заменить ему постель.

«Если действительно, – рассуждал он сам с собой, когда первая буря улеглась и он вновь обрел способность мыслить хладнокровно, – если действительно этот человек не требует ничего сверх положенного ему законом, если он даже готов поступиться признанными судом правами, чтобы покончить с распрей по справедливости, на что же мой отец мог жаловаться? Чем же я могу быть недоволен? Те, от кого мы получили наши родовые владения, пали от меча моих предков, оставив всю свою собственность победителям; мы пали под ударами закона, ныне немилостивого к шотландскому рыцарству. Что ж, вступим в переговоры с нынешними победителями, как если бы мы находились в осажденной крепости, не имея никакой надежды на спасение.

Может быть, этот человек совсем не таков, каким я считал его, а его дочь... Но я решил не думать о ней».

И, завернувшись в плащ, он заснул, и всю ночь, пока дневной свет не забрезжил в зарешеченных окнах, ему грезилась Люси Эштон.

## **Глава XV**

*Когда мы видим, как наш друг иль родич  
В несчастьях погрязает безнадежно,  
Руки мы не протянем, чтоб помочь  
Ему подняться, но скорей ногою  
Его придавим и толкнем на дно,  
Как я, признаюсь, поступил с тобою.  
Но вижу, поднимаешься ты сам -  
Я помогу тебе.*

**«Новый способ платить старые долги»**

Проводя ночь на непривычно жестком ложе, лорд-хранитель ни на минуту не расставался с честолюбивыми помыслами и политическими планами, от которых не спится и на самых мягких пуховиках. Он достаточно долго вел свою ладью по житейскому океану, лавируя между соперни-

чающими в нем течениями, чтобы знать, как они губительны и сколь важно повернуть парус по направлению господствующего ветра, если не хочешь разбиться во время бури. Свойства его дарования и трусливый характер придавали ему ту гибкость, которой отличался старый граф Нортхемптон, – объясняя, как ему удалось удержаться на своем месте во время всех государственных перемен от Генриха VIII до Елизаветы, он откровенно признавался, что рожден тростником, а не дубом.

Поэтому сэр Уильям Эштон во всех случаях придерживался единого правила – он тщательно наблюдал все перемены на политическом горизонте и старался заручиться поддержкой среди сторонников той партии, которая, по его мнению, должна была одержать победу, еще до того, как обозначался исход борьбы.

Его умение приспособливаться к любым обстоятельствам было хорошо известно и вызывало презрение у более смелых предводителей обеих партий, существовавших в стране. Но он обладал полезным, практическим умом, а его юридические познания высоко ценились; эти достоинства перевешивали его недостатки в глазах тех, кто стоял у кормила правления, и они с радостью пользовались услугами сэра Уильяма и щедро его награждали, хотя и не питали к нему ни доверия, ни уважения.

Маркиз Э\* употреблял все свое влияние, чтобы свергнуть тогдашний шотландский кабинет, и последнее время вел интригу с таким искусством, что успех, казалось, был ему обеспечен. Однако он чувствовал себя не настолько сильным и уверенным в победе, чтобы упустить случай завербовать под свои знамена нового приверженца. Приобретение такого союзника, как лорд – хранитель печати, имело немалое значение, и одному из приятелей сэра Эштона, хорошо знавшему характер и образ мыслей последнего, было поручено склонить его на сторону маркиза.

Прибыв в замок Рэвенсвуд под предлогом обычного визита, этот приятель заметил, что лордом-хранителем владеет неудержимый страх перед насильственной смертью от руки молодого Рэвенсвуда.

Слова слепой пророчицы – старой Элис, появление вооруженного Рэвенсвуда в его владениях почти в тот самый миг, когда ему посоветовали остерегаться этого юноши, холодное презрение, которым тот отвечал на выражение благодарности за вовремя оказанную помощь отцу и дочери – все это произвело на сэра Эштона сильное впечатление.

Как только клевет маркиза понял, что волнуется хозяина дома, он исподволь начал внушать сэру Эштону опасения и сомнения другого рода, рождавшие в нем меньшую тревогу. Он участливо осведомился, были ли вынесены окончательные решения – без права апелляции – по сложным процессам лорда – хранителя печати с семейством Рэвенсвудов. Сэр Эштон ответил утвердительно, но его приятель достаточно хорошо знал все обстоятельства дела, чтобы поддаться обману.

Он привел несколько неоспоримых аргументов, доказывая, что некоторые самые важные вопросы, решенные в пользу Эштона против Рэвенсвудов, могут, согласно «Акту соединения королевств», быть пересмотрены в английской палате лордов, которой лорд-хранитель весьма полагался, как суда беспристрастного. Эта инстанция заменила старинный шотландский парламент, куда апеллировали в былое время.

Сэр Уильям попробовал было утверждать, что подобная мера незаконна, но под конец оказался вынужден утешить себя другим доводом.

– У молодого Рэвенсвуда, – сказал он, – вряд ли найдется в парламенте достаточно влиятельных друзей, чтобы настоять на пересмотре важного дела.

– Не обольщайтесь обманчивой надеждой, – сказал его коварный приятель, – может случиться, что в следующую сессию у молодого Рэвенсвуда будет больше друзей и покровителей, чем у вас.

– Это было бы весьма любопытно, – презрительно заметил сэр Уильям.

– Однако подобные превращения часто случались и прежде, да и в наше время они не редкость.

Разве мы не знаем людей, ныне стоящих во главе правления, которые всего несколько лет назад вынуждены были скрываться, спасая свою жизнь? А разве мало встречаем мы таких, кто



ныне обедает на серебре, между тем как десять лет назад им даже похлебку приходилось добывать себе с бою. И наоборот: сколько высокопоставленных особ низвергнуто на наших глазах за это короткое время. «Шаткое положение государственных деятелей Шотландии» – любопытное сочинение Скотта из Скотстарвета, которое вы показывали мне в рукописи, – в наше время могло бы найти себе подтверждение на целом ряде примеров.

Лорд-хранитель ответил глубоким вздохом и сказал, что подобные перемены в судьбе государственных мужей не новость для Шотландии и что в этой стране на них достаточно насмотрелись еще задолго до появления на свет упомянутого сатирического про-изведения.

– Еще много лет назад, – промолвил он, – Фордун привел древнюю пословицу: «Neque dives, neque fortis, sed nec sapiens Scotus, proedominante invidia, diu durabit in terra».<sup>24</sup>

– Будьте уверены, дорогой Друг, – ответил ему приятель, – что ни долголетняя ваша служба на пользу родине, ни ваши глубокие юридические познания не смогут спасти вас и сохранить вам состояния, если маркиз Э\*\*\*успеет получить большинство в английском парламенте. Как вам известно, покойный лорд Рэвенсвуд был с ним в родстве, ибо леди Рэвенсвуд в пятом колене происходила от рыцаря Тилибардина; и я уверен, что маркиз, как ближайший родственник, вступится за молодого человека и будет ему покровительствовать. Отчего же ему этого и не сделать? Рэвенсвуд – юноша энергичный и умный; он сумеет защитить себя и словом и делом. Не то что какой-нибудь Мемфивосфей, не способный постоять за себя, который превращается в обузу для каждого, кто протянет ему руку помощи. А если ваши процессы против Рэвенсвуда будут обжалованы в английский парламент, то, уверяю вас, маркиз сумеет ободрать вас как липку.

– Это было бы очень плохим вознаграждением за мою долголетнюю службу родине и то уважение, которое я всегда питал к высокочтимому маркизу и всей его семье.

– Ах, милорд, – возразил клевет маркиза, – что пользы вспоминать о прошедших заслугах и былой верности! В наше смутное время человек, подобный маркизу, вправе ожидать действительной помощи, настоящих доказательств преданности.

Лорд – хранитель печати тотчас понял, к чему клонит его приятель, но был слишком осторожен, чтобы связать себя положительным ответом.

– Не знаю, чего может ожидать маркиз от моих ничтожных дарований,

– промолвил он, – но всегда готов служить ему, не нарушая, конечно, своего долга перед королем и отечеством.

Таким образом, сказав, казалось, очень многое, сэр Уильям на самом деле не сказал ничего, ибо под сделанную оговорку впоследствии мог подвести все что угодно; он тотчас переменял разговор и не позволял ему «возвращаться к этому предмету. Гость так и уехал, не добившись у хитрого политика обещания или обязательства содействовать планам маркиза, убежденный, однако, что возбудил в сэре Эштоне опасения касательно очень чувствительного для него вопроса, заложив тем основу для будущих соглашений.

Когда посланец маркиза сообщил ему о результатах переговоров, оба решили не оставлять лорда-хранителя в покое, а постоянно держать его в страхе, особенно во время отсутствия его жены. Они знали, что эта гордая, мстительная, властная женщина сумела бы внушить мужество своему трусливому супругу; знали, что она неколебимо предана господствующей партии, состоит в постоянной переписке с ее предводителями, является верной их союзницей и, наконец, что она несколько не боится семейства Рэвенсвудов, а смертельно ненавидит их (древнее происхождение Рэвенсвудов было укором новоявленному вельможе Эштону) и готова рисковать собственными интересами ради возможности окончательно уничтожить врага.

Как раз в то время леди Эштон была в отсутствии.

Дело, задерживавшее ее в Эдинбурге, заставило ее затем отправиться в Лондон, где она надеялась расстроить интриги маркиза при дворе, ибо леди Эштон была дружна со знаменитой Сарой, герцогиней Марлборо, с которой она имела поразительное сходство в характере. Необходимо было постараться воздействовать на сэра Уильяма до ее возвращения; в качестве предвари-

---

<sup>24</sup> Когда господствует зависть, не будет долго жить на земле ни богатый, ни сильный шотландец, если он благодатен (лат.).

тельного шага маркиз и написал молодому Рэвенсвуду то письмо, которое мы привели в одной из предшествующих глав. Письмо было составлено очень осторожно: маркиз оставлял за собой праве принять ровно столько участия в судьбе юного родственника, сколько могло оказаться необходимым для успеха его собственных планов. Однако, хотя маркиз, как человек государственный, не хотел связывать себя обязательствами или обещать покровительство, к его чести надо сказать, что там, где ему нечего было терять, он действительно стремился оказать помощь Рэвенсвуду, а не только воспользоваться его именем для того, чтобы запугать лорда – хранителя печати.

Путь к «Волчьей скале» лежал мимо замка сэра Уильяма, и гонец, которому поручено было доставить письмо, получил приказание: когда будет проезжать селение, расположенное у самых ворот замка, потерять подкову, а пока тамошний кузнец станет перековывать лошадь, притвориться крайне удрученным потерей времени, громко выражая свое нетерпение, и как бы невзначай проговориться, что везет мастеру Рэвенсвуду от маркиза Э\*\*\* депешу, от которой зависят жизнь и смерть многих людей.

Весть о нетерпеливом гонце, как всегда с преувеличениями, дошла до сэра Уильяма из различных источников, и каждый, кто приносил ее, не забывал сообщить, что гонец чрезвычайно то-ропился и проделал весь путь в удивительно короткий срок. И без того уже обеспокоенный вельможа слушал эти рассказы молча, однако тут же отдал приказание Локхарду подстеречь гонца на обратном пути, заманить его в селение, напоить и любыми средствами, честными или бесчестными, выведать у него содержание привезенной им депеши. Однако маркиз предусмотрел этот ход, и нарочный, избрав другую, окольную дорогу, избегнул расставленных ему сетей.

Гонца так и не удалось задержать, и сэр Уильям приказал стряпчему Дингуоллу тщательнейшим образом расспросить жителей Волчьей Надежды, пользовавшихся его услугами, действительно ли приезжал в соседний замок слуга маркиза Э\*\*\*\*. Узнать это было нетрудно, так как однажды Калек явился в селение в пять часов утра взять в долг две кружки пива и копченую селедку, чтобы угостить гонца, после чего бедняга, отведавший испорченной рыбы и кислого пива, целые сутки пролежал у тетушки Смолтраш, страдая от расстройства желудка. Таким образом, слухи о переписке между маркизом и его разоренным родственником, которым сэр Уильям Эштон поначалу не поверил, приняв их за выдумку с целью. утрашить его, полностью подтвердились, не оставляя места для сомнений.

С этой минуты лорд-хранитель встревожился не на шутку. С введением «Требования прав» во многих случаях допускалась апелляция на решения гражданских судов в парламент, прежде не рассматривавший такого рода дел, и сэр Эштон имел все основания опасаться результата нового пересмотра его тяжбы с Рэвенсвудом, в случае если бы английская палата лордов согласилась принять жалобу его противника.

Парламент мог счесть иск Рэвенсвуда справедливым и взглянуть на дело по существу, не связывая себя буквой закона, что было бы крайне невыгодно для лорда-хранителя. Кроме того, полагая, причем совершенно ошибочно, что английское судопроизводство ничем не отличается от того, каким оно было в Шотландии до соединения обоих королевств, сэр Уильям боялся, как бы в палате лордов, где будут разбирать его тяжбы, не возобладало старинное правило, которым искони руководствовались в Шотландии: «Скажи мне, кто жалуется, и я приведу тебе соответствующий закон». В Шотландии ничего не знали о справедливом, беспристрастном характере английских судов, и распространение их юрисдикции на эту страну было одним из главнейших благ, последовавших в результате соединения. Но лорд-хранитель, привыкший к иным порядкам, не мог этого предвидеть: он полагал, что, лишившись политического влияния, проиграет процесс.

Между тем слухи подтверждали успех происков маркиза, и лорд – хранитель печати стал за-благовременно искать способа укрыться от надвигающейся грозы. Будучи человеком трусливым, он предпочитал сделки и уступки открытой борьбе. Он решил, что, если умеючи взяться за дело, происшествие в парке может помочь ему добиться личного свидания и даже примирения с молодым Рэвенсвудом. Во всяком случае, ему нетрудно было бы узнать от самого Эдгара Рэвенсвуда, что он думает о своих правах и средствах к их осуществлению, и, быть может, даже покончить дело миром, поскольку одна из сторон богата, а другая бедна. К тому же примирение с Рэвенсвудом дало бы ему возможность войти в сношения с маркизом Э\*\*\*. «Наконец, – говорил он себе, – про-

тянуть руку наследнику разоренного рода – доброе дело, а если новое правительство примет в Рэвенсвуде участие и возьмет его под свое покровительство, то – кто знает – может быть, мое великодушье воздастся мне сторицею».

Так рассуждал сэр Уильям, стараясь, как это часто бывает, придать оттенок благородства своим корыстным планам. Впрочем, он шел еще дальше. Если Рэвенсвуду предстоит занять важное место и он будет облечен властью и доверием, – думал он, – а его женитьба на Люси покончит со всеми тяжбами, то лучшего жениха нечего и желать. Эдгару могут вернуть титул и наследственные земли, а Рэвенсвуды – старинный род; уступить же часть рэвенсвудских владений зятю не такая уж горькая потеря, не говоря о том, что тем самым остальные земли были бы окончательно закреплены за ним, сэром Эштоном.

В то время как этот сложный план зрел в уме хитрого вельможи, он решил воспользоваться настойчивыми приглашениями лорда Битлбрейна и посетить его замок, находящийся в нескольких милях от «Волчьей скалы». Самого Битлбрейна не оказалось дома, но жена его приняла гостя очень радушно, сообщив, что ждет мужа с часу на час. Она, казалось, была особенно рада видеть мисс Эштон и, чтобы развлечь гостей, немедленно распорядилась устроить охоту. Сэр Уильям с удовольствием отправился травить оленя, рассчитывая, воспользовавшись случаем, получше разглядеть замок «Волчья скала» и, быть может, даже встретиться с его владельцем, если Эдгар не сможет устоять перед искушением и присоединится к охоте. Кроме того, он приказал Локхарду, чтобы тот, со своей стороны, постарался познакомиться с обитателями замка, и мы видели, как ловко этот умный слуга исполнил данное ему поручение.

Случайно разыгравшаяся буря способствовала осуществлению желаний лорда-хранителя более, чем он смел надеяться даже в самых пылких мечтах. Последнее время сэр Эштон уже меньше опасался мастера Рэвенсвуда, ибо молодой человек, считал он, обладает против него куда более грозным оружием – возможностью восстановить свои права законным путем. Но хотя лорд-хранитель и полагал (и не без оснований), что человек только в крайнем случае решается на отчаянные средства, он не мог все же побороть в себе тайный страх, очутившись запертым в башне «Волчья скала» – уединенной неприступной крепости, как будто нарочно созданной для осуществления планов насилия и мести. Холодный прием, оказанный ему и его дочери Рэвенсвудом, и овладевшее им смущение, когда надо было объявить этому им же разоренному человеку свое имя, только усилили его тревогу; когда же сэр Уильям услышал, как за ним с грохотом захлопнулись ворота, в его ушах зазвучали слова вещей Элис: «Вы слишком далеко зашли. Рэвенсвуды – лютый род, они выждут свой час и отомстят вам».

Искреннее радушие, с которым вслед за тем Эдгар выполнял обязанности гостеприимного хозяина, несколько рассеяло страх, вызванный этим воспоминанием, и сэр Уильям не мог не заметить, что эта перемена в поведении Рэвенсвуда была вызвана удивительной красотой его дочери.

Вот какие мысли беспорядочной чередой проносились в голове сэра Уильяма, когда он очутился в потайной комнате. Железный светильник, почти пустая, напоминавшая скорее темницу, чем спальню, комната, глухой непрерывный рокот волн, разбивающихся об утес, на котором возвышался замок, – все это наводило его на грустные и тревожные размышления. Не его ли успешные козни явились главной причиной разорения Рэвенсвудов? Лорд-хранитель отличался корыстолюбием, но не жестокостью, и ему прискорбно было лицезреть причиненное им разорение, подобно тому как сердобольной хозяйке неприятно смотреть, когда по ее приказанию режут барана или птицу. Но когда он подумал, что ему придется либо возвратить Рэвенсвуду большую часть отнятых у него владений, либо сделать бывшего врага союзником и членом своей семьи, лорд-хранителя охватили чувства, подобные тем, которые, по всей вероятности, испытывает паук, видя, как вся его паутина, сплетенная с таким тщанием и искусством, уничтожена одним взмахом метлы.

С другой стороны, если он предпримет решительный шаг, перед ним неизбежно встанет роковой вопрос – вопрос, который задают себе все добрые мужья, прельщаемые желанием действовать самостоятельно, но не уверенные в одобрении дражайшей половины: что скажет жена, что скажет леди Эштон. В конце концов сэр Уильям принял решение, нередко служащее прибежищем слабовольным людям: он решил наблюдать, выжидать подходящий момент и действовать приме-

нительно к обстоятельствам. Успокоившись на этой мысли, он наконец заснул.

## Глава XVI

*У меня есть для вас записка, и я прошу извинить меня, что беру на себя смелость передать ее вам. Я поступаю так из дружеских чувств, и, надеюсь, в этом нет ничего для вас обидного, ибо я желаю лишь ублажить обе тяжущиеся стороны.*

**«Король и Не-король»**

На следующее утро при свидании с лордом-хранителем Рэвенсвуд снова был мрачен. Он провел ночь в размышлениях, почти не спал, и его нежным чувствам к Люси Эштон пришлось выдержать тяжелую борьбу с ненавистью, которую он так долго питал к ее отцу. Дружески пожимать руку врагу своего рода, радушно принимать его в своем доме, обмениваться с ним любезностями и обходиться как с добрым знакомым – было в глазах Рэвенсвуда унижением, которому его гордая душа не могла подчиниться без сопротивления.

Но первый шаг был уже сделан, и лорд-хранитель решил отрезать Рэвенсвуду пути к отступлению. Отчасти он намеревался смутить молодого человека и сбить его с толку сложным юридическим объяснением споров между их семьями, не без основания полагая, что Рэвенсвуду трудно будет разобраться во всех этих тонкостях, во всех этих выкладках и вычислениях, многократных взаимных потравах и огораживаниях, во всяких закладах, действительных и недействительных, в судебных решениях и исках по просроченным векселям.

Снискав мнимой откровенностью расположение противника, он, в сущности, не сообщил бы ему ничего, чем бы тот мог воспользоваться. Поэтому он отвел Рэвенсвуда к оконной нише и, возобновив разговор, начатый накануне, выразил надежду, что его молодой друг терпеливо выслушает подробное и исчерпывающее изложение тех несчастных обстоятельств, которые породили распри между его покойным отцом и им, лордом – хранителем печати. При этих словах лицо Рэвенсвуда вспыхнуло, однако он не вымолвил ни слова, и сэр Эштон, хотя и не очень довольный этим проявлением неприязни со стороны хозяина замка, начал излагать историю о ссуде в двадцать тысяч мерков, данных его отцом отцу лорда Аллана Рэвенсвуда. Однако не успел он приступить к подробному описанию многоступенного судебного разбирательства, в ходе которого этот долг превратился в *debitum fundi*,<sup>25</sup> как Рэвенсвуд перебил его.

– Здесь не место, – сказал он, – обсуждать все эти спорные вопросы. Здесь, где умер от горя мой отец, я не могу хладнокровно вникать в причины, вызвавшие его несчастье. Сыновний долг мой легко может заставить меня забыть долг гостеприимства. В свое время, когда оба мы будем в равных обстоятельствах, мы рассмотрим все эти вопросы в более подходящем месте и в присутствии посторонних лиц.

– Место и время безразличны для того, кто ищет справедливости, – возразил сэр Уильям Эштон. – Впрочем, мне кажется, я вправе просить вас сообщить мне, на каких именно основаниях предполагаете вы оспаривать решения, вынесенные после долгих и зрелых размышлений единственно компетентным судом.

– Сэр Уильям, – с жаром ответил Рэвенсвуд, – земли, которыми вы ныне владеете, были пожалованы моему предку в награду за ратные подвиги, совершенные им при защите отечества от нашествия англичан.

Каким образом эти поместья отошли от нас? Они не были проданы, заложены или изъяты за долги, и тем не менее они отторжены каким-то неуловимым, запутанным сутяжническим путем. Каким образом проценты за долги превратились в капитал? Как были использованы все крючки, все придирки и наше состояние растаяло, как сосулька во время оттепели?

Вы это понимаете лучше меня. Впрочем, вы были со мной откровенны, и я готов поверить, что ошибался относительно вас. Очевидно, многое из того, что мне, человеку несведущему, кажется нарушением справедливости и грубым насилием, вам, искусному и опытному юристу, пред-

---

<sup>25</sup> Долг под залог недвижимости (лат.).



ставляется законным и вполне правильным.

– Позвольте заметить, любезный Рэвенсвуд, – ответил сэр Уильям, – я сам ошибался на ваш счет.

Мне говорили о вас как о жестоком, вспыльчивом гордеце, готовом по малейшему поводу бросить свою шпагу на весы правосудия и прибегнуть к тем грубым насильственным мерам, от которых мудрый образ правления давно уже избавил Шотландию. Но если оба мы ошибались друг в друге, почему бы вам, молодому человеку, не выслушать мнение старого юриста касательно спорных между нами вопросов?

– Нет, милорд, – решительно сказал Рэвенсвуд. – В палате английских лордов, чье благородство, надо думать, не уступает высоким титулам, перед высшим судом страны, а не здесь, будем мы объясняться друг с другом. Им, рыцарям почетных орденов, древним пэрам Англии, надлежит решить, согласны ли они, чтобы один из благороднейших родов лишился своих поместий, полученных в награду за услуги, оказанные отчизне многими поколениями, подобно несчастному мастеровому, теряющему свой заклад в тот день и час, когда истекает срок уплаты долга ростовщику.

Если они встанут на сторону грабителя-кредитора, если они не осудят ненасытное ростовщичество, пожирающее наши земли, как моль одежду, это принесет больше вреда им самим, моим судьям, и их потомству, чем мне, Эдгару Рэвенсвуду. Мой плащ и моя шпага всегда останутся при мне, и я волен взяться за оружие везде, где только слышится зов боевой трубы.

При этих словах, сказанных с грустью в голосе, но вместе с тем твердо, Рэвенсвуд поднял глаза и встретил взгляд Люси Эштон, незаметно вошедшей в комнату во время разговора и теперь смотревшей на него с восторженным и нежным участием, забыв обо всем на свете. Благородная осанка Эдгара, мужественные черты лица, выражавшего гордость и чувство собственного достоинства, мягкий и выразительный голос, но тяжкая участь, спокойствие, с которым он, казалось, встречал удары судьбы, – все это неотразимо действовало на молодую девушку, и без того уж слишком много предававшуюся мечтам о своем спасителе.

Взоры молодых людей встретились – оба они густо покраснели, движимые каким-то сильным внутренним чувством, и, смутившись, тотчас отвели глаза в сторону.

Сэр Уильям, пристально следивший за выражением их лиц, невольно подумал: «Нечего мне бояться ни апелляции, ни парламента. У меня есть верное средство примирения с этим пылким юношей, если он когда-нибудь станет мне опасен. А сейчас важно не брать на себя никаких обязательств. Рыба клюнула, так что не будем спешить и подождем подсекать лесу – пусть остается натянутой; если же рыба окажется не стоящей внимания, мы дадим ей уйти».

Занимаясь этим безжалостным эгоистическим расчетом, основанным на склонности Рэвенсвуда к Люси, сэр Уильям нимало не думал ни о страданиях, которые причинит Рэвенсвуду, играя его чувствами, ни о том, как опасно возбудить в сердце дочери несчастную любовь; как будто ее расположение к молодому человеку, отнюдь не ускользнувшее от внимания сэра Эштона, можно было зажечь или потушить по желанию, словно пламя свечи. Но провидение уготовило страшное возмездие этому знатоку человеческих сердец, который всю свою жизнь искусно играл чужими страстями ради собственной выгоды.

В эту минуту явился Калев Болдерстон и доложил, что завтрак подан, ибо в те времена обильных трапез остатков вчерашнего ужина вполне хватало на утренний стол. Калев не забыл со всей подобающей случаю торжественностью поднести лорду – хранителю печати вина, налитого в огромную оловянную чашу, украшенную листьями петрушки и клевера. При этом он не преминул извиниться, объяснив, что большой серебряный кубок, предназначенный для этой цели, как раз находится в Эдинбурге у золотых дел мастера, который должен позолотить его заново.

– Да, он, по всей вероятности, в Эдинбурге, – подтвердил Рэвенсвуд, – но где именно и что с ним сейчас делают, это, боюсь, ни вам, Калев, ни мне не известно.

– Милорд, – произнес Калев недовольным тоном, – у ворот башни с утра стоит человек, желающий переговорить с вами. Это уж мне доподлинно известно, но мне неизвестно, примет ли его ваша милость или нет.

– Он желает видеть меня, Калев?

– Только вас – ни на кого другого он не соглашается. Но, может быть, вы соизволите взглянуть на него через смотровое окошко, прежде чем распорядитесь отворить ему ворота? Нельзя же впускать в замок каждого встречного и поперечного.

– Так, так! А не похож ли он на судебного пристава, явившегося арестовать меня за долги?

– Пристав?.. Чтобы арестовать вас за долги? В вашем собственном замке! Ваша милость, кажется, смеется сегодня над старым Калобом?.. Я не хочу никого оговаривать перед вашей милостью, – прибавил он на ухо своему господину, выходя вслед за ним, – но на вашем месте я бы дважды подумал, прежде чем впустить в замок этого молодчика.

Однако неожиданный гость был не судебный пристав, а капитан Крайнгельт собственной персоной; нос его был красен от изрядного количества выпитого бренди, поверх черного парика возвышалась крашенная позументом шляпа, надетая набекрень, на боку висела шпага, из-за пояса торчали пистолеты, поношенный кружевной воротник украшал охотничий костюм – бравый капитан имел вид разбойника с большой дороги и, казалось, сейчас крикнет: «Кошелек или жизнь!»

Рэвенсвуд тотчас узнал его и приказал отворить ворота.

– Мне кажется, капитан Крайнгельт, – сказал он, – у нас с вами нет особо важных дел, и мы вполне можем потолковать здесь: в замке сейчас гости, а обстоятельства, при которых мы недавно расстались, без сомнения, освобождают меня от обязанности представлять вас моим друзьям.

Несмотря на всю свою беспримерную наглость, Крайнгельт несколько смутился от столь нелестного приема.

– Я пришел сюда не для того, чтобы навязывать свое общество мастеру Рэвенсвуду, – заявил он. – Я исполняю почетное поручение моего друга; не будь этой причины, мастеру Рэвенсвуду не пришлось бы терпеть непрошеного гостя.

– В таком случае, капитан Крайнгельт, оставим извинения и перейдем к делу. Кто тот счастливец, что рассылает вас с поручениями?

– Мой друг, мистер Хейстон Бакло, – объявил Крайнгельт с подчеркнутой важностью и самоуверенностью, свойственной слугам, господа которых слывут храбрецами. – Вы, по его мнению, не оказали ему того уважения, на которое он вправе рассчитывать, а потому он требует от вас удовлетворения. Вот точная мера длины его шпаги, – Крайнгельт вынул из кармана клочок бумаги. – Он предлагает вам на значить любое место в миле от этого замка и, захватив с собою шпагу такой же длины, явиться туда в сопровождении кого-нибудь из ваших друзей. Я прибуду с мистером Бакло в качестве его доверенного лица или секунданта.

– Удовлетворение! Шпага той же длины! – воскликнул Рэвенсвуд, который, как известно читателю, не имел ни малейшего представления о нанесенной Бакло обиде. – Клянусь честью, капитан Крайнгельт, вы либо придумали всю эту ни с чем не сообразную ложь, либо хлебнули лишнего сегодня утром. С какой это стати Бакло будет посылать мне вызов?

– А вот с какой, сэр. Мне поручено напомнить вам о вашем поступке. По долгу дружбы я не могу назвать его иначе, как нарушением законов гостеприимства: вы без объяснения причин отказали мистеру Бакло от дома.

– Не может быть! Бакло не так глуп, чтобы считать оскорблением мою просьбу, вызванную крайней необходимостью. Неужели, зная мое мнение о вас, капитан, он посылает ко мне с подобным поручением такого ненадежного и недостойного человека? Да ни один честный человек не согласится разделить с вами обязанности секунданта!

– Ах, это я-то ненадежный, я – недостойный! – вскричал Крайнгельт, хватаясь за шпагу. – Если бы мой друг не имел права первым требовать от вас удовлетворения, я объяснил бы вам...

– Из ваших объяснений, капитан Крайнгельт, я ровно ничего не понял. Попрошу удовлетвориться этим и избавить меня от вашего присутствия.

– Черт возьми, – заорал наглый задира, – так это все, что вы можете ответить на честный вызов?

– Передайте лэрду Бакло, – ответил ему Рэвенсвуд, – если он действительно вас послал, что, как только он сообщит мне причины своей обиды через лицо, достойное служить посредником между нами, я дам ему должное объяснение или же удовлетворение.

– В таком случае, сэр, прикажите по крайней мере выдать мне вещи, оставленные мистером Бакло в вашем замке.

– Все, что Бакло оставил у меня в доме, я ото шлю ему со своим слугой. Вам я ничего не дам без его письменного распоряжения.

– Превосходно, сэр! – прошипел Крайнгельт с нескрываемой злобой, которую уже не в силах был сдерживать, хотя по обыкновению трусил последствий. – Вы нанесли мне сейчас жестокую обиду, неслыханное оскорбление. Но тем хуже для вас... Хорош замок! – продолжал он, бросая вокруг себя негодующий взгляд. – Да это разбойничий притон, куда заманивают путешественников, чтобы грабить их!

– Мерзавец, – крикнул Рэвенсвуд, схватив за узду лошадь Крайнгельта и замахиваясь на него палкой, – если ты посмеешь сказать еще слово – Убирайся отсюда сию же минуту, или я разmozжу тебе голову!

Увидав над собой палку, Крайнгельт с такой поспешностью повернул лошадь кругом, что чуть было тут же не рухнул вместе с нею на землю, – из-под ударивших по камню копыт во все стороны посыпались искры. Однако ему удалось удержаться, и, проскочив через ворота, он понесся во весь опор вниз, по направлению к деревне.

Окончив таким образом разговор и повернувшись, чтобы возвратиться в замок, Рэвенсвуд увидел лорда-хранителя, который пожелал спуститься вниз и в течение некоторого времени наблюдал, правда, на приличествующем расстоянии, происходившую во дворе сцену.

– Я уже встречал этого джентльмена, – сказав сэр Уильям, – и совсем недавно. Его зовут Крайг... Крайг... и что-то еще...

– Крайнгельт, – подсказал Рэвенсвуд. – По крайней мере в настоящую минуту он называет себя так.

– Крайгин-гниль – гнилая шея, вот что он такое! – воскликнул Калеб, пытаясь составить каламбур со словом «крайг», означающим по-шотландски «шея». – У него прямо на лбу написано, что он кончит виселицей. Бьюсь об заклад, что по нему давно уже плачет веревка.

– Вы разбираетесь в лицах, любезный мистер Калеб, – улыбнулся лорд-хранитель. – Уверю вас, этот господин уже был очень недалек от такого конца; насколько мне помнится, во время моей последней поездки в Эдинбург, недели две тому назад, я присутствовал при допросе мистера Крайнгельта, или как его там, в Тайном совете.

– По какому делу? – спросил Рэвенсвуд не без любопытства.

Этот вопрос был как нельзя кстати: лорд-хранитель давно уже порывался поведать Рэвенсвуду одну историю и только ждал подходящего случая. Поэтому он немедленно взял Эдгара под руку и, направляясь с ним в зал, сказал:

– Как это ни странно, но ответ на этот вопрос предназначается только для ваших ушей.

Возвратившись в зал, сэр Уильям отвел Рэвенсвуда к оконной нише, куда, по вполне понятным причинам, мисс Эштон не решилась последовать за ними.

## **Глава XVII**

*... Вот отец -  
Он дочь готов сменять на клад  
заморский,  
Отдать как выкуп в распре  
межусобной,  
Иль бросить за борт, как Иону,  
рыбам,  
Чтоб успокоит бурю.  
Аноним*

Лорд-хранитель начал свой рассказ с видом человека, совершенно не заинтересованного в предмете, однако очень внимательно следил за тем, какое впечатление его слова производили на Рэвенсвуда.

– Вам, разумеется, известно, мой молодой друг, – сказал он, – что недоверие – естественный недуг нашего смутного времени и под его воздействием даже самые доброжелательные, самые рассудительные люди иной раз поддаются обману ловких мошенников.

Если бы несколько дней назад я внял навету одного из этих негодяев, если бы я и впрямь был тем хитрым политиком, каким вам меня изобразили, то вы, дорогой Рэвенсвуд, не находились бы теперь в вашем замке, не имели бы возможности домогаться пересмотра судебных решений и защищать ваши якобы поправленные права: вы были бы заточены в Эдинбургской темнице, или какой-нибудь другой тюрьме, или, спасаясь от этой участи, бежали бы в чужие края и были бы объявлены вне закона.

– Надеюсь, милорд, – сказал Рэвенсвуд, – вы не станете шутить такими вещами, хотя я не могу поверить, чтобы вы говорили серьезно.

– Человек с чистой совестью всегда доверчив, а иногда даже самонадеян. Правда, это вполне извинительно.

– Не понимаю, каким образом сознание собственной правоты может привести к самонадеянности.

– В таком случае назовем это хотя бы неосторожностью: такой человек уверен, что его невиновность очевидна всем, тогда как она известна только ему самому. Мне не раз случалось видеть плутов, которым удавалось защищаться лучше, чем честным людям. Мошенника не поддерживает сознание собственной правоты, он использует каждую лазейку, стараясь убедить судей в своей невиновности, и часто succeeds в этом, особенно если пользуется советами ловкого адвоката. Я припоминаю знаменитое дело сэра Кули Кондидла из Кондидла, которого обвиняли в растрате доверенного ему по опеке имущества, и хотя весь мир знал о его виновности, он был оправдан, а впоследствии сам судил людей куда более достойных, чем он.

– Позвольте мне, – перебил его Рэвенсвуд, – просить вас вернуться к предмету нашего разговора. Вы сказали, что меня в чем-то подозревают.

– Подозревают? Да, именно так, и я могу предъявить вам доказательства, если только они со мной., Эй, Локхард! Принесите мне шкатулку с замком, – сказал он, когда слуга явился на зов, – ту, которую я приказал вам особенно тщательно хранить.

– Слушаюсь, милорд, – ответил Локхард, поспешно выходя из комнаты.

– Насколько мне помнится, бумаги со мной, – сказал лорд-хранитель словно про себя. – Ну конечно же! Отправляясь сюда, я собирался захватить их с собой. Во всяком случае, если я не привез их, они у меня дома, и если вы удостоите...

Тут вернулся Локхард и вручил сэру Эштону обитую кожей шкатулку. Лорд-хранитель тотчас достал из нее несколько исписанных листов, содержащих донесение Тайному совету о «мятеже» во время похорон покойного лорда Аллана Рэвенсвуда и письма, свидетельствующие о деятельном участии сэра Уильяма в прекращении следствия над молодым Рэвенсвудом. Сэр Уильям тщательно подобрал документы, стремясь возбудить в молодом человеке любопытство и, не удовлетворяя его вполне, доказать, что он, сэр Уильям Эштон, играл в этом затруднительном деле роль заступника, роль примирителя между Рэвенсвудом и ревностными блюстителями закона. Предоставив хозяину замка заниматься столь интересным для него предметом, лорд-хранитель отошел к накрытому для завтрака столу и стал беседовать с дочерью и старым Калемом, сердце которого, покоренное любезным обращением гостя, мало-помалу начинало смягчаться по отношению к этому похитителю родовых имений Рэвенсвудов.

Внимательно прочитав бумаги, Эдгар провел рукой по лбу и глубоко задумался; потом он пробежал их еще раз, словно предполагая обнаружить в них какую-то тайную цель или следы подделки, не замеченные при первом чтении. По-видимому, на этот раз он полностью убедился в правильности первого впечатления, ибо быстро встал с каменной скамьи, на которой сидел, и, подойдя к лорду-хранителю, крепко пожал ему руку, извиняясь за то, что был несправедлив к нему, тогда как сэр Уильям, оказывается, желал ему добра, охраняя его свободу и защищая его честь.

Хитрый вельможа выслушал эти изъявления благодарности сначала с хорошо разыгранным удивлением, а потом с видом искренне дружеского участия.

При виде такой трогательной сцены голубые глаза Люси Эштон наполнились слезами. Она



не ожидала, что Рэвенсвуд, еще недавно столь высокомерный и холодный, которого она к тому же всегда считала обиженным ее отцом, станет просить у него прощения; ей было лестно и приятно видеть это.

– Утри слезы, Люси, – сказал сэр Уильям, – отчего ты плачешь? Оттого, что твой отец, хотя он и юрист, оказался честным и справедливым человеком?

За что вам благодарить меня, мой юный друг, – прибавил он, обращаясь к Рэвенсвуду. – Разве вы не сделали бы для меня того же? «*Suum cuique tribuito*»,<sup>26</sup> говорилось в римском праве, а я немало просидел над кодексом Юстиниана, чтобы запомнить это правило. К тому же разве, спасая жизнь моей дочери, вы не оплатили мне сторицей?

– Что вы! – ответил Рэвенсвуд, терзаясь сознанием своей вины. – Ведь я сделал это совершенное инстинктивно. Вы же встали на мою защиту, зная, сколь дурно я думаю о вас и сколь легко могу стать вашим врагом. Вы поступили великодушно, разумно, мужественно!

– Полноте, – сказал лорд-хранитель, – каждый из нас поступил согласно своей натуре, вы – как смелый воин, я – как честный судья и член Тайного совета.

Мы едва ли смогли бы поменяться ролями. Во всяком случае, из меня вышел бы очень плохой тореадор, а вы, мой молодой друг, несмотря на бесспорную правоту вашего дела, возможно, защитили бы себя перед Тайным советом хуже, чем это сделал за вас я.

– Мой добрый друг! – воскликнул Рэвенсвуд, и вместе с этим коротким словом, с которым так часто обращался к нему лорд-хранитель, но которое сам он произнес впервые, простодушный юноша вверил родовому врагу свое гордое и честное сердце. Рэвенсвуд был человеком необщительным, упрямым и вспыльчивым, но для своих лет отличался на редкость здравым и пронизательным умом. А потому, каково бы ни было его предубеждение против лорда-хранителя, оно не могло не отступить перед чувством любви и благодарности. Подлинное очарование Люси Эштон и мнимые услуги, якобы оказанные ему сэром Эштоном, изгладил из его памяти нерушимый обет мести, данный им над прахом отца. Но клятва его была услышана и вписана в книгу судеб.

Кaleb был свидетелем этой сцены и не мог объяснить ее себе иначе, как тем, что между обоими семействами происходит сговор о брачном союзе и что сэр Эштон отдает за дочь родовое имя Рэвенсвудов. Что же касается Люси, то, когда Рэвенсвуд обратился к ней с пламенными словами, моля простить его за неблагодарность и холодность, она только улыбнулась сквозь слезы и, протянув ему руку, сказала прерывающимся голосом, что бесконечно счастлива видеть примирение отца с человеком, спасшим ей жизнь. Даже многоопытный вельможа был растроган искренним и великодушным самоотречением, с которым пылкий юноша отказался от родовой вражды и, не колеблясь, попросил у него прощения. Его глаза блестели, когда он смотрел на молодых людей, очевидно любивших друг друга и словно созданных один для другого. Он невольно подумал, как далеко мог бы пойти этот гордый, благородный юноша там, где его, сэра Эштона, недостаточно родовитого и слишком осторожного по натуре, не раз, как говорится у Спенсера, «оттесняли» и оставляли позади. И его дочь, его любимое дитя, участница его досуга, возможно, была бы счастлива, соединившись с влиятельным и сильным человеком; нежной, хрупкой Люси, казалось, была необходима поддержка твердой руки и мужественного сердца Рэвенсвуда.

На какое-то время этот брак показался сэру Уильяму Эштону не только возможным, но даже желательным, и прошло не менее часа, прежде чем он опамятовался, вспомнив, что Эдгар беден, а леди Эштон никогда не согласится выдать дочь за Рэвенсвуда. Однако уже этих добрых чувств, которым, вопреки своему обыкновению, невольно поддался лорд-хранитель, оказалось достаточно: молодые люди, приняв его сочувственное молчание за одобрение их взаимной склонности, решили, что союз их будет встречен с радостью. Лорд-хранитель, по-видимому, сам сознавал совершенную им тогда ошибку, ибо много лет спустя после трагической развязки этой несчастной любви предостерегал всех и каждого от опасности подчинять рассудок чувству, уверяя, что величайшим несчастьем своей жизни он обязан той минуте, когда допустил, чтобы чувство взяло в нем верх над эгоистическим интересом. Нельзя не признать, что если это было так, то он был страшно наказан за минутную слабость.

---

<sup>26</sup> Пусть будет дано каждому то, что ему причитается (лат).

Помолчав немного, лорд-хранитель возобновил прерванный разговор.

– Вы так изумились, обнаружив во мне честного человека, что позабыли о Крайгенгельте, дорогой друг. А ведь он называл ваше имя в Тайном совете.

– Негодяй! – воскликнул Рэвенсвуд. – Мое знакомство с ним было самым непродолжительным; но, видно, мне совсем не следовало общаться с ним.

Я вел себя глупо. Что же он сказал обо мне?

– Он наговорил достаточно, чтобы возбудить опасения относительно вашей благонадежности у некоторых наших мудрецов, готовых по первому подозрению или навету обвинить человека в государственной измене. Крайгенгельт болтал какой-то вздор о вашем намерении поступить на службу к французскому королю или претенденту – я сейчас уже не помню подробностей, – но один из ваших лучших друзей, маркиз Э\*\*\*, и еще одно лицо, которое многие называют вашим заклятым врагом, не пожелали этому верить.

– Я очень признателен моему достойному другу, – сказал Рэвенсвуд, – но еще более я благодарен моему достойному врагу.

– *Inimicus amicissimus*,<sup>27</sup> – улыбнулся сэр Уильям, отвечая на его рукопожатие. – Этот молодой человек упоминал также мистера Хейстона Бакло. Жаль, если бедный юноша попал под такое дурное влияние.

– Он уже достаточно взрослый и может обходиться без наставников, – ответил Рэвенсвуд.

– Да, лет ему вполне достаточно, но разума недостает, если он избрал этого мошенника своим *fidus Achatus*.<sup>28</sup> Крайгенгельт донес на него, и эта история имела бы очень дурные последствия, если бы мы не знали, с кем имеем дело, и прислушались к словам такого негодяя.

– Мистер Хейстон Бакло – честный человек, – сказал Рэвенсвуд. – Не думаю, чтобы он был способен на низкий или подлый поступок.

– Согласитесь, однако, что он способен на поступки весьма неблагоприятные. Не нынче, так завтра он получит в наследство отличнейшие поместья – возможно, он уж владеет ими. Леди Геррингтон, эта превосходная женщина – конечно, если бы не ее несносный характер, из-за которого она перессорилась со всем светом, – теперь, вероятно, переселилась уже в иной мир. Она очень богата: все ее родственники и совладельцы давно уже умерли, увеличив ее долю наследства. Я знаю ее владения, они граничат с моими; это превосходное имение.

– Я очень рад за Бакло. И был бы рад вдвойне, если бы с переменой судьбы он переменял бы также свои привычки и знакомства. К несчастью, появление здесь Крайгенгельта в качестве его друга не предвещает ничего хорошего.

– Несомненно! Крайгенгельт из тех, кто приносит несчастье, – согласился лорд-хранитель. – С таким приятелем легко можно попасть в тюрьму и даже на виселицу. Однако мистер Калеб, мне кажется, ждет не дождется, чтобы мы принялись за завтрак.

## Глава XVIII

*Останься дома, вняв совету старших,  
Благ не ищи у очага чужого,  
Наш сизый дым теплей, чем их огонь,  
А пища хоть проста, зато здорова,  
Заморская ж вкусна, да ядовита.  
«Французская куртизанка»*

После завтрака сэр Уильям и Люси начали собираться в дорогу; воспользовавшись этим, Рэвенсвуд покинул их и отправился отдать необходимые распоряжения, поскольку сам также решил уехать из замка дня на два. Ему необходимо было предупредить Калеба, которого он, как и

---

<sup>27</sup> Самому дружелюбному врагу (лат.).

<sup>28</sup> Верным Ахатом (лат.)

предполагал, нашел в его закопченной, полуразрушенной каморке. Обрадованный съездом гостей, верный слуга по-хозяйски прикидывал, на сколько дней при хорошем расчете можно будет растянуть оставшиеся припасы.

«Мистер Эдгар, слава богу, не обжора, – думал он, – а мистер Бакло уехал. Он-то, конечно, способен уничтожить целого быка в один присест. Кресс-салата, или, как у нас его называют, латук-травы... да кусочка овсяного пудинга хватит хозяину на завтрак.

Он, так же как и я, непривередлив. На обед... Оленины, кажется, осталось совсем немного. Ну, ничего, ее можно поджарить на рашпере. Она отлично зажарится».

Подсчет трофеев был прерван Рэвенсвудом, решившимся наконец сообщить Калебу о своем намерении сопровождать сэра Уильяма в замок Рэвенсвуд и погостить там несколько дней.

– Избави бог! – воскликнул старик, и лицо его стало белым, как скатерть, которую он складывал.

– В чем дело, Калеб? Почему бы мне не посетить лорда – хранителя печати?

– О, мистер Эдгар! – воскликнул Калеб. – Я ваш слуга, и не мне учить вас, но я старый слуга – я служил вашему отцу, и деду; я видел лорда Рэндола, вашего прадеда, когда был совсем еще мальчишкой.

– Ну, так что ж из этого, Калеб? Какое все это имеет отношение к обычному между соседями обмену визитами?

– О, мистер Эдгар... то есть, простите, милорд!

Разве: ваше сердце не говорит вам, что сыну вашего отца не подобает дружить с таким соседом? Подумайте о чести вашего рода! Конечно, если бы вы пришли к соглашению с ним и он вернул ваши земли – пускай даже с тем, что вы окажете ему честь, женившись на его дочери,

– я бы не стал отговаривать вас: мисс Эштон – славная, добрая девушка. Но не поступайте вашей независимостью! Я знаю этих людей. Не уступайте им, и они будут только больше ценить вас.

– Однако вы далеко заходите в ваших планах, Калеб, – усмехнулся Рэвенсвуд, пытаясь как-то скрыть свое смущение. – Вы хотите, чтобы я породнился с семейством, которое сами же запрещаете мне посещать. Как же так? Да что с вами? Вы бледны как смерть!

– О, сэр! – воскликнул Калеб. – Открой я вам причину моего страха, вы же первый будете смеяться надо мной! Но Томас Стихотворец, а он никогда не лгал, произнес вещее слово о вашем роде, и если вы поедете в Рэвенсвуд, предсказание его сбудется. О, зачем я дожил до этого страшного дня!

– Какое же предсказание, Калеб? – спросил Рэвенсвуд, желая успокоить верного слугу.

– Никогда, ни одному смертному не осмеливался я передать эти слова, сказанные мне старым патером, исповедником вашего деда, – в то время Рэвенсвуды были еще католиками. Не раз повторял я про себя это мрачное пророчество, но никогда не думал, что ему суждено сбыться.

– Перестаньте же причитать, Калеб, – нетерпеливо прервал его Рэвенсвуд. – Скажите мне эти слова, внушившие вам столько ужасных мыслей.

Бледный от страха, старик дрожащим голосом произнес, запинаясь, нижеследующие строки:

Когда последний Рэвенсвуд приедет в Рэвенсвуд  
И мертвую деву невестой его назовут,  
В зыбучих песках Келпи оставит он коня,  
И древнее его имя исчезнет с этого дня.

– Я знаю Келпи, – сказал Рэвенсвуд. – Так, кажется, некогда называли зыбучие пески между нашей башней и Волчьей Надеждой? Какому же безумцу придет в голову отправиться туда верхом?!

– Не вопрошайте судьбу, сэр! Не дай бог, чтобы нам открылся тайный смысл пророчества! Оставайтесь лучше дома! Пусть ваши гости одни уедут в Рэвенсвуд. Мы сделали для них довольно. Сделать больше – значило бы уже не возвысить, а уронить честь рода.

– Ну-ну, Калеб! Благодарю вас, за совет, но, право, я не собираюсь искать себе невесты в

Рэвенсвуде – ни мертвой, ни живой, – а потому, будем надеяться, сумею выбрать для своего коня место более надежное, чем Келпи. Тем более что я никогда не любил эти зыбучие, пески, особенно после того, как там погиб пикет английских драгун. Помнится, это было лет десять назад. Мы с отцом наблюдали за ними из башни и видели, как они бились из последних сил, пытаюсь спастись от надвигающегося прилива, но он настиг их прежде, чем подоспела помощь.

– И поделом им, проклятым англичанам! – заявил Калев. – Нечего им шататься по нашим берегам и мешать честным людям привозить сюда бочонок-другой бренди! За мерзкие эти дела я и сам был не прочь пальнуть по ним из нашей старой кулеврины, доброй нашей пушечки, что стоит у нас на южной башне, только боялся, как бы ее не разорвало.

Калев принялся всю бранить и проклинать английских солдат и таможенников, так что Рэвенсвуд без особого труда ускользнул от него и вернулся в зал. Все было готово к отъезду. Один из слуг лорда-хранителя оседлал Рэвенсвуду коня, и гости вместе с хозяином тронулись в путь.

После долгих усилий Калебу наконец удалось распахнуть обе половинки наружных ворот; затем он встал посередине проезда, приняв почтительный, но вместе с тем важный вид: тощий, изможденный старик, он мнил заменить собою отсутствующих привратников, сторожей и ливрейных лакеев – всю многочисленную челядь знатного дворянского дома.

Лорд-хранитель милостиво ответил на поклон Калеба и, нагнувшись, вложил ему в руку несколько золотых, так как, по существовавшему тогда обычаю, покидая дом хозяина, гость всегда должен был оделить слуг. Люси подарила Калеба прелестной улыбкой, ласково простилась с ним и вручила ему свою лепту с такой очаровательной грациозностью и такими милыми словами, что совершенно пленила бы сердце верного старика, если бы не предсказание Томаса Стихотворца и успешный процесс ее отца против Рэвенсвудов. Калев Болдерстон мог бы сказать словами герцога из пьесы «Как вам это понравится»:

Ты больше б угодил мне этим делом,  
Происходи ты из другой семьи.<sup>29</sup>

Рэвенсвуд поехал подле Люси, робевшей перед трудным спуском; взяв ее коня под уздцы, он повел его по каменистой тропинке, ведшей в долину, как вдруг кто-то из слуг, замыкавших кортеж, возвестил, что Калев громко кричит им вслед, видимо желая что-то сообщить своему господину. Пренебреги Эдгар этими призывами, его поведение могло бы показаться странным, а потому он нехотя уступил Локхарду приятную обязанность помогать Люси и, проклиная в душе назойливую заботливость дворецкого, повернул назад. Достигнув ворот замка, он раздраженно спросил старика, что тому от него нужно.

– Тише, сэр, тише! – прошептал Калев. – Позвольте сказать вам одно только слово: мне нельзя было сделать это при всех. Вот три золотых, – продолжал он, передавая хозяину только что полученный от лорда-хранителя дар. – Возьмите их, они вам пригодятся. Погодите! Тише, ради бога, тише! – взмолился он, ибо Рэвенсвуд начал громко отказываться от его даяния. – Возьмите и не забудьте разменять их в первом же селении. Они совсем новенькие и слишком блестят.

– Вы забываете, Калев, – ответил Рэвенсвуд, стараясь сунуть ему монеты обратно и высвободить из его рук поводья, – вы забываете, что у меня в кошельке есть еще несколько золотых. А ваши оставьте себе, мой добрый друг, и прощайте. Уверяю вас, у меня довольно денег. Ведь благодаря вашим стараниям мы ничего, или почти ничего, не издержали.

– Ну, так отложите эти денежки для каких-нибудь других надобностей. Да и обойдетесь ли вы?

Ведь вам, несомненно, для поддержания чести рода придется одаривать слуг. К тому же надо иметь немного лишних денег на случай, если кто скажет: «А ну-ка, Рэвенсвуд, бьюсь с вами на золотой...» Тогда вы откроете кошелек и скажете: «С удовольствием».

А потом постараетесь отклонить условия пари и поскорее спрятать кошелек...

– Это становится невыносимым, Калев. Мне пора!

---

<sup>29</sup> Перевод Т. Щепкиной-Куперник



– Так вы все-таки поедете? – спросил Калеб, выпуская из рук плащ Рэвенсвуда и быстро переходя с нравоучительного тона на патетический.

– Значит, вы поедете – после всего, что узнали о предсказании, о мертвой невесте и о зыбучих песках Келпи? Что ж, делать нечего, своя воля страшней неволи. Но ради всего святого, сэр, если вам случится гулять или охотиться в парке, не пейте воды из источника Сирены.

Ускакал! Летит стремглав за своей любезной! Пропал род Рэвенсвудов! Погиб! Сняли голову с плеч! Словно луковку отрезали!

Старый дворецкий еще долго смотрел вслед удаляющемуся хозяину, снова и снова утирая набегавшие на глаза слезы, чтобы как можно дольше любоваться его статной фигурой, выделявшейся среди других всадников.

– Скачет рядом с нею, – бормотал он про себя, – да, рядом с нею! Правду сказал святой: «И посему вы узнаете, что женщина владеет мужчиною». Ах, и без этой красавицы наша гибель все равно неизбежна.

И только когда всадники, а вместе с ними и предмет его страхов и опасений, все уменьшаясь, совсем исчезли из виду, старый дворецкий с сердцем, исполненным грустными предчувствиями, возвратился в башню, к своим обычным занятиям.

Между тем путешественники продолжали свой путь в превосходном расположении духа. Приняв однажды какое-нибудь решение, Рэвенсвуд никогда уже не сомневался в его правильности и не менял его. Он весь отдался наслаждению видеть и слышать мисс Эштон и был заботлив, предупредителен, чуть ли не весел, насколько это было возможно, принимая во внимание его характер и несчастья его семьи.

Лорд-хранитель был поражен наблюдательностью молодого человека и необычайной для его возраста обширностью различных познаний. Благодаря высокому положению и знанию света сэр Уильям превосходно мог судить об этих его совершенствах, но особенно ценил в нем то, чем сам не мог похвастать, – твердый, решительный характер, ибо юноша, казалось, не ведал ни страха, ни сомнений. В душе сэр Уильям радовался примирению со столь опасным врагом и со смешанным чувством удовольствия и тревоги размышлял, сколь многого достиг бы этот молодой человек, если бы ему сопутствовало благоволение двора.

«Чего ей еще желать? – думал он, как всегда опасаясь, что леди Эштон, по своему обыкновению, воспротивится его намерениям. – Какого еще жениха может желать женщина для своей дочери? Выдав Люси замуж за Рэвенсвуда, мы избежим опаснейшей тягбы, породнимся с человеком благородным, храбрым, наделенным недюжинными способностями, к тому же

– с хорошими связями, с человеком, который, безусловно, как только ему улыбнется счастье, достигнет высокого положения. Он в избытке обладает всем тем, чего недостает нам, – родовитости и отвагой воина. Что и говорить, ни одна благоразумная женщина не стала бы тут задумываться, но увы! (И ему пришлось признать, что леди Эштон не всегда благоразумна в том смысле, в каком он понимал это слово). Надо быть безумной, чтобы предпочесть какого-нибудь неотесанного деревенщину из местных лэрдов этому благородному юноше и пренебречь возможностью сохранить за собою замок Рэвенсвуд на выгодных условиях».

Так размышлял старый дипломат по дороге в замок Битлбрейн, где нашим путникам предстояло отобедать и затем, немного отдохнув, пуститься в дальнейший путь.

Битлбрейны приняли их крайне приветливо, но особенно лестное внимание высокопоставленные хозяева оказали Рэвенсвуду.

Лорду Битлбрейну был пожалован титул пэра за многие таланты: он умел придавать благопристойный вид любым своим поступкам, владел искусством слыть мудрецом, красноречиво произнося избитые истины, всегда знал, откуда дует ветер, и обладал великим даром оказывать услуги тем, кто лучше за них платит. Новоиспеченный пэр и его супруга чувствовали себя несколько неловко в высоком кругу, в который так недавно попали, и всячески старались снискать расположение людей, принадлежащих к нему по рождению. Как это часто бывает, необыкновенное внимание, оказанное Битлбрейнами Рэвенсвуду, еще более возвысило его в глазах лорда-хранителя, ибо, испытывая вполне понятное презрение к талантам этого вельможи, сэр Эштон тем не менее весьма ценил его острый нюх на все, что сулило личную выгоду.

«Хотел бы я, чтобы леди Эштон это видела, – подумал он. – Уж лучше Битлбрейна никто не знает, кому первому кланяться, а он выслуживается перед Рэвенсвудом, словно голодный пес перед поваром.

И миледи туда же – вывела своих скуластых дочек прельщать гостя пискливым пением и бренчанием на спинете; точно предлагает: выбирай любую! Ну, они перед Люси – как совы перед голубкой. Придется, видно, сбывать их кому-нибудь другому».

Отобедав, наши путешественники, которым предстояла еще долгая дорога, сели на коней и, после того как лорд-хранитель, Рэвенсвуд и сопровождающие их слуги, каждый согласно сану и званию, осушили по прощальному кубку, снова отправились в путь.

Уже стемнело, когда кавалькада въехала в длинную, прямую аллею, ведущую в замок Рэвенсвуд, Ночной ветер шелестел в старых вязах, растущих вокруг дома, и они, казалось, жалостно вздыхали при виде наследника своих исконных владельцев, возвращающегося под их сень в обществе, чуть ли не в свите, их нового хозяина. Печальные чувства стеснили грудь Рэвенсвуда. Он умолк и стал держаться поодаль от Люси, от которой до сих пор не отставал ни на шаг. Ему вспомнился день, когда в такой же вечерний час уезжал он отсюда вместе с отцом, навсегда покидавшим родовое имение, давшее ему имя и титул. Тогда в огромном старом замке – Эдгар не раз оборачивался, чтобы бросить на него прощальный взгляд – было темно, как в могиле; теперь же он весь сверкал множеством огней. Из одних окон лился ровный свет, рассекая ночную тьму, в других – только мелькал, то появляясь, то исчезая; очевидно, в доме была суета: шли деятельные приготовления к приезду хозяина, которого предупредомленные курьером слуги ждали с минуты на минуту. Контраст был разителен, и в сердце Рэвенсвуда снова пробудилась давняя неприязнь к похитителю достоинства его предков; когда же, сойдя с лошади, он вошел в зал, который теперь ему уже не принадлежал, и увидел себя окруженным многочисленной челядью нынешнего владельца, на его чело вновь легла печать суровой задумчивости.

Сэр Уильям хотел было принять Рэвенсвуда с самым пламенным радушием, которое после состоявшегося между ними разговора казалось, ему вполне уместным, но, заметив происшедшую в госте перемену, отложил, свое намерение и ограничился глубоким поклоном, как бы давая понять, что разделяет его грустные чувства.

Два камердинера, держа в руках по огромному серебряному подсвечнику, проводили приехавших в просторную комнату, являвшуюся, по-видимому, кабинетом, великолепное убранство которой лишний раз напомнило Рэвенсвуду, насколько новые хозяева замка богаче его прежних владельцев. Полуистлевшие и кое-где свисавшие уже ключьями шпалеры, которые покрывали стены при его отце, были заменены дубовой панелью, украшенной по карнизу гирляндами и птицами, вырезанными так искусно, что, казалось, они вот-вот запоют и замахают крыльями. Старинные семейные портреты прославленных воинов из дома Рэвенсвудов, рыцарские доспехи и древнее оружие уступили место изображениям короля Вильгельма и, королевы Марий, а также сэра Томаса Хоупа и лорда Стара, этих двух прославленных шотландских юристов. Тут же висели портреты родителей сэра Эштона: мать – угрюмая, сухая, чопорная старуха в черном чепце и таких же лентах, с молитвенником в руках, и отец – старик в черной шелковой женевской шапочке, будто приклеенной к бритой голове; его узкое брюзгливое лицо с острой рыжеватой бородкой, словно налагавшей последний штрих на эту истинно пуританскую физиономию, выражало столько же лицемерия, сколько скупости и плутоватости. «И для такой-то дряни, – подумал Рэвенсвуд, – моих предков согнали с воздвигнутых ими стен!» Он взглянул на портреты еще раз, и образ Люси Эштон (которая не сопровождала их в зал) потерял над ним свою власть.

Несколько голландских безделок, как тогда называли произведения Ван-Остаде и Тенирса, и одна хорошая картина итальянской школы дополняли убранство комнаты. Но особое внимание обращал на себя превосходный портрет самого лорда – хранителя печати в полный рост, в парадном облачении и при всех регалиях; рядом с ним была изображена его супруга, вся в шелках и горностае – надменная красавица с гордым взглядом, выразившим все высокомерие рода Дугласов, к которому она принадлежала. Как ни старался живописец, но, то ли подчиняясь действительности, то ли из тайного чувства юмора, он не сумел придать изображению сэра Эштона тот вид повелителя и господина, внушающего всем почтение и, страх, который приличествует главе дома.

Несмотря на золотые пуговицы и булаву, с первого взгляда было ясно, что лорд-хранитель находится под каблуком у жены.

Комнату устлали дорогие ковры, яркий огонь пылал в обоих каминах, а множество свечей, отражаясь в блестящей поверхности десяти серебряных канделябров, озаряли все кругом, словно дневным светом.

– Не угодно ли перекусить? – спросил сэр Уильям, желая прервать неприятное молчание.

Рэвенсвуд ничего не ответил; он так углубился в изучение нового убранства комнаты, что даже не расслышал обращенного к нему вопроса. Только когда лорд-хранитель повторил приглашение, прибавив, что стол уже накрыт, Рэвенсвуд очнулся от задумчивости; понимая, что, поддавшись обстоятельствам, он окажется в жалкой, может быть, даже смешной роли, юноша сделал над собой усилие и, надев маску равнодушия, заговорил с сэром Уильямом:

– Надеюсь, вас не удивляет, сэр, то внимание, с которым я рассматриваю все перемены, произведенные вами, чтобы украсить эту комнату. При жизни отца, особенно после того как наши несчастья заставили его удалиться от света, она стояла пустой.

Только я играл здесь в плохую погоду; Вот в этом углу лежали столярные инструменты, добытые для меня Калемом, – старик учил меня столярничать; вот там, где сейчас стоит большой красивый подсвечник, я хранил удочки, рогатины, лук и стрелы.

– У моего сынишки точно такие же, вкусы, – сказал лорд-хранитель, пытаясь переменить разговор, – он только тогда и счастлив, когда носится по полям и лесам. Кстати, где же он? Эй, Локхард!

Пошлите Уильяма Шоу за мистером Генри. Должно быть, вертится около сестры. Вы не поверите, Рэвенсвуд, но эта проказница распоряжается всем нашим домом.

Однако даже этот искусно брошенный намек не помог ему отвлечь Рэвенсвуда от грустных мыслей.

– Уезжая, – продолжал он, – мы оставили в этой комнате несколько семейных портретов и собрание оружия. Могу я узнать, что с ними случилось?

– Видите ли, – ответил лорд-хранитель с некоторым замешательством,

– эту комнату отделявали в мое отсутствие. Как известно, *sedant arma togae*,<sup>30</sup> любят говорить юристы. Боюсь, на этот раз это правило применили слишком буквально. Впрочем, я надеюсь... я полагаю, что ваши вещи целы. Разумеется, я распорядился относительно них. Позвольте мне надеяться, что, как только они отыщутся и будут приведены в порядок, вы окажете мне честь принять их из моих рук как знак искупления за это случайное изгнание.

Рэвенсвуд сухо поклонился и, скрестив руки, продолжал осматривать зал. В эту минуту в комнату вбежал Генри, избалованный пятнадцатилетний мальчик, и тотчас бросился к отцу.

– Папа! – закричал он. – Почему Люси сегодня такая противная злючка? Я позвал ее в конюшню посмотреть моего нового пони, которого Боб Уилсон привел мне из Гэллоуэя, а она не хочет.

– Ты совершенно напрасно беспокоил сестру такой просьбой.

– Ах, вот как! Ты с нею заодно! Ты тоже несносный, злючка! Хорошо же! Вот мама вернется, она вам, обоим покажет!

– Замолчи! Я не желаю, слушать от тебя грубостей, дерзкий мальчишка! Где твой учитель?

– Уехал в Данбар на свадьбу. Вот где он вволю наестся потрохов! – И он запел веселую шотландскую песенку:

Как настряпали в Данбаре потрохов,  
О ля-ля, ля-ля, ля-ля,  
И жевали их до первых петухов,  
О ля-ля, ля-ля, ля-ля,

– Я очень признателен мистеру Кордери за его внимание к моему сыну, – сказал лорд-

---

<sup>30</sup> Оружие отступает перед тогой (лат.).

хранитель. – А кто же смотрел за тобою, пока меня не было дома?

– Норман, Боб Уилсон... и я сам.

– Охотник и конюх – отличные наставники для будущего адвоката! Боюсь, что из всего свода законов ты будешь знать только те, которые запрещают охотиться на красного зверя, и ловить лосося, и...

– Кстати, об охоте, – не задумываясь, перебил отца юный проказник,

– Норман убил без вас оленя, Я показал Люси рога, но она сказала, что в них только восемь ветвей, – а у того, которого вы затравили у лорда Битлбрейна, было целых десять. Это правда, папа?

– Может быть, даже все двадцать. Вот уж, в чем я ничего не смыслю. Но если ты спросишь нашего гостя, он тебе обо всем расскажет. Подойди к нему, Генри. Это мастер Рэвенсвуд.

Пока отец и сын, стоя у камина, разговаривали таким образом, Рэвенсвуд отошел в противоположный конец комнаты и, повернувшись к ним спиной, внимательно рассматривал одну из картин, висевшую на стене. Генри подбежал к нему и с бесцеремонностью балованного ребенка дернул его за полу.

– Послушайте, сэр, – воскликнул он, – расскажите, пожалуйста...

Рэвенсвуд обернулся, но едва Генри увидел его, как смутился, сделал несколько шагов назад и, изменившись в лице, которое мгновенно утратило присущее ему выражение бойкости, молча, удивленный и испуганный, уставился на гостя.

– Иди сюда, – сказал мальчику Рэвенсвуд. – Я охотно расскажу тебе все, что помню об этой охоте.

– Подойди же к нашему гостю, Генри, – сказал сэр Уильям, – кажется, не в твоих привычках быть застенчивым.

Но ни просьбы, ни увещания не помогли. Напротив, хорошенько рассмотрев Рэвенсвуда, мальчик круто повернулся, затем осторожно, словно ступая по стеклу, вернулся к отцу и крепко к нему прижался. Не желая слушать, о чем будут говорить между собой отец и его избалованный сынок, Рэвенсвуд счел за лучшее вновь обратиться к картинам.

– Отчего ты не хочешь поговорить с Рэвенсвудом, дурачок? – спросил лорд-хранитель.

– Я боюсь его, – пробормотал Генри.

– Боишься?! – удивился отец, обнимая сына за плечи. – Что же в нем страшного?

– Он похож на портрет сэра Мэлиза Рэвенсвуда, – прошептал мальчик.

– На какой портрет, глупыш? Я думал, ты только ветренник, а теперь начинаю опасаться, что, ты и впрямь растешь дураком.

– Говорю вам, он точь-в-точь сэр Мэлиз Рэвенсвуд. Можно подумать, он вышел из рамы, что висит в комнате старого барона, где служанки стирают белье. Только сэр Мэлиз одет в кольчугу, а ваш гость носит камзол, потом у него нет бороды и бакенбард, как на портрете, да вокруг шеи какая-то другая штука, и нет ленты через плечо, и...

– А что же удивительного, если этот джентльмен похож на одного из своих предков?

– А вдруг он приехал сюда, чтобы выгнать нас из замка? Может быть, он тоже привел с собой двадцать переодетых рыцарей... Вот он крикнет сейчас страшным, голосом: «Я выжидаю свой час!» – и убьет тебя, как убил тогда сэр Мэлиз хозяина замка, чья кровь все еще виднеется на плитках камина.

– Не болтай глупостей! – рассердился лорд-хранитель, которому это сравнение не доставило особого удовольствия. – Мастер Рэвенсвуд, – обратился он к молодому человеку, – вот идет Локхард доложить, что ужин подан.

В ту же минуту в противоположную дверь вошла Люси, уже успевшая переодеться. Нежная красота девического личика, обрамленного золотыми локонами, тонкий стан, доселе скрытый под грубым охотничьим нарядом, а теперь затянутый в светло-голубой шелк, изящество манер и пленительная улыбка – все это в мгновение ока, с быстротой, поразившей самого Рэвенсвуда, изгнало мрачные и злобные мысли, вновь завладевшие было его воображением. В ее милых чертах он не находил ни малейшего сходства ни с рыжебородым пуританином в черной шапочке, ни с его чопорной, увядшей супругой, ни с лукавым лордом-хранителем, ни с высокомерной леди Эштон. Он



смотрел на Люси, и она казалась ему сошедшим на землю ангелом, совершенно чуждым этим людям, которым выпала, великая честь жить рядом с этим неземным существом. Такова власть красоты над воображением пылкого и восторженного юноши.

## Глава XIX

*Я поступаю дурно!  
Мне должно знать, что жалоба отца  
Заставит небеса поток несчастий  
Излить на непокорную главу.  
Но разум говорит: отцы бессильны,  
Пытаясь обуздать слепые страсти  
Своих детей и удержать любовь,  
Внушенную божественною властью.  
«Потеряла свинья жемчужину»*

Если трапеза в «Волчьей скале» говорила о плохо скрытой бедности, то угощение в замке Рэвенсвуд поражало роскошью и изобилием. Такой контраст, несомненно, льстил самолюбию сэра Уильяма, но он был слишком большой дипломат, чтобы обнаружить свои чувства. Напротив, он, казалось, с удовольствием вспоминал холостяцкий обед, которым потчевал его Болдерстон, и скорее с отвращением, нежели с гордостью, взирал на собственный стол, ломившийся от множества яств.

– Мы живем в роскоши, – сказал он, – потому что так принято, но в скромном доме моего отца я привык к простой пище и был бы очень рад, если бы моя жена и дети позволили мне вернуться к старой доброй овсянке и бараньему боку.

Лорд-хранитель перешел меру, и Рэвенсвуд почувствовал это.

– Различие в звании, – сухо заметил он, – или, лучше сказать, в средствах, определяет, как нам вести дом.

Этих слов было достаточно, чтобы лорд-хранитель тотчас заговорил о других предметах, которые, по нашему мнению, не стоят внимания читателя.

Вечер прошел в непринужденной, почти дружеской беседе, и Генри совершенно забыл прежние свои страхи. Он даже предложил потомку и двойнику страшного сэра Мэлиза Рэвенсвуда, прозванного Мстителем, отправиться вместе травить оленя. Условились на следующее утро. Ретивые охотники спозаранку выехали в отъезжее поле и вернулись нагруженные добычей. Затем сели обедать, и хозяева принялись уговаривать Рэвенсвуда остаться еще на день. Молодой человек согласился, но дал себе слово не задерживаться долее. К тому же он вспомнил, что еще не видал доброй Элис, старой преданной служанки дома Рэвенсвудов, и ему захотелось обрадовать верную старушку, навестив ее бедное жилище. Он решил посвятить Элис следующее утро, а Люси вызвалась проводить его к ней. И хотя за ними увязался Генри, отчего прогулка утратила характер *tete-a-tete*,<sup>31</sup> в сущности они почти все время оставались наедине: занятый своими весьма важными делами, мальчик совершенно не интересовался сестрой и ее спутником. То его внимание привлекал грач, опустившийся невдалеке на ветку, то заяц перебежал им дорогу, и Генри вместе с гончей бросался вслед за ним, то он отставал, чтобы поговорить с лесником, то забегал вперед, чтобы посмотреть на барсучью нору.

Тем временем разговор между Эдгаром и Люси становился все оживленнее и нежнее. Люси невольно призналась, что понимает, как тяжело ему, должно быть, видеть родные места столь изменившимися в руках нового владельца. В ее словах звучало искреннее сочувствие, и на мгновение Рэвенсвуд счел себя вознагражденным за все несчастья, ниспосланные ему судьбой. Он отвечал Люси пылкой благодарностью, не тая своих чувств, и она выслушала его, если не без смущения, то, во всяком случае, без неудовольствия. Быть может, она поступила неосторожно,

---

<sup>31</sup> Свидания с глазу на глаз (франц.)

внимая нежным речам, но было бы несправедливо осуждать ее слитом строго, ведь отец, казалось, поощрял Рэвенсвуда и тем самым давал ему право говорить с ней подобным образом. Тем не менее Люси поспешила переменить разговор, что ей без труда удалось: Рэвенсвуд и так сказал уже больше, нежели ему хотелось, и, спохватившись, что чуть было не признался в любви дочери сэра Уильяма Эштона, почувствовал укоры совести.

Вскоре они подошли к домику старой Элис; дом недавно перестроили, и теперь он выглядел менее живописно, но был не в пример удобнее. Слепая, по обыкновению, сидела под плакучей ивой и с тихой радостью, свойственной больным и старым людям, грелась под лучами осеннего солнца. Услыхав шаги, она повернула голову. – Я узнаю вашу поступь, мисс Эштон, – сказала она. – Но кто это с вами? Это не милорд, ваш отец.

– Как вы догадались, Элис? – удивилась Люси. – Как вам удается так точно узнавать людей по шагам? Ведь здесь такая почва, что шагов почти не слышно.

– Слепота, дитя мое, обострила мой слух, и я сужу обо всем по едва слышным звукам, которых прежде, так же как вы теперь, я даже не различала.

Нужда – суровый, но хороший учитель, а когда человек теряет зрение, ему приходится узнавать о мире другим путем.

– Вы слышали шаги мужчины – это я понимаю, но откуда вы знаете, что это не отец?

– Старики, дорогая мисс Эштон, ступают боязливо, осторожно: нога медленно отделяется от земли и опускается не сразу; а сейчас я слышу быструю поступь юноши. Если бы можно было допустить такую странную мысль, я сказала бы, что это шага Рэвенсвуда.

– Какой тонкий слух! – воскликнул Рэвенсвуд. – Просто невероятно. Не будь я сам тому свидетелем, ни за что бы не поверил. Вы не ошиблись, Элис: я действительно, Рэвенсвуд, сын вашего покойного хозяина.

– Вы?! – в изумлении вскричала старуха. – Вы Рэвенсвуд! Здесь! Вместе с Люси Эштон, дочерью вашего врага!.. Не верю. Позвольте мне коснуться вашего лица, чтобы пальцы мои подтвердили то, что воспринимает мой слух.

Рэвенсвуд, опустил на дерновую скамью подле старой служанки, и она дрожащей рукой ощупала его лицо.

– Да, это правда! – сказала она. – Это лицо и голос Рэвенсвуда: резкие, гордые черты, смелый, повелительный голос. Что вы здесь делаете, мастер Рэвенсвуд? Каким образом вы оказались во владениях сэра Эштона, да еще в обществе его дочери?

При этих словах лицо старой служанки вспыхнуло от негодования. Так, вероятно, в старину краснел от стыда верный вассал при виде того, как его юный сюзерен готов поступиться рыцарской честью доблестных предков.

– Мастер Рэвенсвуд гостит у моего отца, – вмешалась Люси, желая прекратить эту сцену: наставительный тон Элис пришелся ей не по душе.

– Вот как! – произнесла слепая, и голос ее выразил крайнее удивление.

– Я хотела доставить удовольствие нашему гостю, приведя его к вам.

– И, по правде сказать, Элис, – прибавил Рэвенсвуд, – я ожидал лучшего приема.

– Как странно! – пробормотала старуха, не слушая объяснений. – Небо творит свой праведный суд, а пути господни неисповедимы! Выслушайте меня, сэр: ваши предки были беспощадны к своим врагам, но они вели честную борьбу; они никогда не пользовались гостеприимством противника, чтобы тем вернее погубить его. Что у вас общего с Люси Эштон?

Зачем шаги ваши направлены по одной стезе? Зачем звуки вашего голоса сливаются с речью дочери сэра Уильяма? Молодой человек, тот, кто собирается мстить врагу такими бесчестными средствами.

– Молчите! – гневно прервал ее Рэвенсвуд. – Молчите! Видно, сам дьявол подсказал вам эти слова!

Знайте же, что у мисс Энной нет на свете более преданного друга, чем Эдгар Рэвенсвуд, и нет того, чего бы я не сделал, чтобы уберечь ее от опасности и обид.

– Вот оно что! – произнесла старуха изменившимся голосом, исполненным глубокой грусти. – Да сохранит господь вас обоих!

– Аминь! – сказала Люси, не улавливая намека, скрытого в словах слепой. – И да возвратит он вам ваш разум, Элис, и ваш добрый нрав. Если вместо того, чтобы радоваться, когда вас навещают друзья, вы станете разговаривать с ними так странно и таинственно, то и они поверят разным слухам, которые о вас ходят.

– Какие слухи? – спросил Рэвенсвуд; теперь и ему стало казаться, что старуха говорит как-то бессвязно.

– А такие... – прошептал ему на ухо Генри Эштон, только что подошедший к собеседнику. – Говорят, она колдунья, которую нужно было сжечь вместе с другими старыми ведьмами в Хэддингтоне.

– Что ты там шепчешь? – крикнула Элис и, вся вспыхнув от гнева, уставила на мальчика невидящие глаза. – Я колдунья? Меня надо было сжечь вместе с теми несчастными, обездоленными женщинами, которых замучили в Хэддингтоне?

– Какова! – подмигнул Генри. – Я говорю тише, чем чирикает королек, а она все слышит!

– Если бы на этот костер возвели вместе со мной того, кто занимается ростовщицеством, кто притесняет и угнетает бедных, кто уничтожает вековые межи и отнимает наши надель, кто разоряет древние шотландские роды, тогда я сказала бы: раздуйте пламя, и да поможет вам бог!

– Это ужасно, – вздохнула Люси. – Я никогда не видала бедняжку в таком неистовстве; но избави меня бог упрекать убогую одинокую старуху. Пойдем, Генри! Нам лучше уйти. Мне кажется, она хочет остаться наедине с мастером Рэвенсвудом. Мы подождем вас у источника Сирены, – прибавила она, взглянув на Рэвенсвуда.

– Эй, Элис, – крикнул Генри, уходя вслед за сестрой, – если ты водишь знакомство с той проклятой ведьмой, что портит нам оленей, так передай ей: коли у Нормана не найдется на нее серебряной пули, я сам не пожалею серебряных пуговиц с моей куртки.

Элис молчала и, только убедившись, что брат с сестрой отошли уже на достаточное расстояние и не могли ее слышать, сказала, обращаясь к Рэвенсвуду:

– Вы... вы тоже сердитесь на меня за мою любовь к вам. Пусть бы чужие люди гневались на моя слова, но вы...

– Я не сержусь на вас, Элис... Я только удивляюсь, что вы, чей светлый ум так часто превозносили, находитесь во власти столь обидных да к тому же и необоснованных подозрений.

– Обидных – возможно: правда часто бывает обидной, но мои подозрения обоснованы.

– А я повторяю вам: ваши подозрения совершенно неосновательны.

– В таком случае, мир сильно изменился: Рэвенсвуды утратили свой гордый нрав, а старая Элис не только ослепла, но и поглупела. Разве случалось, чтобы кто-нибудь из Рэвенсвудов входил в дом врага без тайного умысла отомстить ему? Эдгар Рэвенсвуд, вас привела сюда либо роковая ненависть, либо роковая любовь.

– Ни то, ни другое, Элис, даю вам слово... то есть, уверяю вас.

Элис не могла видеть, как вспыхнули щеки Рэвенсвуда, но, слух ее уловил, что голос его дрогнул и что он не договорил клятвы, которой, по-видимому, вначале намеревался подкрепить свои слова.

– Значит, это правда! – вздохнула слепая. – Вот зачем она ждет вас у источника Сирены! Это место часто называли роковым для рода Рэвенсвудов, и оно действительно не раз оказывалось для них гибельным, но никогда еще оно не грозило такими несчастьями, как нынче.

– От ваших слов, Элис, с ума сойти можно! Вы еще безрассуднее и суевернее, чем старый Болдерстон. Вы, вероятно, очень плохая христианка, если можете предположить, что в наше просвещенное время я буду вести кровавую войну против Эштонов, как это делалось в старину! Или, быть может, вы думаете, что я глупый мальчишка, которому достаточно пройтись рядом с молодой девушкой, чтобы влюбиться в нее по уши? – То, что я думаю, ведомо лишь мне одной, – сказала Элис. – Глаза мои не различают окружающих предметов, но зато, может быть, внутреннему моему взору открыто грядущее. Неужели вы хотите занимать последнее место за столом, некогда принадлежавшим вашему отцу? Неужели вы хотите стать свойственником и приверженцем его удачливого соперника? Неужели вы согласитесь жить милостями сэра Эштона, участвовать в его темных интригах, помогать в его низких происках, – кому, как не вам, знать его повадки, – чтобы

затем довольствоваться обглоданной костью, брошенной вам из остатков его богатой добычи? Неужели вы способны говорить его словами, мыслить его мыслями, отдавать свой голос за угодного ему кандидата и называть дорогим тестем и высокочтимым покровителем убийцу своего отца? Мастер Рэвенсвуд, я самая старая из слуг вашего дома, и, клянусь вам, мне легче было бы увидеть вас в гробу!

Страшная буря поднялась в сердце Рэвенсвуд а:

Элис задела струну, которую в последнее время ему удалось заглушить. Он принялся быстро шагать взад и вперед по садику, но наконец, овладев собой, остановился прямо перед старухой.

– Женщина! – воскликнул он. – Подумай, что ты говоришь! На краю могилы ты дерзаешь подстрекать меня на кровавое дело мести!

– Сохрани бог! – торжественно сказала Элис. – Напротив, сэр. Я прошу вас покинуть родные пределы, где ваша любовь и ваша ненависть принесут только несчастья или позор равно как вам, так и другим людям. О, если б эта слабая длань могла защитить вас от Эштонов, а их – от вас и уберечь вас всех от роковых страстей ваших! Вы не можете, вы не должны иметь ничего общего с этим семейством.

Бегите отсюда! И если небесная кара должна обрушиться на дом злодея, то пусть не вашу руку свершится божий суд.

– Я подумаю над вашими словами, Элис, – ответил Рэвенсвуд несколько более спокойным голосом. – Верю, что вы искренне желаете мне добра; тем не менее вы злоупотребляете вашими правами старейшей служанки нашего дома. Прощайте! Если когда-нибудь судьба улыбнется мне, я не забуду вас.

С этими словами Эдгар вынул золотой, намереваясь дать его Элис, но она не пожелала принять его дар, и монета упала на землю.

– Не подымайте! Погодите! – воскликнула Элис, услышав, что Рэвенсвуд наклоняется за монетой. – Вот символ вашей любви. Я охотно признаю, что Люси – сокровище; но, чтобы назвать ее своей, вам придется униженно согнуться в три погибели. А мне... мне не нужно денег; сребролюбие так же чуждо мне, как и прочие мирские страсти. Для меня на этом свете может быть только одна радость – известие о том, что Эдгар Рэвенсвуд находится за сотни миль от замка своих предков и никогда не вернется сюда вновь.

– Элис, – сказал Рэвенсвуд, начинавший подозревать, что у слепой имеются более глубокие причины столь горячо настаивать на его отъезде, чем те немногие наблюдения, которые она успела сделать за время его случайного визита, – Элис, моя мать не раз превозносила ваше благоразумие, проникательность и преданность; вы не так глупы, чтобы бояться пустых призраков и суеверных побасенок, как старый Болдерстон. Если вам известно, что мне грозит опасность, скажите об этом прямо. Уверяю вас, я не имею на мисс Эштон тех видов, какие вы сейчас мне приписываете. У меня есть дела с сэром Эштоном, и, покончив с ними, я немедленно уеду из Шотландии.

Поверьте, у меня нет ни малейшей охоты возвращаться в места, где все возбуждает во мне печальные воспоминания.

Элис опустила голову и погрузилась в глубокое раздумье.

– Я скажу вам всю правду, – наконец промолвила она, подымая на него незрячие глаза. – Я назову вам причину моих опасений, хотя не знаю, хорошо ли я делаю, доверяя вам чужую тайну. Люси Эштон любит вас, лорд Рэвенсвуд.

– Не может быть! – воскликнул Эдгар, – Тысяча обстоятельств убедили меня в этом, – продолжала слепая. – С тех пор, как вы спасли ей жизнь, она только о вас и думает. При моем жизненном опыте мне не трудно было догадаться о ее любви к вам. Теперь вы знаете... Если вы честный человек и достойный сын вашего отца, вы не станете дольше встречаться с ней. Мало-помалу любовь ее угаснет, как гаснет светильник, когда нечем питать его пламя.

Но если вы останетесь здесь, ее гибель или ваша, а может быть, даже гибель вас обоих, неминуема. Я не хотела открывать вам эту тайну, но все равно, рано или поздно... ее чувства не укрылись бы от вас. Так лучше вам узнать об этом от меня. Уезжайте, мастер Рэвенсвуд! Я все сказала. Если вы останетесь под кровлей сэра Уильяма Эштона, не имея твердого намерения жениться на его дочери, вы бесчестный человек; если же вы намереваетесь породниться с ним, вы



глупец, ослепленный страстью, глупец, который сам спешит навстречу собственной гибели.

При этих словах слепая встала, взяла костыль, добралась до хижины и, войдя в нее, закрыла за собой дверь. Рэвенсвуд остался наедине с собой.

## Глава XX

*В убежище своем она милей...  
... Наяды древней  
У быстрого ручья – иль Девы Моря.  
На берегу сидящей одиноко.*  
**Вордсворт**

Мрачные предчувствия наполнили душу Рэвенсвуда. Он вдруг увидел себя между двух огней: он оказался в том безвыходном положении, которого так страшился. Общество Люси доставляло ему неизъяснимое наслаждение, тем не менее брак с дочерью человека, бывшего врагом его отца, по-прежнему казался ему невозможным. Даже прощая сэру Эштону обиды, нанесенные роду Рэвенсвудов, и отдавая должное дружескому расположению лорда-хранителя, Эдгар не мог заставить себя подумать о союзе между их домами.

И все же он чувствовал, что Элис сказала правду: он должен был либо тотчас покинуть замок, либо просить руки Люси Эштон. А что, если ее богатый, влиятельный отец откажет ему? Посвататься к мисс Эштон и получить отказ – какое унижение! «Я желаю ей всевозможного счастья, – думал он, – ради нее я прощаю сэру Уильяму Эштону обиды, причиненные моему семейству; но никогда, никогда мои глаза более не увидят ее!» С тяжелым сердцем принял он это решение.

Тут он поднял глаза и вдруг увидел, что вышел на то самое место, где дорога разветвлялась на две: одна вела к источнику Сирены, где, как он знал, его ждет Люси, другая, минуя источник, шла прямо в замок Рэвенсвуд. Прежде чем ступить на тропинку, ведущую в замок, Эдгар с минуту помедлил, стараясь придумать какой-нибудь такой предлог для отъезда, который не показался бы странным. «Срочное письмо из Эдинбурга, – бормотал он, – все равно, что... Главное, скорее прочь отсюда». Но в это мгновение к нему подбежал запыхавшийся Генри Эштон.

– Мастер Рэвенсвуд, – закричал он, – вам придется проводить Люси в замок. Я не смогу пойти с ней: меня ждет Норман. Он идет в обход, и я хочу пойти вместе с ним. Ни за какие сокровища я здесь не останусь. А Люси боится идти одна, хотя бояться уже нечего: всех буйволов давно перебили. Ступайте прямо к ней.

Когда на обеих чашах лежит равный груз, достаточно перышка, чтобы одна из них перевесила. «Не могу же я, – сказал себе Рэвенсвуд, – оставить молодую женщину одну в лесу. Ничего не произойдет, если после стольких встреч я увижусь с нею еще раз.

К тому же было бы неучтивым не сообщить ей о моем намерении покинуть замок».

Убедив себя таким образом не только в благоразумности, но в совершенной необходимости увидеть Люси еще раз, Эдгар свернул на дорожку, ведущую к ротовому источнику, а Генри, удостоверившись, что Рэвенсвуд направляется к его сестре, с быстротою молнии бросился в другую сторону, чтобы разыскать лесника и вместе с ним насладиться любимым занятием. Между тем Рэвенсвуд, разом отбросив все сомнения, спешил к роднику и, достигнув его, увидел Люси, одиноко сидевшую подле развалин.

Она сидела на одном из камней, оставшихся от древнего храма, задумчиво глядя на прозрачную воду, которая, искрясь и играя, обильно струилась, пробиваясь к свету из-под сени мрачного свода, некогда воздвигнутого над источником благоговейной или, быть может, покаянной рукой. Человек суеверный при виде Люси Эштон в ее клетчатой мантилье, с длинными волосами, выбившимися из-под ленты и рассыпавшимися по плечам, вероятно решил бы, что перед ним убитая нимфа фонтана. Но Рэвенсвуд видел перед собой только прелестную девушку, которая теперь – да и могло ли быть иначе, после того как он узнал, что она любит его, – казалась ему еще пленительней. Его решимость покинуть замок таяла, как воск в лучах солнца, и потому он поспешно вышел из чащи и приблизился к Люси. Увидев его, она улыбнулась, но не встала с камня.

– Мой ветреный брат бросил меня здесь одну, – сказала она, – но думаю, что он не заставит себя долго ждать: он легко загорается, но так же быстро остывает!

Рэвенсвуд был не в силах противоречить ей и потому промолчал о том, что Генри отправился в далекую экскурсию и отнюдь не собирается вскоре вернуться. Он опустился подле нее на траву; несколько минут оба молчали.

– Я люблю это место, – проговорила наконец Люси, – журчанье воды, шепот листьев, густая трава, цветы, растущие среди развалин, – все это напоминает мне сцену из рыцарского романа. К тому же об этом источнике говорится в старинном предании, которое я очень люблю.

– Это место считается роковым для рода Рэвенсвудов, – отозвался Эдгар, – и я не могу не согласиться с этим: здесь я впервые увидел мисс Эштон и здесь же должен навеки проститься с нею.

Яркий румянец, выступивший на щеках Люси при первых словах Рэвенсвуда, сменился смертельной бледностью.

– Проститься! – воскликнула она. – Что случилось, отчего вы так внезапно покидаете нас?.. Я знаю, Элис ненавидит... я хочу сказать, не любит моего отца... Она была сегодня очень странная и говорила как-то таинственно. Но я убеждена, что отец искренне благодарен вам за все, что вы сделали для нас. Позвольте мне надеяться, что мы не потеряем вашей дружбы, которой добились с таким трудом.

– О нет, мисс Эштон! Куда бы ни кинула меня судьба, что бы ни случилось со мною, я всегда останусь вашим другом, вашим искренним другом. Но надо мною тяготеет злой рок, и я должен уехать отсюда, если не хочу вместе с собою погубить и других.

– Не уезжайте! – сказала Люси и со свойственной ей простотой и сердечностью коснулась края его одежды, словно пытаясь удержать его. – Не покидайте нас! Мой отец – влиятельный человек, у него много могущественных друзей. Позвольте же ему на деле доказать вам свою благодарность. Я знаю, он уже хлопочет за вас в Тайном совете.

– Возможно, – гордо ответил Рэвенсвуд, – но не стараниям вашего отца, мисс Эштон, а лишь собственным усилиям я хочу быть обязан успехом на избранном мною поприще. А там мне нужны только плащ и шпага, смелое сердце и твердая рука.

Люси закрыла лицо ладонями и, сама того не желая, горько разрыдалась.

– Простите меня, – сказал Рэвенсвуд, взяв ее за руку, которую, она после минутного колебания оставила ему, продолжая другой рукой закрывать себе лицо, – простите меня, я слишком груб, слишком невоспитан, слишком неотесан для такого кроткого и нежного существа, как вы. Забудьте мрачное видение, явившееся на вашем пути, и позвольте мне идти своей дорогой, а я... После разлуки с вами большее несчастье меня уже не может ожидать. Люси все еще плакала, но слезы ее были уже не столь горькими. Чем больше причин называл Рэвенсвуд, доказывая необходимость немедленного отъезда, тем яснее становилось, что на самом деле он был бы рад остаться. В конце концов, вместо того чтобы проститься с Люси, он поклялся ей в вечной любви и услышал ответное признание. Все это произошло так внезапно, слова любви прозвучали так неожиданно, что, прежде чем Рэвенсвуд успел опомниться, нежный поцелуй и пламенные объятия скрепили взаимную клятву.

– Теперь, – произнес Рэвенсвуд после минутного колебания, – я обязан говорить с сэром Уильямом Эштоном. Он должен знать, что мы любим друг друга. Пусть никто не скажет, что, живя под его кровом, я тайно похитил сердце его дочери.

– Говорить с отцом! – нерешительно повторила Люси. – О нет, не делайте этого! – прибавила она мягко. – Подождите, пока решится ваша судьба, упрочится ваше положение в свете и определятся ваши намерения. Я знаю, отец расположен к вам, я уверена – он даст согласие на наш брак, но моя мать...

Люси остановилась: ей было совестно признаться, что сэр Эштон не посмеет дать ответа, не испросив предварительного мнения супруги.

– Ваша мать, Люси? – удивился Рэвенсвуд. – Леди Эштон происходит из дома Дугласов, а они даже в пору наивысшего расцвета охотно роднились с моим семейством. Что может она возразить против меня?

– Я не говорю – возразить... – ответила Люси. – Но она очень ревностно относится к своим

правам.

Она скажет, что ей, как матери, в таком деле принадлежит первое слово.

– Пусть так, – возразил Рэвенсвуд, – но хотя до Лондона и не близко, однако можно, отправив туда письмо, через две недели получить ответ. Я не стану требовать от лорда-хранителя немедленного решения.

– Но, может быть, лучше подождать... подождать несколько недель до возвращения леди Эштон? Когда матушка познакомится с вами и поближе узнает вас, я уверена, она одобрит мой выбор. Но вы совсем незнакомы, и потом эта древняя вражда между нашими семьями...

Рэвенсвуд устремил на Люси пристальный взгляд, словно желая проникнуть ей в душу.

– Люси, – сказал он, – ради вас я нарушил страшную клятву, отказавшись от планов мести, которые долго вынашивал в своем сердце. Я принес эту жертву вашей красоте, еще не зная вас. В ночь после погребения отца я отрезал у себя прядь волос и, предав ее огню, дал зарок мстить его врагам и преследовать их, пока моя злоба не испепелит их как огонь и не развеет их прах.

– Какой грех давать такую клятву! – прошептала Люси, бледнея.

– Да, грех, – ответил Рэвенсвуд, – но было бы еще большим грехом исполнить эту клятву. Ради вас я отрекся от преступных замыслов, хотя вначале сам не сознавал, что было тому причиной, и только увидев вас снова, я понял, как велика ваша власть надо мной.

– Зачем вы вспоминаете об этом сейчас? Зачем говорите мне о ненависти, когда только что говорили о любви, заставив поверить искренности вашего чувства?

– Я хочу, чтобы вы знали, какой ценой я плачу за вашу любовь и что я вправе рассчитывать на вашу верность. Я не говорю, что принес вам в жертву честь нашего рода, последнее оставшееся нам достояние, я не говорю этого и не думаю так, но, что скрывать, люди будут обвинять меня.

– Так вот какова ваша любовь! О, как жестоко вы поступили со мной! Но еще не поздно: если наше обручение роняет вашу честь, я возвращаю вам слово.

Будем считать, что между нами ничего не было сказано. Забудьте меня. Я тоже постараюсь забыть вас.

– Вы несправедливы ко мне, Люси! Клянусь всеми святыми, вы несправедливы ко мне. Если я упомянул о том, какой ценой приобрел я вашу любовь, то лишь для того, чтобы доказать вам, как она дорога мне, и скрепить наши клятвы еще более крепкими узами. Вы должны знать, от чего я отрекся ради права называть вас своею и как буду страдать, если вы покинете меня!

– А почему я должна покинуть вас? Что дает вам право подозревать меня в неверности? Неужели моя просьба отложить объяснение с отцом? Я дам вам любые клятвы, Эдгар. В них нет нужды, но, если это может развеять ваши подозрения, я готова.

Рэвенсвуд каялся, молил о прощении и даже опустил на колени, стараясь загладить свою вину.

И Люси, столь же добрая, сколь и прямодушная, простила ему обидные сомнения. Эта случайная ссора кончилась тем, что влюбленные обменялись залогом верности – обычаем, донине сохранившийся в народе: переломив золотой, от которого отказалась Элис, они разделили его между собой.

– Клянусь никогда не расставаться с этим залогом любви, – сказала Люси и, обвязав лентой половинку монеты, надела ее на шею, прикрыв сверху платком. – Разве что Эдгар Рэвенсвуд потребует обратно свой дар. Но пока я ношу его у себя на груди, мое сердце не будет принадлежать никому другому.

Рэвенсвуд тоже произнес торжественные заверения, пряча вторую половинку поближе к сердцу. Тут они заметили, что за разговором время промчалось незаметно, а их долгое отсутствие могло вызвать неудовольствие, а возможно, даже тревогу в замке. Они встали и только собрались покинуть источник, явившийся безмолвным свидетелем их взаимных клятв, как вдруг в воздухе просвистела стрела и вонзилась в ворона, сидевшего на сухой ветке соседнего дуба.

Птица пролетела несколько ярдов и упала к ногам Люси, обрызгав кровью ее платье.

Люси вскрикнула, а Рэвенсвуд, пораженный и разгневанный, огляделся кругом, отыскивая стрелка, так неожиданно и некстати показавшего им свое искусство. Тот не заставил себя долго ждать и тотчас сам явился перед ними. Это был Генри Эштон, выбежавший из чащи с луком в ру-

ке.

– Я знал, что напугаю вас, – расхохотался мальчик, – вы так увлеклись разговором, что ничего не слышали. Жаль, что птица не шлепнулась вам на голову! О чем это Рэвенсвуд говорил с тобой, Люси?

– Я говорил вашей сестре, что вы суший бездельник: заставляете дожидаться вас столько времени, – ответил за Люси Рэвенсвуд, чтобы дать ей время оправиться от смущения.

– А зачем вам было ждать меня? Я же сказал вам, что собираюсь с Норманом в обход Гейберрийского участка, и просил вас проводить мою сестрицу домой. Мы ходили не меньше часу, не пропустили ни одного оленьего следа, ни одной отметинки, а вы, ленивый пентюх, прохлаждались тут подле Люси.

– Пусть так, мистер Генри, – перебил его Рэвенсвуд. – Но как вы оправдаетесь передо мною в убийстве ворона? Вам известно, что вороны находятся под особым покровительством лордов Рэвенсвудов, и убить одну из этих птиц в присутствии Рэвенсвуда – значит накликать беду? Вас следовало бы примерно наказать.

– Так и Норман говорит. Он провожал меня сюда и, когда мы были на расстоянии выстрела от вас, заметил ворона и сказал, что никогда не видел его так близко от человека. Норман говорит – это не к добру, потому что ворон – ручные, конечно, не в счет – самая дикая птица. Тогда я подкрался поближе и... з-з-з... спустил тетиву – и вот попал! Что, разве плохой выстрел? А ведь я почти не стрелял из самострела – раз десять, не больше.

– Отличный выстрел, – подтвердил Рэвенсвуд. – Из вас выйдет прекрасный лучник, если вы будете упражняться.

– Так и Норман говорит. Да, я не виноват, что мало стреляю из лука. Будь моя воля, я бы его из рук не выпускал. Только отец и учитель не очень-то довольны, да и мисс Люси туда же, дуется, хотя сама способна целый день просидеть у колодца, любезничая с красивым молодым человеком. Можете мне поверить: я раз двадцать заставлял ее за этим занятием.

При этих словах мальчишка взглянул на сестру и внезапно заметил, что его злословие действительно задевает ее, хотя не понимал, почему и как больно он ее ранит.

– Ладно, Люси, не печалься! Если я сказал что-нибудь лишнее, могу взять свои слова обратно. К тому же какое мастеру Рэвенсвуду дело до твоих поклонников, будь их у тебя хоть целая сотня.

Вначале Рэвенсвуду очень не понравились эти речи, но, как человек благоразумный, он принял их за пустую болтовню избалованного мальчишки, который, желая уязвить сестру, ищет местечко почувствительнее. Хотя Эдгар не легко поддавался новым впечатлениям, так же неохотно он расставался и со старыми. Вздорные шутки Генри заронили в его сердце подозрение. Что, если его помолвка принесет ему одно унижение? Что, если его, как это делали с поверженным врагом на триумфе в Риме, сначала выставят напоказ, а затем повлекут прикованным к колеснице победителя, не знающего иных помыслов, кроме удовлетворения своего честолюбия? Безусловно, у него не было никаких оснований для подобных мыслей, и нельзя даже сказать, чтобы он хотя бы на мгновение отнесся к ним серьезно. И разве мог он, встречаясь взглядом с чистыми лазоревыми глазами Люси, питать малейшее сомнение в искренности ее чувств! Но гордость и бедность сделали подозрительным сердце человека, которому при более счастливых обстоятельствах было бы недоступно столь низкое чувство.

Когда они достигли замка, то увидели, что сам сэр Уильям Эштон, встревоженный их слишком долгим отсутствием, вышел им навстречу.

– Если бы мою дочь, – сказал он, – сопровождал другой человек, не доказавший столь блестящим образом свою готовность защищать ее от опасности, я бы очень беспокоился и, наверно, уже послал бы слуг на розыски. Но в обществе мастера Рэвенсвуда, я уверен, ей ничто не грозит.

Люси начала было оправдываться, но, чувствуя себя виноватой, смешалась и замолкла. Рэвенсвуд, пытаясь выручить ее, хотел привести какую-нибудь важную причину опоздания, но тотчас запутался, подобно тому, как человек, вытаскивая товарища из трясины, нередко увязает сам. Трудно предположить, чтобы смущение наших влюбленных ускользнуло от зорких глаз искусного юриста, имевшего обыкновение, как в силу привычки, так и по роду своих занятий, ис-



следовать все уголки человеческого сердца. Но сейчас он предпочел ничего не замечать. Он хотел связать Рэвенсвуда по рукам и ногам, самому же остаться совершенно свободным. Он ни разу даже не подумал, что его дочь может нарушить все его планы, влюбившись в молодого человека, которому, по замыслу лорда-хранителя, она должна была вскружить голову.

«Впрочем, – рассуждал он сам с собой, – если Люси увлечется Рэвенсвудом, а леди Эштон решительно воспротивится этому браку, можно будет съездить с девочкой в Эдинбург или даже в Лондон, подарить ей мантилью из брюссельских кружев и найти любезных кавалеров. Их сладкие речи быстро изгладят из ее памяти образ человека, о котором ей лучше будет позабыть». Таковы были те меры, к которым лорд-хранитель собирался прибегнуть в случае неудачи, а так как он был почти уверен в благополучном исходе своего предприятия, то скорее поощрял, нежели осуждал мимолетную, как ему казалось, склонность дочери к Рэвенсвуду. К тому же, пока молодые люди гуляли в парке, он получил письмо, с которым спешил теперь ознакомить Рэвенсвуда.

Как раз в это самое утро скороход доставил лорду-хранителю письмо от приятеля, упомянутого нами выше, того самого, который, не жалея сил, тайком сколачивал партию патриотов под предводительством самого страшного противника сэра Уильяма, деятельного и честлюбивого маркиза Э\*\*\*. Этот весьма полезный приятель немало преуспел в переговорах с сэром Эштоном: не то чтобы он добился от хитрого вельможи благосклонного ответа, но, во всяком случае, был выслушан им со вниманием. Когда он доложил об этом маркизу, тот ответил старинной французской поговоркой: «Chateau qui parle, et femme qui ecoute, Fun et l'autre va se rendre».<sup>32</sup> Государственный деятель, молча выслушивающий предложение о смене правительства, по мнению маркиза, мало чем отличался от замка, вступившего в переговоры с неприятелем, или красавицы, внимающей словам любви.

Маркиз решил ускорить захват крепости, именуемой лордом – хранителем печати.

Поэтому к посланию друга и союзника маркиза Э\*\*\* было приложено его собственное письмо, в котором он откровенно предлагал без всяких церемоний заехать в замок Рэвенсвуд. Друзья как раз направлялись на юг страны и могли ехать туда любой дорогой; трактиры были отвратительны; с одним из путешественников сэр Эштон состоял в давней дружбе, с другим, хотя и находился в менее близких отношениях, был, однако, достаточно знаком, чтобы это посещение не вызвало подозрений и не дало пищи для пересудов тем, кто пожелал бы приписать его политическим интригам. Сэр Эштон ответил немедленным согласием, однако про себя он решил не делать ни единого шагу далее, чем того потребует разум, под каковым лорд-хранитель понимал собственные интересы.

Два обстоятельства были ему особенно на руку: присутствие Рэвенсвуда и отсутствие супруги. Пользуясь пребыванием Рэвенсвуда в его доме, лорд-хранитель надеялся предупредить всякую возможность опасных враждебных действий со стороны молодого человека, которые тот мог бы предпринять против него под покровительством маркиза. С другой стороны, теперь, когда он намеревался прибегнуть к тактике промедления и оттяжек, Люси подходила ему как хозяйка дома куда больше, чем ее гордая, своенравная мать, которая, несомненно, постаралась бы расстроить его политические планы. Он принялся уговаривать Рэвенсвуда остаться до приезда родственника и без труда преуспел в этом, так как после объяснения у источника Сирены молодой человек уже не испытывал желания немедленно покинуть замок. А Люси и Локхард получили указание заняться – каждый в своих пределах – необходимыми приготовлениями для приема гостей с таким блеском и роскошью, какие по тем временам были совершенно необычны для Шотландии.

## Глава XXI

*Морал  
Сэр, там ждет вельможа,  
Прибывший только что.*

---

<sup>32</sup> Замок, вступающий в переговоры, и женщина, выслушивающая признание в любви, весьма близки к тому, чтобы сдаться (франц.).

*Оверрич  
Ввести немедля  
И делать, что скажу я...  
Готова ль музыка, как я велел,  
Его приветствовать?*

**«Новый способ платить старые долги»**

Несмотря на все свое благоразумие, обширные юридические познания и богатый жизненный опыт, сэр Уильям обладал некоторыми такими чертами характера, которые скорее были под стать трусливому и вкрадчивому выскочке, пробивающему себе дорогу в свете, чем могущественному сановнику, каким он теперь стал; эти черты изобличали врожденную мелочность ума, хотя и изрядно образованного, и плебейскую сущность души, хотя и тщательно скрываемую. Он любил окружать себя роскошью, но не потому, что в силу привычки роскошь сделалась для него необходимостью, а скорее потому, что для него она все еще имела прелесть новизны. Он сам входил во все хозяйственные подробности, и Люси вскоре пришлось увидеть, как краска стыда заливает щеки Рэвенсвуда всякий раз, когда ее отец принимается в его присутствии обсуждать с Локхардом или даже с экономкой такие мелочи, на которые в знатных домах не принято обращать внимания, ибо считается, что они сами собой разумеются.

– Я охотно извиняю волнение сэра Уильяма, – сказал однажды вечером Рэвенсвуд, когда лорд-хранитель вышел из комнаты. – Посещение маркиза – большая честь, и ею нужно дорожить. Но, должен сознаться, я устал от этих мелочных забот по поводу буфетной, кладовой, чуть ли не птичьего двора, – они просто нестерпимы. Право, я предпочитаю бедность «Волчьей скалы» богатству замка Рэвенсвуд.

– Однако, – возразила Люси, – только обращая внимание на все эти мелочи, отец и приобрел те владения...

–.. которые мои предки потеряли, потому что не обращали на них внимания, – докончил за нее Рэвенсвуд. – Пусть так! И все-таки, носильщик всегда останется только носильщиком, даже если за плечами у него мешок с золотом.

Люси вздохнула. Она ясно видела, что ее возлюбленный презирает манеры и привычки ее отца – ее лучшего друга и покровителя, чья нежная любовь столько раз утешала ее, вознаграждая за неласковое, пренебрежительное отношение матери.

Вскоре молодые люди убедились, что на этом разногласия их не кончатся. В те смутные годы религия, этот величайший источник мира на земле, была так дурно и ложно понимаема, что ее обряды и догматы оказались предметом нескончаемых споров и жесточайших распрей. Лорд-хранитель, принадлежавший к партии вигов, само собой разумеется, исповедовал пресвитерианство и время от времени находил нужным проявлять даже больше рвения к делам своей церкви, чем, быть может, действительно чувствовал.

Его дети, конечно, были воспитаны в той же вере.

Рэвенсвуд, как известно, принадлежал к Высокой, или епископальной, церкви. Он не упускал случая указать Люси на фанатизм ее единоверцев, а она, со своей стороны, хотя и не говорила об этом прямо, но давала почувствовать, что ей ненавистно вольнодумство, которое она привыкла считать неотъемлемым свойством англиканской церкви.

По мере того как молодые люди ближе узнавали друг Друга, любовь их не только не уменьшалась, но, напротив, все больше усиливалась, однако к их чувствам примешивалась некоторая горечь. Несмотря на всю свою любовь к Рэвенсвуду, Люси испытывала перед ним какой-то страх. Он обладал душой более возвышенной, более гордой, чем все те люди, с кем ей до сих пор приходилось встречаться; его мысли отличались большей страстностью и свободой, и он открыто презирал многие понятия, в которых она была воспитана. Со своей стороны, Рэвенсвуд видел, что у Люси крайне мягкий, уступчивый нрав и что она легко поддается – по крайней мере ему так казалось – влиянию окружающей ее родни. Он чувствовал, что ему нужна жена с более твердым характером, способная идти с ним рука об руку навстречу бурям так же смело, как и при попутном ветре. Но Люси так искренне была ему предана, она была так прелестна, так нежна и добра, что, как ни хотелось ему видеть в ней больше твердости и решимости, как ни сердился он порой на

нее, видя ее чрезмерный страх, что любовь их может открыться до времени, – он тем не менее чувствовал, что ее мягкость, порою граничившая со слабостью, делает ему еще дороже это существо, отдавшее себя под его покровительство и вверившее ему свою судьбу на радость и горе. Словом, его чувства к Люси в такие минуты вполне можно было описать прекрасными словами нашей бессмертной Джоанны Бейли:

О ты, нежнейшее создание,  
Которое когда-либо цеплялось  
Побегами своими за скалу,  
Прильнешь ли ты ко мне?  
Я – грубый, жесткий,  
Но полюби меня, и я отвечу  
Тебе всем сердцем, честным и правдивым,  
Хоть знаю, что совсем не подхожу  
К столь нежному и кроткому созданиюю.

Таким образом, самое различие их характеров, казалось, должно было в какой-то мере упрочить их любовь. Возможно, узнай они друг друга раньше, прежде чем в порыве страсти связала себя нерушимой клятвой верности, Люси, быть может, страшась Рэвенсвуда, никогда бы его не полюбила, а он, со своей стороны, приняв мягкость и податливость ее характера за недостаток ума, счел бы ее недостойной своего внимания. Но они поклялись любить друг друга, и Люси теперь боялась только одного – чтобы ее гордый возлюбленный не раскаялся в данном им обете, а Рэвенсвуд – чтобы в его отсутствие или в случае возможных препятствий покорная Люси, поддавшись уговорам и настояниям своих близких, не отреклась от данного ему слова.

– Ваши опасения напрасны, – сказала она однажды, когда он, случайно проговорившись, высказал ей свои сомнения. – Зеркало, что отражает на своей поверхности один предмет за другим, сделано из твердых материалов: стекла или стали; а вот мягкий воск навеки сохранит отпечаток дотронувшейся до него руки.

– Это поэзия, Люси, – ответил Рэвенсвуд, – в поэзии же много вымысла, а иногда и лжи.

– В таком случае позвольте мне сказать вам честной прозой, – возразила Люси, – что хотя я никогда не выйду замуж без согласия родителей, но никакая сила, никакие уговоры не заставят меня отдать руку другому, если только вы сами не откажетесь от ваших прав на меня.

У влюбленных было много времени для подобных разговоров. Генри редко досаждал им своим присутствием. Если он не сидел за уроками, с величайшей неохотой слушая учителя, то наслаждался обществом лесников или конюхов, с удовольствием внимая их наставлениям. Что же касается лорда-хранителя, то он проводил утро в кабинете, просматривая корреспонденцию, с тревогой обдумывая разного рода известия, поступавшие со всех концов страны, касательно ожидаемых изменений в шотландской политике, взвешивая силы партий, готовящихся принять участие в борьбе за власть. Остальное время дня он занимался тем, что отдавал, отменял и вновь отдавал распоряжения, делая необходимые приготовления к приему маркиза Э\*\*\*, приезд которого уже дважды откладывался из-за каких-то весьма важных обстоятельств.

Поглощенный этими разнообразными политическими и хозяйственными занятиями, он, по видимому, не замечал, что его дочь и Рэвенсвуд стали неразлучны. Зато соседи, которым всегда до всего есть дело, заметили это и осуждали опрометчивого отца, допуская чрезмерную близость между молодыми людьми. Легкомыслие сэра Уильяма можно было оправдать только тем, что он предназначал их друг для друга. На самом же деле он стремился лишь выиграть время, пока не выяснится, как далеко простирается интерес маркиза к делам молодого родственника и что, в сущности, тот сможет сделать для Эдгара. До выяснения же этих двух вопросов лорд-хранитель твердо решил любыми средствами сохранить за собою свободу действий. Но, подобно многим коварным людям, он горько обманулся в своих расчетах.

Среди лиц, особенно сурово порицавших сэра Уильяма Эштона за то, что он позволяет Рэвенсвуду так долго жить в его доме и ухаживать за мисс Люси, был новый лэрд Гернингтон и

его верный оруженосец и собутыльник, уже известные читателю как Хейстон из Бакло и его приятель капитан Крайнгельт. Бакло наконец получил в наследство огромное имение своей зажившейся двоюродной бабки и значительный капитал в придачу; он тотчас выкупил родовое поместье (по имени которого продолжал называть себя), хотя капитан Крайнгельт и предлагал ему выгоднейший способ помещения денег в финансовое предприятие некоего Лоу, слух о котором как раз докатился до Англии, и предлагал немедленно отправиться для этой цели в Париж. Но Бакло извлек из своих несчастий полезный урок и, несмотря на все усилия Крайнгельта, оставался глух к его предложениям, не имея ни малейшего намерения рисковать недавно обретенной независимостью. Тот, кому пришлось утолять голод овсяными лепешками, а жажду – прокисшим вином,

– заявил он, – кто вынужден был спать в тайнике замка «Волчья скала», тот на всю жизнь научился ценить хороший стол и мягкую постель и уж наверняка постарается впредь не нуждаться в чужом гостеприимстве.

Итак, на первых порах надежды Крайнгельта нагреть руки на богатстве Бакло не увенчались успехом. Тем не менее он извлек немало выгод из счастливой судьбы своего приятеля. Бакло, никогда не отличавшийся особой щепетильностью в выборе друзей, привязался к Крайнгельту; к тому же капитан развлекал его – с ним можно было вместе посмеяться какой-нибудь забавной шутке, а то при случае и над ним самим. Ради личной выгоды капитан готов был стерпеть, как говорится, «и тычок и щелчок», знал толк во всевозможных играх и в охоте, а если лэрду приходила благая мысль распить бутылочку (что случалось довольно часто) – охотно разделял его общество, избавляя от тягостного удела напиваться в одиночестве. Благодаря этим своим достоинствам Крайнгельт подолгу, чуть ли не безвыездно, гащивал в Гернингтоне.

Ничего хорошего от их сближения нельзя было ожидать. Правда, Бакло, как никто другой, знал характер своего приятеля и испытывал к нему величайшее презрение, что, возможно, несколько уменьшило бы дурные последствия этой дружбы. Но при сложившихся обстоятельствах общение со столь дурным человеком расшатало в Бакло те добрые начала, которые были заложены в нем от природы.

Крайнгельт не забыл, с каким презрением Рэвенсвуд сорвал с него личину храбрости и честности, и, мечтая отомстить ему за обиду, не подвергая себя при этом опасности, этот трусливый, но хитрый и коварный негодяй старался внушить Бакло злобные чувства к его недавнему другу. Он не упускал случая напомнить Бакло об отказе Рэвенсвуда принять его вызов и всячески пытался убедить своего покровителя в том, что ему нанесено бесчестье и что необходимо требовать от Рэвенсвуда удовлетворения, пока наконец Бакло решительнейшим образом не приказал ему замолчать, – Согласен, – сказал он, – Рэвенсвуд поступил со мной не как джентльмен. Он не имел права довольствоваться словесным ответом, в то время как я требовал от него удовлетворения. Но он спас мне однажды жизнь, и теперь мы квиты. Если он заденет меня еще раз, я открою новый счет, и уж тогда его милости лучше поостеречься!

– Еще бы! – поддакнул Крайнгельт. – Ставлю полдюжины бордо, что если вы будете упражняться, то уложите его на третьем ударе.

– Вы или ничего не понимаете в этом деле, Крайнгельт, или никогда, не видели, как он фехтует.

– Это я-то ничего не понимаю? Да вы смеетесь надо мной! Правда, я не видел, как фехтует ваш хваленый Рэвенсвуд, но я, к слову сказать, учился у мосье Сагуна, первого *maitre d'armes*<sup>33</sup> в Париже; и у синьора Поко во Флоренции, у мейнгера Дурхштоесена в Вене! И видел, как они владеют шпагой!

– Не знаю, где вы там учились, – ответил Бакло. – Да и учились ли вообще? Впрочем, если и учились, то что из этого?

– А то, что, будь я проклят, Бакло, если когда-либо видел француза, итальянца или голландца, фехтовавшего лучше вас!

– Вы, конечно, лжете, Крайги: но я и вправду смогу постоять за себя! Я владею рапирой, шпагой, саблей, мечом, кинжалом и палашом. А что еще можно требовать от джентльмена?!

---

<sup>33</sup> Учителя фехтования (франц.).



– Ну, в таком случае девяносто девять шотландцев из ста не знают и половины того, что вы. Эти увальни, научившись нескольким приемам, считают, что в совершенстве изучили благородное искусство фехтования. Однажды в Руане в тысяча шестьсот девяносто пятом году я отправился в оперу вместе с шевалье де Шапо, и там мы встретили трех собак Круглоголовых, трех англичан, которые...

– Ваша история длинная? – бесцеремонно перебил его Бакло.

– Это как вам будет угодно, – подобострастно ответил приживал. – Мы с ними расправились быстро.

– Ну, так и рассказывайте побыстрее. А какая это история – веселая или серьезная?

– Чертовски серьезная; уверяю вас, им не поздоровилось: Шало и я...

– Ну, так и слушать не стоит! Налейте-ка лучше стакан бордо из запасов моей покойной тетушки, упокой господь ее душу, и, как говорят добрые шотландцы: *skioch doch na skiaill*.<sup>34</sup>

– Вот точь-в-точь так же говаривал и сэр Эван Дху, когда мы с ним воевали в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году: «Крайнгельт, – говорил он, – вы храбрый солдат, но у вас есть один недостаток...»

– Ну, знай он вас, как я, он нашел бы их еще двадцать. Однако к черту все ваши рассказы. Провозглашайте тост.

Крайнгельт встал, подошел на цыпочках к двери, выглянул и, убедившись, что никого поблизости нет, тщательно ее затворил; затем он возвратился к столу, надел набекрень обшитую золотым позументом шляпу и, взяв в одну руку стакан, а другую приложив к эфесу шпаги, произнес:

– За здоровье нашего короля, что по ту сторону моря!

– Послушайте, капитан Крайнгельт! – воскликнул Бакло. – Я не собираюсь излагать вам свои мысли по этому поводу: я слишком чту память моей достойной тетушки леди Гернингтон, чтобы пожертвовать ее земли и доходы на заговор против законных властей. Когда король Иаков придет в Эдинбург во главе тридцатитысячного войска, тогда я сообщу вам, что я думаю о его праве на престол. Но я не такой дурак, чтобы лезть в петлю и рисковать своим состоянием. Так что, ежели вам охота салютовать шпагой и поднимать бокал, предлагая мятежные тосты, ищите себе другое место и другого приятеля.

– Ну-ну, – примирительно сказал Крайнгельт, – провозгласите тост сами, а за мною дело не станет: с вами я готов выпить хоть бездонную бочку.

– Мой тост стоит того, дружище, – заявил Бакло. – За здоровье мисс Люси Эштон! Что вы на это скажете?

– Согласен! – воскликнул капитан, поднимая бокал. – Самая красивая девушка во всем Лотиане.

Очень жаль, что этот старый интриган, окаянный виг, ее папаша, отдает ее за какую-то голь перекатную, за нищего спесивца Рэвенсвуда.

– Ну, это еще неизвестно, – сказал Бакло таким тоном, что, несмотря на все его видимое равнодушие, Крайнгельт взглянул на него с жадным любопытством: по-видимому, капитан надеялся удостоиться доверия своего покровителя и, узнав его тайну, сделаться ему тем самым необходимым, – стоило ли довольствоваться ролью приживала, которого едва терпят, если хитростью и усердием он мог приобрести права на постоянную благосклонность патрона.

– А мне казалось, что это дело решенное, – сказал он, помолчав с минуту. – Они всегда вместе, и во всей округе, от Ламмерло и до Трапрэна, только и разговору, что про их свадьбу.

– Пусть себе болтают. Я-то лучшие знаю. За здоровье мисс Люси Эштон!

– Я на коленях выпил бы за ее здоровье, если бы знал, что у нее хватит духу натянуть нос этому чертову гранду.

– Натянуть нос! – сердито повторил Бакло. – Попрошу вас, Крайнгельт, никогда не употреблять таких вульгарных выражений, когда вы говорите о мисс Эштон.

– Как! Разве я сказал «натянуть нос»?.. «Сбросить», дорогой мой, клянусь Юпитером, я хотел сказать – «сбросить», – заюлил Крайнгельт,

---

<sup>34</sup> Не порть попойки проповедью (шотланд.).

– Надеюсь, она сбросит его, как мелкую карту в пикете, и прикупит червонного короля. Вы понимаете, кого я разумею под червонным королем? Но все-таки...

– Что – все-таки?

– Но все ж таки я точно знаю, они часами гуляют одни по полям и лесам.

– Это все дурацкие штучки ее отца: он, кажется, уже впал в детство. Ну, ничего, Люси без труда забудет эти глупости, которые ей успели вбить в голову.

А теперь налейте-ка еще вина, капитан, сейчас я вас обрадую: я доверю вам тайну, посвящу вас в заговор.

Для вашего друга готовятся сети – только сети самые обыкновенные.

– Речь идет о свадьбе? – воскликнул Крайгенгельт, и крайнее огорчение отразилось на его лице: он предвидел, что эта женитьба сделает его положение в Гернингтоне весьма шатким, и ему не придется благоденствовать, как в счастливые дни, пока его покровитель еще холост.

– Да, приятель, о свадьбе! Но с чего это наш доблестный воин вдруг пал духом? Куда исчез румянец с алых его щек? Для вас за этим столом всегда найдется местечко, а на столе – тарелка, а рядом с ней – стакан, и они будут полны до краев, даже если против вас ополчатся все юбки в Лоттиане... Ну-ну! Уж кто-кто, а я не дам водить себя на помочах!

– Все так говорят, – вздохнул Крайгенгельт, – и мои дорогие друзья тоже; но, черт возьми, не знаю почему, только женщины меня терпеть не могут и всегда ухитряются выжить из дому еще во время медового месяца.

– Значит, надо продержаться первый месяц, а там, возможно, дослужишься и до пожизненной пенсии.

– Вот это мне никогда не удавалось, – уныло ответил бравый капитан. – Уж какими друзьями мы были с лэрдом Кэстл-Куди – прямо водой не разольешь: я ездил на его лошадях, занимал деньги у него, занимал деньги для него, приваживал его соколов, советовал, как выгоднее заключать пари, а когда ему вздумалось жениться, сосватал ему Кэти Глег, в которой был уверен, насколько вообще мужчина может быть уверен в женщине. И что же? Не прошло и двух недель после свадьбы, как она, словно по накатанной дорожке, выпроводила меня за ворота.

– Успокойтесь, – рассмеялся Бакло, – я, кажется, непохож на Кэстл-Куди, а Люси – на вашу Кэти Глег. Впрочем, нравится вам это или нет, я от своего намерения не отступлюсь. Сейчас меня интересует другое: хотите помочь мне в этом деле?

– Помочь вам! – воскликнул Крайгенгельт. – Да для вас, лучшего из людей, самого дорогого моего друга, я готов босым обежать весь свет. Назовите только – что, где, когда и как надо сделать, и нет той службы, какую я не сослужил бы вам.

– Ну, так вам придется проскакать для меня двести миль.

– Хоть тысячу! Какой же это труд?! Мне это ничего не стоит! Сейчас же велю оседлать коня.

– Подождите. Выслушайте прежде, куда и зачем вас посылают. Я, кажется, говорил вам, что у меня в Нортумберленде есть родственница, некая леди Бленкенсоп. В то время как я был наг и нищ, я имел несчастье потерять ее расположение. Но с тех пор как фортуна начала мне улыбаться вновь, дражайшая леди любезно обратила ко мне свой лик.

– Черт побери всех этих лицемерных потаскух! – воскликнул капитан трагическим тоном. – Вот Джон Крайгенгельт, так это настоящий друг, в счастье и в несчастье. – в бедности и в довольстве; вы это знаете, Бакло!

– Я ничего не забыл, Крайгенгельт. Как же! Я прекрасно помню, что, когда я попал в тиски, вы пытались упечь меня в солдаты не то к французскому королю, не то к претенденту; к тому же, разузнав – вам это, конечно, было известно, – что старуха Гернингтон дышит на ладан, вы не отказались ссудить мне несколько золотых. Ну-ну, не хмурьтесь, Крайгенгельт: я не сомневаюсь, что вы меня по-своему любите, это уж моя беда, если мне сейчас больше не с кем посоветоваться. Впрочем, возвратимся к леди Бленкенсоп; вы, вероятно, знаете, что она очень дружна с герцогиней Сарой.

– Вот как! Дружна с Салли Дженингс! Хороша же ваша тетушка!

– Помолчите и поберегите для другого раза ваши торийские глупости, – остановил его Бакло. – Так вот, я говорю, эта самая моя родственница познакомилась у герцогини Марлборо с леди

Эштон, женой лорда-хранителя, или, лучше сказать, леди – хранительницей лорда-хранителя. На обратном пути из Лондона она удостоила визитом леди Бленкенсоп и сейчас гостит у нее в замке на берегах Уансбека.

Ну, и так как у этих высокопоставленных леди не принято считаться с мнением мужа в семейных делах, то им заблагорассудилось, не осведомившись о намерениях сэра Уильяма Эштона, обсудить вопрос о браке между Люси Эштон и вашим покорным слугой.

Леди Эштон выступила как полномочный представитель дочери и мужа, а тетушка Бленкенсоп без моего ведома защищала мои интересы. Можете себе представить, каково было мое удивление, когда в один прекрасный день мне сообщили, что брачный договор, который в некоторой степени меня касается, почти заключен, прежде чем я дал на то свое согласие.

– Ловко! Только это не по правилам игры! – воскликнул Крайнгельт. – Ну, и что же вы ответили?

– В первую минуту решил послать к чертям и договор и старых хрычовок-свах, чтобы не совали нос не в свое дело, ну а потом рассмеялся и, поразмыслив, пришел к заключению, что мне предлагают выгодную и вполне подходящую партию.

– По-моему, вы только однажды видели свою невесту... да и то в маске. Вы, кажется, сами мне об этом говорили.

– Ну и что же?! Она мне тогда очень понравилась. Я не забуду, как Рэвенсвуд обошелся со мною... выгнал из замка и отправил обедать с лакеями, потому что он, дескать, принимал в своей нищей норе лорда – хранителя печати и его дочь. Будь я проклят, если не отплачу ему за эту обиду. Я сыграю с ним шутку похлеще.

– Так и надо! Молодец, – просиял Крайнгельт, видя, что дело принимает приятный для него оборот. – Если вы отобьете у него красотку, он же лопнет со злости!

– Едва ли, – усмехнулся Бакло. – Его сердце подчинено рассудку и закалено философией – штука, о которой нам с вами, Крайнгельт, слава богу, ни чего не известно. Но я нанесу удар его гордости, а мне только это и нужно.

– Пойдите! – воскликнул капитан. – Теперь я понимаю, почему он так непристойно выпроводил вас из своей полуразвалившейся башни. Вы думаете, он стыдился вашего общества? Ничего подобного! Он просто боялся соперничать с вами.

– Вы думаете, Крайги? Нет, черт возьми! Он гораздо красивее меня!

– Кто – он? – возмутился приживал. – Да он черен, как висельник. Рост у него, конечно, хороший, но, по мне, лучше, когда мужчина не так высок, но зато дороден и бел лицом.

– Чумы на вас нет, Крайнгельт, – прервал его Бакло, – да и я хорош: развесил уши. Будь я горбат, вы, верно, заявили бы, что горб – лучшее украшение мужчины. Ну, а что касается Рэвенсвуда... Он тогда не посчитался со мной, а теперь я не посчитаюсь с ним, и, если мне удастся отбить у него Люси Эштон, я отобью ее. – Отбить? В два счета. Ваши козыри, пик – раз, пик – два, три – делаем капот. Все взятки ваши.

– Уймите ваше картежное красноречие, Крайги, – остановил его приятель. – Сватовство уже изрядно продвинулось. Во всяком случае, я принял предложение своей родственницы, договорился о приданом, вдовьей доле наследства в случае моей смерти и обо всем прочем. Все решится окончательно, как только леди Эштон возвратится домой. Известно, что она полностью распоряжается и дочерью и сыном. А пока высокочтимые леди просят прислать им доверенное лицо с необходимыми бумагами.

– Клянусь этим вином, ради вас я готов скакать на край света! Хоть до стен Иерихона! Хоть до престола самого пресвитера Иоанна!

– Охотно верю, Крайги, что вы не откажетесь помочь мне в моих делах, в особенности если рассчитываете при этом выгодно устроить свои. Конечно, этот пакет можно бы отправить с кем угодно, но в этом деле у меня на вас особые виды. Постарайтесь в разговоре с леди Эштон как бы невзначай упомянуть о том, что Рэвенсвуд гостит у лорда-хранителя и часто видится с Люси. Вверните, между прочим, что все кругом только и говорят о визите маркиза Э\*\*\*, которого ждут, чтобы огласить помолвку ее дочери с Рэвенсвудом. Мне очень важно знать, как посмотрит на их пашни леди Эштон. Я не хочу, черт возьми, братья за это дело, если Рэвенсвуд сможет обскакать

меня: у него и так много шансов.

– Ну, что вы, мисс Эштон слишком умна... Я в этом убежден, и потому еще раз за ее здоровье.

Будь у меня время, я осушил бы кубок, стоя на коленях, а если нашелся бы негодяй, который отказался бы поддержать мой тост, я заставил бы его проглотить собственный язык.

– Потиху, Крайгенгельт, вы попадете в общество знатных леди, – наставительно сказал Бакло. – Пожалуйста, попридержите язык и не поминайте черта на каждом слове. Впрочем, я напишу им, что вы человек грубоватый и неотесанный.

– Да, да, – закивал Крайгенгельт, – простой, грубоватый, но честный и прямодушный воин.

– Ну, насчет вашей честности и воинских доблестей позвольте усомниться. Но как бы там ни было, а вы мне нужны: необходимо пришпорить леди Эштон, – Не беспокойтесь! – воскликнул капитан. – Я ее так подхлестну – прискачет сюда галопом, как корова, что мчится, задравши хвост, спасаясь от слепней.

– Да, вот еще что, Крайгенгельт, – продолжал Бакло. – Ваши сапоги и камзол достаточно хороши для трактира, но в гостиную в таком виде войти нельзя. Пожалуйста, обзаведитесь чем-нибудь поприличнее. Вот деньги на расходы.

– Ну, знаете, Бакло... Клянусь честью, вы меня обижаете. Впрочем,

– добавил Крайгенгельт, опуская деньги в карман, – раз вам так хочется... пожалуйста... я покоряюсь.

– Итак, на коня и в путь, как только будет готово платье. Можете взять гнедую кобылу, черт с вами, дарю ее вам.

– Пью за удачный исход моего посольства! – провозгласил довольный эмиссар, опрокидывая в рот содержимое кружки, вмещавшей не меньше полпинты.

– Спасибо, Крайги. Налейте-ка и мне. Бояться нам нечего. Разве что отец или дочь вздумают заупрямиться. Но говорят, леди Эштон вертит ими, как хочет. Да, будьте осторожны и не оскорбите ее некстати сказанной похвалой якобитам.

– Да, да, она ведь сторонница вигов, приятельница Салли Марлборо. Ну, я, слава богу, не фанатик и, когда нужно, могу служить под любым знаменем. Я сражался в армии Джона Черчила не хуже, чем в войсках нашего Данди или у герцога Берика.

– Вот тут я охотно вам верю, Крайги, – сказал хозяин дома. – Не откажите в любезности спуститься в погреб и притащить бутылочку бургундского тысяча шестьсот семьдесят восьмого года. Оно в четвертой ячейке справа. Знаете что, Крайги, пировать так пировать! Тащите уж полдюжины. Ей богу! Мы сегодня повеселимся всласть!

## Глава XXII

*Увидели зеленых молодых  
И четверней упряжку.  
«Герцог против герцога»*

Получив новое платье, Крайгенгельт отправился выполнять возложенное на него поручение. Усердно погоняя коня, он быстро совершил свое путешествие и ловко устроил дела патрона, вполне оправдав его доверие. Как доверенное лицо мистера Хейстона Бакло, Крайгенгельт был принят обеими дамами на редкость любезно, ибо, заранее расположенные к незнакомцу, они, как это часто бывает, находили, по крайней мере в первое время, достоинства в его недостатках и совершенства в его пороках. Хотя леди Эштон и леди Бленкенсоп привыкли к хорошему обществу, они во что бы то ни стало желали видеть в друге мистера Хейстона любезного, отлично воспитанного джентльмена и вполне в этом преуспели.

Правда, Крайгенгельт был теперь превосходно одет, что, конечно, имело немалое значение. К тому же благородные дамы приписывали его наглый тон честному простодушью солдата, его бахвальство принимали за храбрость, а его дерзости – за острословие.

Однако, дабы читатель не обвинил нас в нарушении правдоподобия, так же как и ради оправдания досточтимых леди, мы считаем своим долгом присовокупить, что их проницательный



ум был в то время несколько притуплен, а чувство благосклонности, напротив, обострено, ибо по счастливой случайности Крайгенгельт явился как раз в тот момент, когда им недоставало партнера для партии в триктрак, в каковой игре, как, впрочем, и во всех других, наш бравый капитан то ли благодаря умению, то ли благодаря удаче считался непревзойденным.

Убедившись в благосклонности хозяйки дома и ее высокопоставленной гостьи, Крайгенгельт принялся хлопотать о делах своего покровителя. Задача была не слишком трудной, ибо леди Эштон чрезвычайно доброжелательно относилась к этому браку, предложенному леди Бленкенсоп отчасти из добрых чувств к родственнику, отчасти же из любви к сватовству.

По мнению леди Эштон, Бакло вполне подходил для ее «ламмермурской пастушки», тем более что он, как утверждали, уже избавился от своих расточительных привычек. Этот брак обеспечивал Люси прекрасное состояние и мужа – достойного сельского джентльмена. Леди Эштон считала, что в этом случае судьба ее дочери была бы устроена самым приличным образом. К тому же, унаследовав поместье Гернингтон, Бакло приобрел значительное политическое влияние в соседнем графстве, где находились также и родовые земли Дугласов, леди же Эштон давно уже лелеяла мысль о том, чтобы ее первенец Шолто был избран членом английского парламента от этого графства, а потому тотчас рассудила, что союз с Бакло поможет осуществить эту заветную мечту.

Крайгенгельт, отнюдь не страдавший отсутствием сообразительности, сразу понял, куда клонятся желания леди Эштон, и повел атаку в нужном направлении.

– Бакло, конечно, и сам мог бы выдвинуть свою кандидатуру в парламента, – заметил он как бы невзначай, – успех обеспечен... Пройдет навверняка. У него среди избирателей два двоюродных брата, шесть дальних родственников, его собственный управляющий и камердинер – все они проголосуют по его указке. Да и другие, кто из любви, а кто из страха, отдадут свои голоса за Гернингтона. Только Бакло так же интересно лезть в первый ряд, как мне играть в подкидного дурака. Жаль, что некому помочь ему добрым советом и подсказать, как лучше употребить свое влияние.

Леди Эштон внимательно и благосклонно выслушала слова капитана, втайне решив взять на себя заботу о том, как распорядиться политическим влиянием будущего зятя и повести дело в интересах своего первенца Шолто, а также и других заинтересованных лиц.

Убедившись, что ее светлость уже достаточно разгорячена, капитан решил, как сказал Бакло, дать шпоры. Он сообщил о положении дел в замке Рэвенсвуд и, упомянув о длительном пребывании там наследника этого имени, пересказал все слухи, ходившие на этот счет среди соседей (хотя, черт возьми, он, Крайгенгельт, не придавал им никакого значения! – в планы капитана не входило проявлять особое беспокойство относительно этого предмета). По покрасневшимся щекам леди Эштон, дрогнувшему голосу и сверкающим глазам он без труда догадался, что его собеседница не на шутку встревожилась, – удар попал в цель. С некоторых пор супруг писал леди Эштон не так часто и не столь аккуратно, как она того требовала; она оставалась в полном неведении относительно всех интересных событий последних дней: ей ничего не сообщили ни о посещении лордом-хранителем башни «Волчья скала», ни о госте, которого с таким радушием принимали в замке Рэвенсвуд. Теперь обо всем этом она узнала случайно, от постороннего человека. В ее представлении подобная скрытность граничила с изменой, чуть ли не с прямым бунтом против ее супружеской власти, и в глубине души леди Эштон поклялась расправиться с лордом-хранителем, как с непокорным вассалом, замыслившим мятеж против своего сюзерена. Негодование жгло ее тем сильнее, что ей приходилось скрывать свои чувства от леди Бленкенсоп и от капитана – то есть от родственницы и от ближайшего друга Бакло, союз с которым был для нее теперь тройне желанным, ибо ее муж, как ей казалось в пылу раздражения, намеревался то ли из политических соображений, то ли из трусости предпочесть Рэвенсвуда ее протее.

Капитан был достаточно опытным стратегом: он тотчас обнаружил, что шнур к подведенной им mine уже начал тлеть, а потому ничуть не был удивлен, когда в тот же день леди Эштон объявила о принятом ею решении сократить свое пребывание у леди Бленкенсоп и на заре следующего дня отправиться в Шотландию со всею быстротой, на какую можно было рассчитывать при тогдашнем состоянии дорог и медленных средствах передвижения.

Несчастный лорд-хранитель! Он и не подозревал, какая гроза несетя на него по дорогам Шотландии в старинной карете шестерней. Всецело поглощенный предстоящим визитом маркиза

Э\*\*\*, он, подобно дону Гайферосу, «забыл красавицу жену». Наконец пришло долгожданное известие, что высокочтимый вельможа беспременно и безотлагательно окажет ему честь прибыть в Рэвенсвуд в тот же день, в час пополудни. В замке поднялась невообразимая суматоха.

Сэр Уильям прошел по всем комнатам, спустился в погреб, где состоялось совещание с дворецким, и даже осмелился заглянуть на кухню, рискуя навлечь на себя гнев повара, который, будучи очень важной персоной, не желал подчиняться даже самой леди Эштон. Удостоверившись в конце концов, что приготовления к приему высокого гостя идут полным ходом, сэр Уильям вместе с Рэвенсвудом и Люси поднялся на террасу замка, откуда можно было обозревать окрестности, дабы не пропустить даже первые приметы, возвещавшие о приближении маркиза. Терраса, примыкавшая к толстой зубчатой стене, тянулась вдоль фасада на высоте второго этажа; посетители попадали во двор только через ворога, крыша которых соединялась с террасой широкой, пологой лестницей. Это сооружение придавало замку скорее вид богатого загородного дома, чем укрепленной крепости, – по-видимому, в те времена, когда лорды Рэвенсвуды строили себе жилище, они хотя и не забывали о возможности нападения, тем не менее были уже твердо уверены в своем могуществе и полной безопасности.

С террасы открывался великолепный вид на окрестности и – что в настоящих обстоятельствах было особенно важно – на две дороги, из которых одна шла на восток, а другая на запад. Спускаясь с разных сторон горного хребта, возвышающегося на горизонте, эти дороги постепенно сближались и наконец почти у самых ворот парка сходились в одну.

Все взоры были устремлены на запад, откуда ждали предвестников появления маркиза: лорд-хранитель смотрел на дорогу с чувством волнения и тревоги, дочь его не спускала с нее глаз из любви к отцу, а Рэвенсвуд – из любви к дочери, хотя поведение сэра Эштона вызывало в нем тайную досаду.

Ждать пришлось недолго. Сначала во главе кортежа появились два скорохода, одетых во все белое, в черных шапочках и с длинными жезлами. Они бежали впереди кареты и всадников, искусно сохраняя предписанное этикетом расстояние. Быстро мелькающие ноги, равномерно колышущиеся тела и ровно вздымающиеся груди этих чудо-бегунов, казалось, бросали вызов усталости. В старинных пьесах часто упоминаются эти скороходы (сошлюсь хотя бы на «Свет помешался, господа» Мидлтона), да и старики в Шотландии, наверное, еще помнят те времена, когда скороходы составляли необходимую принадлежность парадного выезда вельможи. За этими блестящими метеоритами, которые неслись с такой скоростью, словно сам ангел смерти преследовал их по пятам, показалось облако пыли, поднятое всадниками, скакавшими впереди, позади и по бокам кареты маркиза.

В те времена привилегии аристократии не были пустым звуком. Толпы одетых в ливреи лакеев, пышный выезд, внушительный, чуть ли не воинственный вид вооруженной свиты – все это подымало вельможу на недосягаемую высоту по сравнению с простым лэрдом, который обычно путешествовал в сопровождении одного или, в лучшем случае, двух слуг; что же касается купцов и прочей торговой братии, то о них и говорить нечего: с равным успехом они могли бы помышлять о том, чтобы подражать королевским выездам. Нынче же все переменялось; даже я, Питер Петтисон, отправившись недавно в Эдинбург, имел честь сидеть в дилижансе, как говорится, бок о бок с английским пэром. В старину же все было совсем по-иному, и маркиз, которого столь долго и безуспешно ждали в замке, теперь приближался к нему со всей торжественностью и пышностью, какой обставляла себя аристократия былых времен. Сэр Уильям был так поглощен представшей его взору картиной и так волновался, как бы слуги не допустили какой-нибудь ошибки в церемониале торжественной встречи, что даже не расслышал восклицания сына:

– Смотрите, с другой стороны спускается еще одна карета шестерней. Неужели она тоже принадлежит маркизу?

Только когда мальчик, дернув отца за рукав, заставил его обернуться,

Тот обратил свой взор и увидал  
Ужасную картину.

Не могло быть никаких сомнений: еще одна карета шестерней, в сопровождении четырех слуг; во весь опор неслась по восточной дороге; трудно было сказать, который из двух экипажей, приближавшихся к дому с разных сторон, первым окажется у ворот.

Один экипаж был зеленый, другой голубой, и никогда зеленые и голубые колесницы не возбуждали такого волнения в цирках Рима или Константинополя, какое это видение породило в душе лорда – хранителя печати. Кто не помнит, какой ужас охватил умирающего распутника, когда его приятель, пытаясь излечить несчастного от навязчивой идеи – тот уверял, что в урочный час его посещает призрак, – нарядился привидением и явился к постели больного.

«Mon Dieu! – воскликнул грешник, испуская дух. – Il y en a deux!».<sup>35</sup>

С не меньшим трепетом лорд-хранитель взирал сейчас на раздвоившуюся карету: в голове у него мутилось. В эту эпоху строжайшего этикета никто из соседей не осмелился бы явиться так бесцеремонно.

Разум подсказывал ему, что то могла быть только леди Эштон. Содрогаясь от страха, он предугадывал причину столь внезапного и неожиданного возвращения. Он понимал, что «попался». Общество, в котором сейчас застанет его жена, несомненно придется ей не по вкусу. Сэру Эштону оставалась единственная надежда – положиться на присущее леди Эштон чувство приличия, которое одно лишь могло удержать ее от публичного скандала. Он был так растерян и напуган, что совершенно забыл о церемониале, придуманном им для встречи маркиза.

Страх владел не только им одним. Люси, бледная как смерть, стояла рядом с Рэвенсвудом, в отчаянии сжимая руки.

– Это она! Это мать!

– Ну, так что же? – вполголоса спросил ее Рэвенсвуд. – Отчего вы так встревожены? Мне кажется, возвращение хозяйки дома после столь долгого отсутствия должно вызывать в ее близких несколько иные чувства, чем смятение и страх.

– Вы не знаете леди Эштон, – ответила Люси прерывающимся от ужаса голосом. – Что она скажет, встретив вас здесь!

– Очевидно, я, и в самом деле, слишком загостился в вашем доме, если мое присутствие может показаться леди Эштон предосудительным, – надменно сказал Рэвенсвуд. – Милая Люси, – прибавил он ласково, желая успокоить девушку, – вы, как малое дитя, боитесь леди Эштон. Она мать семейства, дама из высшего общества, женщина, превосходно знающая свет и свои обязанности по отношению к мужу и его гостям.

Люси молча покачала головой и тотчас, словно мать, которая пока еще находилась в полумиле от замка, могла увидеть и осудить ее поведение, быстро отошла от Рэвенсвуда и, опершись на руку брата, направилась в противоположный конец террасы. Лорд-хранитель поспешил вниз, к воротам, забыв пригласить с собой Рэвенсвуда, и таким образом, тот остался один, покинутый и, так сказать, отвергнутый хозяевами замка.

Подобное обращение не могло понравиться молодому человеку, столь же гордому, сколь и бедному.

Рэвенсвуд полагал, что, отказавшись от стародавней вражды и приняв приглашение сэра Уильяма Эштона, он тем самым оказал ему честь и был вправе рассчитывать на почтительное к себе отношение.

«Я могу извинить Люси, – думал он, – она еще очень молода, застенчива и чувствует себя виноватой, обручившись со мной без согласия матери. Все же ей следовало бы помнить, кому она дала слово, и не заставлять меня думать, что она стыдится своего выбора. Что же касается лорда-хранителя, то он, завидев карету леди Эштон, совершенно растерялся, даже изменился в лице. Посмотрим, чем все это кончится: если замечу, что я здесь лишний, то немедленно уеду отсюда».

Погруженный в эти размышления, Эдгар спустился с террасы и, пройдя в конюшню, приказал оседлать свою лошадь, чтобы в случае необходимости немедленно покинуть замок.

Между тем кучера обеих карет, приближение которых вызвало такое смятение в замке, наконец заметили друг друга и сообразили, что, спускаясь различными дорогами, они стремятся к

---

<sup>35</sup> Боже мой! Их двое! (франц)

общей цели – к центральной аллее парка. Леди Эштон, намереваясь объясниться с мужем до прибытия гостей, кто бы они ни были, приказала скакать во весь опор. Увидев, что противник натягивает поводья, возница маркиза, не желавший ронять собственное достоинство и честь своего господина, решил, как и подобало истинному представителю этой корпорации во все времена и у всех народов, не уступать пальму первенства. К ужасу лорда-хранителя, это соперничество возниц, которые, мрачно пожирая друг друга глазами и яростно орудуя кнутом, мчались с горы со все увеличивающейся скоростью, сокращало и без того уже ничтожное число минут, еще оставшихся ему на размышление.

Единственное, что могло спасти сэра Эштона, – это столкновение карет, при котором либо жена его, либо маркиз сломали бы себе шею. Мы не беремся утверждать, что сэр Эштон непременно желал этого, но, если бы несчастье произошло, он, надо полагать, недолго оставался бы безутешен. Как бы то ни было, но судьба судила иначе. Хотя леди Эштон никого и ничего не боялась, она все же поняла, в какое смешное положение она себя ставит, стремясь опередить знатного гостя у ворот собственного замка, а потому, подъезжая к аллее, распорядилась сдержать лошадей, пропустив вперед чужой экипаж. Кучер охотно выполнил это указание, последовавшее как раз вовремя, чтобы спасти его честь, ибо лошади маркиза были лучше или, во всяком случае, свежее его коней. Итак, он убавил шаг, и зеленая карета вместе со всем эскортом с быстротою вихря первая влетела в аллею. Но как только разодетый возница маркиза убедился, что *pas d'avance*<sup>36</sup> осталось за ним, он тоже поехал медленнее, и экипаж маркиза, сопровождаемый многочисленной свитой, торжественно покати к замку по обсаженной вязами аллее. Карета леди Эштон на некотором расстоянии медленно следовала за ним.

подавив в себе страх и смущение, сэр Уильям Эштон вместе с младшим сыном и дочерью ждал гостя у ворот, ведущих во внутренний двор замка; несколько поодаль стояли его многочисленные слуги всех рангов, одни – в ливреях, другие в обычном платье. В те времена знать и дворянство Шотландии окружали себя невероятным количеством челяди: труд дешево стоил в стране, где рабочих рук было куда больше, чем работы.

Люди, вышколенные подобно лорду-хранителю, прекрасно владеют собой и умеют казаться невозмутимыми даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. Поэтому, когда маркиз вышел из кареты, сэр Эштон встретил его с отменной учтивостью и, проводив в большой зал, выразил надежду, что гость остался доволен путешествием. Маркиз был высокого роста и хорошо сложен. В его умных, пронизательных глазах горел огонь честолюбия, заменявший живость молодости: лицо имело смелое, гордое выражение, правда несколько смягченное привычной осторожностью и желанием приобрести популярность, вполне естественным для главы политической партии.

Он любезно отвечал на любезные вопросы хозяина, который со всей надлежащей церемонией подвел гостя к мисс Эштон. И тут лорд-хранитель обнаружил, чем на самом деле были заняты его мысли: представляя дочь маркизу, он назвал ее – «моя жена, леди Эштон».

Люси вспыхнула; маркиз не мог скрыть удивления при виде столь юной хозяйки дома, а лорд-хранитель, заставив себя побороть смущение, принялся объяснять причину этой странной оговорки:

– Простите, милорд, я хотел сказать: моя дочь – мисс Эштон. Дело в том, что экипаж леди Эштон только что въехал в аллею вслед за вашей каретой, и...

– Не стоит извинений, милорд, – ответил гость. – Поспешите же навстречу вашей супруге, а я тем временем короче познакомлюсь с вашей прелестной дочерью. Мне, право, совестно, что мои слуги опередили хозяйку у ворот ее собственного дома, но, как известно вашей милости, я полагал, что леди Эштон еще на юге. Сделайте одолжение, милорд, не церемоньтесь, идите встречать жену.

Именно этого и добивался сэр Уильям, а потому, не теряя ни минуты, воспользовался любезным разрешением маркиза. В глубине души он надеялся, что леди Эштон, сорвав свой гнев на нем, милостиво согласится принять его гостей и соблюсти необходимые приличия.

---

<sup>36</sup> Поле боя (франц.).



Карета остановилась, и внимательнейший из мужей с готовностью предложил жене руку. Однако, не удостоив склонившегося перед ней супруга даже взглядом, леди Эштон оттолкнула его и обратилась за помощью к капитану Крайнгельту, который, сопровождая ее в качестве *cavalierie sergente*,<sup>37</sup> теперь стоял у кареты с непокрытой головой. Опираясь на руку этого почтенного джентльмена, леди Эштон миновала двор, отдав по пути несколько приказаний слугам, но так и не сказав ни слова сэру Уильяму, хотя он всячески старался обратить на себя ее внимание. Она даже не позволила ему идти рядом с собой, а заставила плестись следом. В зале они застали маркиза, оживленно беседующего с Рэвенсвудом;

Люси, воспользовавшись первым предложением, скрылась. Все, кроме маркиза, казались крайне смущенными; даже Крайнгельт, несмотря на всю свою наглость, не сумел скрыть страха при виде Рэвенсвуда; что же касается остальных, то они живейшим образом ощущали всю неловкость того положения, в котором неожиданно для себя оказались.

Так и не дождавшись, чтобы сэр Уильям представил его жене, маркиз решил наконец сделать это сам.

– Лорд-хранитель, – сказал он, любезно склоняясь перед леди Эштон,

– только что, представляя меня вашей дочери, по ошибке назвал ее женой. Я бы не удивился, если бы он обмолвился вторично, назвав вас дочерью. Вы совсем не изменились за эти несколько лет, что прошли со времени последней нашей встречи. Надеюсь, леди Эштон не откажет в благосклонном приеме старому знакомому.

Маркиз был уверен, что леди Эштон не позволит себе ответить грубостью на его учтивые слова и, несколько помедлив, продолжал:

– Миледи, я прибыл сюда в качестве примирителя и потому прошу позволения представить вам моего молодого родственника, мастера Рэвенсвуда.

Леди Эштон поневоле пришлось присесть перед Рэвенсвудом, но она проделала это с таким высокомерным и пренебрежительным видом, что ее реверанс был равнозначен грубому отказу. Рэвенсвуду также пришлось ответить на приветствие, и он холодно кивнул головой, воздав презрением за презрение.

– Позвольте и мне, милорд, – обратилась леди Эштон к маркизу, – представить вашей милости моего друга.

Крайнгельт тотчас разлетелся к маркизу и с развязностью, которую люди его толка принимают за приятное обхождение, отвесил поклон, описав при этом в воздухе большой круг украшенной золотым позументом шляпой.

– Сэр Уильям, – продолжала леди Эштон, впервые обращаясь к мужу, – за время нашей разлуки мы с вами, как видно, приобрели новых знакомых.

Итак, позвольте мне представить вам одного из тех, кто увеличил число моих друзей: капитан Крайнгельт.

Снова поклон и большой круг расшитой позументом шляпой. Лорд-хранитель милостиво ответил на приветствие капитана, словно никогда не видал его ранее, стараясь всем своим видом дать понять, что жаждет мира между враждующими сторонами и забвения былых обид.

– Позвольте познакомить вас с мастером Рэвенсвудом, – сказал он Крайнгельту, решив и далее следовать взятой на себя роли миротворца.

Но Эдгар, гордо выпрямившись, не удостоил капитана взглядом и ответил с подчеркнутой холодностью:

– Мы с капитаном давние знакомые.

– Давние... давние, – словно эхо отозвался капитан упавшим голосом. Его шляпа снова описала круг, но на этот раз гораздо меньший, чем тот, каким он почтил маркиза и лорда-хранителя.

В это мгновение в зал вошел Локхард в сопровождении трех слуг, несущих вина и закуски, которые, по тогдашнему обычаю, предшествовали обеду.

Как только угощение было подано, леди Эштон попросила позволения покинуть гостей на несколько минут, дабы обсудить с мужем одно неотложное дело.

---

<sup>37</sup> Кавалера (итал.).

Маркиз, разумеется, просил ее оставить все церемонии и ни в чем себя не стеснять. Что же касается Крайнгельта, то он, осушив поспешно два стакана канарского, также предпочел удалиться, ибо перспектива остаться в обществе маркиза и Рэвенсвуда отнюдь его не прельщала: первый внушал ему почтительный страх, а в горой заставлял дрожать от ужаса. Бравый капитан тотчас обратился в бегство, сославшись на необходимость присмотреть за лошадьми и вещами, хотя леди Эштон строго-настрого приказала Локхарду окружить Крайнгельта особым вниманием и позаботиться о том, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. Таким образом, маркиз и его молодой родственник остались в зале одни и могли обсудить оказанный им прием.

Между тем леди Эштон направилась на свою половину, а сэр Эштон с видом приговоренного к казни преступника последовал за ней.

Войдя в спальню, леди Эштон дала волю ярости, которую до сих пор с трудом сдерживала из уважения к приличиям. Пропустив вперед оробевшего лорда-хранителя, она заперла за ним дверь, вынула ключ, обратила к мужу лицо, все еще не утратившее своей гордой прелести, и, сверкая полными злобной решимости глазами, набросилась на ошеломленного сэра Уильяма:

– Я несколько не удивлена, милорд, что за время моего отсутствия вы завели весьма странные знакомства. Они вполне соответствуют вашему низкому рождению и воспитанию. Я заблуждалась, ожидая от вас иного поведения, и признаю, что заслужила постигшее меня разочарование.

– Дорогая леди Эштон, дорогая моя Элеонора, – сказал лорд-хранитель, – будьте же благоразумны, Выслушайте меня, и вы убедитесь, что я действовал» соблюдая честь, равно как и интересы моего семейства.

– О да, не спорю, интересы вашего семейства вы способны блюсти, – возразила разгневанная супруга. – Вы способны заботиться даже о чести вашего семейства, хотя в этом, кажется, нет особой необходимости. Но так как, к несчастью, честь моего рода неразрывно связана с вашим, то не выщипайте, если я хочу позаботиться о ней сама.

– Чего вы хотите, леди Эштон? Чем вы недовольны? Почему, не успев войти в дом после столь долгого отсутствия, вы обрушиваете на меня все эти обвинения?

– Почему? Спросите у своей совести, сэр Уильям.

Спросите себя, что заставило вас изменить своей партии и политическим убеждениям, почему вы вздумали выдать замуж свою единственную дочь за разорившегося, нищего якобита, да к тому же еще и заклятого врага вашего рода?

– Помилуйте, сударыня, не мог же я, вопреки здравому смыслу и приличиям, выгнать из моего дома человека буквально на другой день после того, как он спас жизнь моей дочери и мне?

– Спас жизнь? Слышала я эту историю. Лорд – хранитель печати испугался соловой коровы, а убившего ее бездельника принял за Гая из Уорика. Этак любой мясник из Хэдингтона будет притязать на ваше гостеприимство.

– Леди Эштон, – пробормотал сэр Уильям, – это невыносимо. Ведь я готов на все, лишь бы успокоить вас. Скажите только, чего вы хотите.

– Возвратитесь к вашим гостям, – приказала властолюбивая матрона,

– извинитесь перед Рэвенсвудом и скажите ему, что вы не можете долее держать его у себя в замке, так как к вам пожаловал капитан Крайнгельт и другие гости. Кстати, я действительно жду мистера Хейстона Бакло.

– Помилосердствуйте, сударыня! – взмолился лорд-хранитель. – Как можно! Чтобы Рэвенсвуд уступил место Крайнгельту! Отъявленному картежнику и доносчику! Я едва удержался, чтобы не выгнать этого молодчика из замка, и, признаюсь, был крайне удивлен, увидев его в вашей свите.

– Раз я удостоила его этой чести, – ответила покорнейшая из супругов, – вы можете не сомневаться в его порядочности. Что же касается этого Рэвенсвуда, то с ним поступают точно так же, как он – я об этом имею верные сведения – поступил с одним из моих уважаемых друзей, не так давно имевшим несчастье пользоваться его гостеприимством. Впрочем, выбирайте: или Рэвенсвуд уедет отсюда, или уеду я.

Удрученный и испуганный, сэр Уильям несколько раз прошелся по комнате; страх, стыд и возмущение боролись в нем с привычкой во всем уступать своей дражайшей половине; наконец,

как в подобных обстоятельствах всегда поступают трусливые люди, он решил прибегнуть к *mezzo termine*, то есть к полумерам.

– Я скажу вам прямо, сударыня, что не хочу и не могу обойтись с Рэвенсвудом так неучтиво, как велите вы: он этого не заслужил. Если вам угодно безрассудно оскорблять дворянина в вашем собственном доме, не в моих силах помешать вам в этом. Но служить орудием такого ни с чем не сообразного поступка я не намерен.

– Не намерены?

– Нет, клянусь небом, – решительно заявил сэр Эштон. – Я готов исполнить любое требование, не противоречащее общепринятым приличиям, скажем – прекратить знакомство постепенно... или что-нибудь в таком роде... Но выгнать Рэвенсвуда из замка – нет, на это я не могу и не хочу согласиться.

– В таком случае, мне и на этот раз придется поддержать честь семейства самой, как это нередко случалось и прежде.

Леди Эштон села к столу и быстро набросала не сколько строк. Лорд-хранитель попытался было еще раз предостеречь жену от столь опрометчивого шага, но она отворила дверь и позвала камеристку, находившуюся в соседней комнате.

– Подумайте, что вы делаете, сударыня. Вы превращаете в смертельного врага человека, у которого вскоре не будет недостатка в средствах, чтобы вредить нам.

– Вы когда-нибудь видели, чтобы Дугласы боялись врага? – презрительно улыбнулась леди Эштон.

– Рэвенсвуд горд и злопамятен, как сотня Дугласов и сто дьяволов в придачу. Повремените хотя бы до утра.

– Ни одной минуты, – ответила леди Эштон. – Миссис Патулло, отнесите эту записку молодому Рэвенсвуду.

– Мастеру Рэвенсвуду, сударыня? – переспросила служанка.

– Пусть мастеру, если вам так больше нравится.

– Я умываю руки, – сказал лорд-хранитель. – Спустишь в сад посмотреть, собрал ли садовник фрукты к десерту.

– Ступайте, – промолвила леди Эштон, награждая его взглядом, полным бесконечного презрения. – Благодарите бога, что он дал вам жену, способную радеть о чести семьи с не меньшим рвением, чем вы – о яблоках и грушах.

Лорд-хранитель оставался в саду ровно столько времени, сколько, по его расчетам, нужно было, чтобы переждать, пока отбушует леди Эштон и пройдет по крайней мере первая вспышка гнева у Рэвенсвуда.

Вернувшись в зал, он застал там маркиза, отдававшего распоряжения своим слугам: маркиз был явно разгневан, и когда сэр Уильям рассыпался в извинениях за свое продолжительное отсутствие, резко его прервал:

– Я полагаю, сэр Уильям, вам известна странная записка, которую ваша супруга соизволила написать моему родственнику Рэвенсвуду, – маркиз сделал особое ударение на слове «моему», – и вас едва ли может удивить, что я собираюсь покинуть ваш дом.

Мой родственник уже уехал, не считая нужным проститься с вами, так как все ваше прежнее гостеприимство зачеркнуто этим неслыханным оскорблением.

– Уверяю вас, милорд, – ответил сэр Уильям, принимая от маркиза записку леди Эштон, – я не причастен к этому письму, и мне неизвестно его содержание: я знаю только, что леди Эштон питает неприязнь к Рэвенсвуду и что она очень вспыльчива.

Я искренне огорчен, если она чем-то обидела вашего родственника или если он обиделся на нее. Но, надеюсь, вы понимаете, что женщина...

– Должна вести себя по отношению к высокопоставленным лицам так, как подобает ее собственному высокому положению в свете, – докончил за него маркиз.

– Разумеется, милорд, – согласился бедный лорд-хранитель, – но примите во внимание, что леди Эштон все-таки женщина...

– И как таковая, мне кажется, – снова перебил его маркиз, – должна знать свои обязанности

хозяйки дома. Но вот и она. Надеюсь, я узнаю из ее собственных уст, что побудило ее нанести такое неслыханное и неожиданное оскорбление моему родственнику, который, как и я, находился в гостях у ее светлости.

В эту минуту в зал действительно вошла леди Эштон. Бурное объяснение с мужем и последующий затем разговор с дочерью не помешали ей позаботиться о туалете – наряд ее был очень красив. Любезное выражение лица и величественные манеры придавали ей в эту минуту то особое великолепие, с каким знатная дама должна появляться в подобных случаях.

Маркиз надменно ей поклонился, и она ответила ему с равным высокомерием и холодностью. Тогда, взяв из неподвижной руки сэра Уильяма пресловутое послание, маркиз подошел к виновнице происшествия, намереваясь потребовать у нее объяснения, но она предупредила его:

– Я вижу, милорд, вы хотите начать неприятный разговор. Мне очень жаль, что подобный разговор возникает между нами, особенно сейчас, когда он может омрачить, пусть на короткое время, почтительный прием, который нам подобает оказать вашей светлости. Но таковы обстоятельства. Мистер Эдгар Рэвенсвуд, которому я адресовала эту записку, злоупотребил гостеприимством нашей семьи и доверчивостью сэра Уильяма, вырвав у молодой девушки обещание вступить с ним в брак без ведома ее родителей, которые никогда не дали бы на это свое согласие.

– Это непохоже на моего родственника! – воскликнул маркиз.

– Еще менее это похоже на мою дочь!.. – запротестовал лорд-хранитель.

Но леди Эштон перебила их обоих:

– Ваш родственник, милорд, если мистер Рэвенсвуд действительно имеет честь быть таковым, попытался тайком овладеть сердцем юного и неопытного создания. А ваша дочь, сэр Уильям, была столь глупа, что позволила себе поощрять домогательства этого совершенно неподходящего поклонника.

– Если это все, сударыня, что вы собирались сообщить нам, – гневно воскликнул лорд-хранитель, изменяя своей обычной осторожности и сдержанности, – то вам лучше было бы помолчать и не предавать огласке семейную тайну.

– Простите меня, сэр Уильям, – спокойно ответила леди Эштон, – но милорд вправе знать причину, заставившую меня отказать от дома джентльмену, которого он называет своим родственником.

– Эта причина, – воскликнул разгневанный лорд-хранитель, – если в ней есть хоть крупица правды, явилась уже потом. Тогда, когда вы писали вашу записку Рэвенсвуду, вам ничего еще не было известно., – Я впервые слышу обо всем этом, – сказал маркиз. – Но поскольку вы сами затронули такой щекотливый вопрос, миледи, то позвольте мне сказать: происхождение и положение в свете моего родственника Обязывали вас выслушать его предложение и отказать ему в личной форме, даже если он дерзнул поднять взоры на дочь сэра Уильяма Эштона.

– Надеюсь, вы не забыли, милорд, что в моей дочери течет благородная кровь Дугласов.

– Ваша родословная мне хорошо известна, миледи, – сказал маркиз. – Вы происходите от младшей ветви Ангюса, а Рэвенсвуды – прошу прощения, миледи, но я вынужден напомнить вам об этом – трижды женились на девушках из старшей ветви.

Право, мне достаточно хорошо известна истинная причина вашего гнева, миледи. Я понимаю, что трудно превозмочь старинные предубеждения, и готов считаться с вашими чувствами. Я только потому и не последовал за моим родственником, с позором изгнанным из вашего дома, что не теряю надежды примирить вас. Даже сейчас мне не хотелось бы доводить дело до ссоры, и потому я решил остаться здесь до вечера. Вечером же я отправлюсь вслед за Рэвенсвудом, который ждет меня в нескольких милях отсюда. Итак, постараемся обсудить это дело хладнокровно.

– Я только этого и желаю, милорд! – поспешил вмешаться сэр Уильям.

– Леди Эштон, неужели мы допустим, чтобы маркиз покинул наш дом с обидой в душе! Мы должны упросить его остаться и отобедать с нами.

– Пока милорду угодно быть нашим гостем, замок и все, чем мы владеем, к его услугам, – сказала леди Эштон. – Что же касается того, чтобы продолжить этот неприятный разговор...

– Простите, миледи, – перебил ее маркиз. – Не будем принимать необдуманных решений в столь важном деле. Мне выпало счастье возобновить знакомство с леди Эштон, и я надеюсь, суда-



рыня, вы не заставите меня рисковать вашим расположением из-за какого-то неприятного разговора. По крайней мере прежде чем вернуться к нему, позвольте мне насладиться вашим обществом. К тому же в замок, кажется, прибыли новые гости.

Леди Эштон поклонилась и, улыбнувшись, подала руку маркизу, который повел ее в столовую, галантно соблюдая правила старинного этикета, не позволявшего джентльмену брать даму под руку, как это принято на праздниках среди простонародья.

В столовой они нашли Бакло, Крайгенгельта и нескольких соседей, заранее приглашенных лордом-хранителем по случаю приезда маркиза. Мисс Эштон, сославшись на легкое недомогание, не вышла к столу.

Обед был великолепен и затянулся до позднего вечера.

## Глава XXIII

*Хоть горек был отца удел,  
Все ж лучше моего:  
В изгнание друга он имел,  
А я – я никого.*

**Уоллер**

Не стану описывать гнев и негодование, которые охватили Рэвенсвуда, когда он покидал замок, некогда принадлежавший его предкам. Содержание записки леди Эштон было таково, что человек, даже менее гордый и самолюбивый, чем Рэвенсвуд, – а его нельзя было упрекнуть в недостатке этих чувств, – не остался бы у Эштонов ни минутой долее. Маркизу также была нанесена обида; однако он все еще не терял надежды примирить враждующие стороны и поэтому отпустил своего молодого родственника одного, взяв с него слово остановиться в «Лисьей норе» – маленькой харчевне, расположенной, как это, возможно, помнит любезный читатель, на полпути между замком Рэвенсвуд и «Волчьей скалой», в пяти милях от каждого из означенных мест. Маркиз предполагал встретиться с Рэвенсвудом либо в тот же вечер, либо на следующее утро. Разумеется, он также немедленно покинул бы замок, но ему не хотелось так легко отказываться от возможных выгод, которые сулил ему визит к лорду-хранителю. Впрочем, и сам Рэвенсвуд, даже в пылу жесточайшего гнева, не собирался отрезать себе пути к примирению, надеясь на благосклонность сэра Эштона и вмешательство влиятельного родственника. Тем не менее он уехал тотчас же и значительно дальше, чем того требовали обстоятельства.

Пришпорив коня, Рэвенсвуд галопом промчался по аллее, словно быстрая скачка могла заглушить боль и утишить страдания, переполнявшие его сердце, углубившись в глухую, уединенную часть парка, откуда за кронами деревьев уже не видны были зубцы замковых башен, он осадил коня и предался грустным размышлениям, которые так и не сумел отогнать от себя. Тропинка, по которой он ехал, вела к источнику Сирены, а оттуда к домику Элис, и юноша невольно вспомнил, что это место считалось роковым для его рода и что слепая уже однажды предостерегала его.

«Старинные предания часто говорят правду, – думал Рэвенсвуд. – Этот родник снова оказался свидетелем легкомыслия одного из Рэвенсвудов. Элис была права: я очутился в том постыдном положении, которое она мне предсказывала. Нет! Во сто крат хуже: я не только не стал родственником и союзником человека, погубившего мой род, но, жалкий неудачник, унижившись до желания породниться с ним, я получил отказ».

Мы считаем своим долгом рассказывать нашу историю так, как слышали ее сами; а эта история не была бы истинно шотландской, – примите в соображение давность описываемых событий и склонности тех, кто сохранил ее нам в веках, – если бы в ней не нашлось места для шотландских суеверий. Вот что, согласно преданию, случилось с Рэвенсвудом у заброшенного источника: его конь, спокойно и мерно ступавший по тропинке, вдруг заартачился, захрапел, поднялся на дыбы и, несмотря на шпоры, ни за что не хотел идти вперед, словно почуял что-то страшное.

Взглянув в направлении источника, Рэвенсвуд увидел женщину в белом или, скорее, дымчатом одеянии.

Она сидела на том самом месте, где всего несколько дней назад Люси Эштон внимала роко-

вым словам любви. Первой его мыслью было, что Люси, догадавшись, какой дорогой он поедет, поспешила прийти в это памятное им обоим уединенное место, чтобы разделить горе своего возлюбленного и проститься с ним.

Уверенный в этом, он соскочил с коня и, привязав его к дереву, бросился к источнику, шепча заветное имя:

– Мисс Эштон! Люси!

Женщина, словно услышав его призывы, обернулась, и, к величайшему своему изумлению, Рэвенсвуд увидел перед собой совсем не Люси, а слепую Элис.

Необычайный наряд ее, скорее напоминавший саван, нежели женское платье, вся ее, как ему казалось, неясно очерченная фигура, а главное, то обстоятельство, что слепая, немощная старуха повстречалась ему на таком далеком – если учесть ее недуги – расстоянии от дома, – все это наполнило сердце Рэвенсвуда неизъяснимым страхом. При его приближении старуха медленно поднялась со своего места и простерла иссохшую руку, словно приказывая ему остановиться; ее поблекшие губы зашевелились, но с них не слетело ни звука. Рэвенсвуд остановился и, подождав немного, шагнул вперед. Тогда Элис – или то была бесплотная тень ее? – устремив взгляд на Рэвенсвуда, отступила или, вернее, скользнула в чащу и вскоре скрылась за деревьями. Ноги Эдгара словно приросли к земле; с минуту он оставался недвижим, цепenea при мысли, что виденное им существо явилось к нему из другого мира. Наконец, призвав на помощь все свое мужество, он заставил себя подойти к камню, на котором только что сидела таинственная фигура: трава кругом была не примята, и, как он ни старался, ему не удалось обнаружить никаких признаков, указывающих на пребывание здесь живого человека.

Полный странных мыслей и смутных опасений, рождающихся в душе человека при встрече с явлениями, которые разум его не в силах постичь, Рэвенсвуд повернул назад, но то и дело оборачивался, словно ожидая, что видение предстанет перед ним вновь. Однако, был ли то действительно призрак или лишь игра разгоряченного, расстроенного воображения, но дух Элис не вернулся. Когда Рэвенсвуд подошел к лошади, она была вся в мыле и дрожала, словно во власти инстинктивного страха, который, как говорят, охватывает животных в присутствии сверхъестественного существа. Рэвенсвуд сел в седло и пустил лошадь шагом; время от времени он поглаживал бедное животное, не перестававшее вздрагивать, словно за каждым поворотом ему чудился страшный призрак. Поразмыслив, Рэвенсвуд решил, что ему необходимо дознаться до истины.

«Неужели это был обман зрения? – думал он. – Нет, наваждение длилось слишком долго. Может быть, старуха только притворяется больной, рассчитывая вызвать сострадание? Однако эта женщина в белом двигалась как-то неестественно, совсем не так, как живое существо. Неужели я должен согласиться с молвой и поверить, что Элис спозналась с дьяволом! Нет, во что бы то ни стало я проникну в эту тайну. Я не поддамся обману, не поверю в мираж».

В таком настроении Рэвенсвуд подъехал к маленькой калитке, ведущей в сад Элис. Скамейка под плакучей ивой была пуста, хотя погода стояла великолепная и в небе ярко светило солнце. Он подошел к хижине, и, до слуха его донеслись женский плач и причитания. Он постучал в дверь – никто не ответил.

Подождав немного, Эдгар приподнял щеколду и вошел в дом. Воистину то был приют одиночества и скорби. На жалком тюфяке лежало бездыханное тело последней верной служанки Рэвенсвудов, доселе остававшейся на их родовой земле. Элис только что отошла, и девочка, ухаживавшая за нею в последние минуты жизни, ломала руки, рыдая над прахом хозяйки: детский страх мешался с подлинным большим горем.

Рэвенсвуд попытался утешить бедняжку, но его неожиданное появление испугало ее еще больше. Когда же ему наконец удалось немного успокоить девочку, она взглянула на него и сказала:

– Вы пришли слишком поздно!

Сначала Рэвенсвуд ничего не понял, однако, порасспросив маленькую служанку, узнал, что, почувствовав приближение смерти, Элис послала за ним в замок, умоляя немедленно прийти к ней, и с величайшим нетерпением ожидала от него ответа. Но гонцы бедняков медлительны и нерадивы; посыльный добрался до замка, когда Рэвенсвуда там уже не было, и, зазевавшись на

роскошные экипажи гостей, не спешил с возвращением в убогую хижину. Между тем тревога умирающей возрастала с каждой минутой, и, по словам Бейби, единственной ее сиделки, старуха горячо молилась, прося бога о последнем свидании с сыном своего господина, дабы еще раз предостеречь его. Она умерла, когда часы в соседнем селении пробили два. Рэвенсвуд невольно вздрогнул: он вспомнил, что слышал бой часов в лесу за несколько мгновений до того, как ему явился – теперь он уже не сомневался в этом – призрак умершей.

Из уважения к усопшей и из жалости к испуганной девочке Рэвенсвуд счел своей обязанностью позаботиться обо всем самому. Элис, как сказала Бейби, завещала похоронить себя на уединенном кладбище, близ харчевни «Лисья нора», которое в народе называли «Пустынь». Там покоились многие Рэвенсвуды и их вассалы. По обычаю шотландских крестьян, старая служанка даже после смерти желала оставаться верной своим господам, и Эдгар решил исполнить ее желание, чего бы ему это ни стоило.

Первым делом он послал Бейби в соседнее селение за женщинами, чтобы обрядить слепую; сам же остался подле тела: в Шотландии, как некогда в Фессалии, считалось крайним неуважением к памяти усопшего покинуть тело в пустом доме.

Итак, Рэвенсвуд остался подле праха той, чей беспокойный дух всего лишь четверть часа назад – если только глаза не обманули его – искал с ним встречи у источника Сирены. Несмотря на врожденную смелость, Эдгар был крайне взволнован стечением столь странных обстоятельств. Мысли чередой пронеслись в его уме.

«Умирая, она молила небо о свидании со мной, – Думал он. – Неужели страстное желание, высказанное в последнюю минуту жизни, способно побороть смерть, и духу, уже покинувшему тело, дано вновь предстать перед человеком в своей земной оболочке?»

Но если это так и душа Элис могла явиться глазам моим, то почему же она не говорила со мной? Почему же не поведала то, ради чего явилась мне? Зачем было нарушать законы природы, если цель этого посещения все равно осталась для меня скрытой?

Тщетные вопросы! Только смерть, которая превратит меня в такой же безжизненный, холодный прах, разрешит мои сомнения».

Эдгар встал и, не в силах более смотреть на окаменевшее лицо покойной, накрыл его платком. Отойдя от изголовья, он уселся в старинное дубовое кресло с родовым гербом Рэвенсвудов, которое Элис удалось оставить себе, когда жадная свора кредиторов, стряпчих, судебных приставов и слуг принялась грабить замок после отъезда хозяев. Эдгар старался отогнать от себя страшные предчувствия, невольно охватившие его после странной встречи в лесу. И без них на душе у него было достаточно тяжело. Давно ли он, счастливый возлюбленный Люси Эштон и, уважаемый друг ее отца, гостил в замке Рэвенсвуд, а теперь, печальный и одинокий, сторожил останки нищей старухи, всеми брошенной и забытой!

Впрочем, от этой грустной обязанности его освободили значительно раньше, чем можно было ожидать, учитывая немалое расстояние от убогого жилища Элис до ближайшего селения, в особенности же возраст и многие недуги трех старух, которые прибыли, говоря языком военных, сменить Рэвенсвуда на его посту. В любом другом случае эти почтенные сивиллы не стали бы проявлять столько прыти: одной из них было за восемьдесят, другая лишь недавно поднялась после апоплексического удара, а третья хромала. Но проводить умершего в последний путь считается у шотландцев, у мужчин, равно как и у женщин, священной обязанностью. Я не знаю, объясняется ли это характером шотландского народа, его мрачностью и экзальтированностью, или же воспоминаниями об отошедших в прошлое временах католичества, когда на погребальные обряды смотрели как на праздник для живых, – только пиры, увеселения, даже пьянство и поныне сопровождают похороны в Шотландии. И если мужчины с нетерпением ожидают погребального пиршества, то женщины получают свою долю удовольствия, наряжая покойника для гроба. Расправить окоченевшие члены на специально предназначенном для этой печальной цели ложе, облечь тело в чистое полотняное белье и шерстяной саван было почетной обязанностью местных старух, которые находили в этом занятии какое-то своеобразное мрачное удовольствие.

Три старухи, криво улыбаясь, поклонились Рэвенсвуду, и ему сразу вспомнилась встреча Макбета с тремя ведьмами на вересковой поляне у Форреса.

Эдгар дал старухам немного денег, поручив позаботиться о прахе сверстницы, и они тотчас принялись за дело, попросив его удалиться, и не мешать совершению обряда. Рэвенсвуд охотно подчинился обычаю, однако счел необходимым задержаться, чтобы попросить их отнестись к усопшей с должным вниманием и узнать, где найти могильщика или церковного сторожа, ведавшего заброшенным кладбищем «Пустынь», на котором, согласно последней воле бедной Элис, теперь предстояло приготовить ей место вечного успокоения.

– Да, уж ног не стопчете, искавши Джони Мордшуха, – сказала старшая подружка, растянув в улыбке беззубый рот, – он живет подле «Лисьей норы» – веселого дома, где часто бражничают и гуляют. Смерть и хмель всегда были добрыми соседями.

– Что правда, то правда, – закивала хромая и, опираясь на клюку, которой она помогала себе, когда ступала на короткую левую ногу, шагнула вперед. – Я помню, как отец вот этого Рэвенсвуда, что стоит теперь перед нами, проткнул молодого Блэкхолла: тот сказал ему что-то невпопад за стаканом вина или, может быть, бренди, кто их там разберет...

Вошел в харчевню веселый, как жаворонок, а вышел ногами вперед. Меня тогда позвали обряжать тело.

Как смыла кровь да как взглянула на него – такой красивый, красивее покойника и не видывала, Не трудно догадаться, что эти малоподходящие случаю воспоминания заставили Рэвенсвуда, не мешкая, покинуть общество зловещих и злобных фурий.

Однако, пока он отвязывал лошадь и подтягивал подпругу, укрепляя седло, из-за низкой изгороди маленького садика до него долетали слова, которыми обменивались хромая старуха и ее восьмидесятилетняя приятельница. Ковыляя по саду, они собирали розмарин, мяту, руту и другие ароматные травы, часть которых предназначалась для убрания тела покойной, а остальные – для курения в комнате. Параличная старуха, обессилев от долгого пути, осталась охранять прах, дабы колдуны или злые духи не причинили ему вреда.

Вот какие зловещие речи невольно услышал Рэвенсвуд.

– Взгляни, Энни Уинни, как вытянулась молоденькая цикута, – сказала хромая. – Ни одна ведьма не отказалась бы от такого коня, чтобы лететь через горы и доли, сквозь тьму или при луне, а потом опуститься прямо в погребца французского короля.

– Э, милая! – ответила другая старуха. – Нынче дьявол стал жестокосерднее самого лорда – хранителя печати и других вельмож: а уж у них в груди не сердца, а камни. Вот они считают нас ведьмами, и колют, и режут, и жгут, и ломают нам пальцы в тисках, а сколько ни читай молитву наыворот, хоть десять раз сряду, сатане все равно до нас дела нет.

– А что, Эйлси, видала ты когда-нибудь черного ворога?

– Нет, наяву не приходилось, а вот во сне он мне часто являлся. Когда-нибудь меня за это сожгут. Да что там, милая! Вот золотой, который дал нам Рэвенсвуд: купим хлеба, эля, табаку, немного бренди в придачу да кусочек сахару. А там черт или не черт, а мы сегодня ночью погуляем на славу.

Дряблые щеки сморщились, и старуха отвратительно захихикала: смех ее был похож на крик филина.

– Он хороший юноша, и не жадный, этот Рэвенсвуд, – прошамкала Энни Уинни, – красивый молодой человек: в плечах широк, а в бедрах узок. Славный будет покойничек. Вот уж кого я с удовольствием и обмою и обряжу.

– Да у него на лбу написано, что ни мужской руке, ни женской не придется касаться его после смерти и никто не будет распрямлять его тело на сосновой доске. Здесь тебе ничего не перепадет, Энни, и не найдется. Уж я-то знаю об этом из верных рук.

– Ты хочешь сказать, Эйлси, что ему уготована славная участь его предков – умереть в бою? А от чего он погибнет – от меча или от пули?

– И не допытывайся, Энни! Я тебе ничего не скажу, – отрезала вещунья. – Только не думаю, что судьба будет к нему столь милостива.

– О, я давно говорю, Эйлси Гурли, что ты здесь самая умная. А от кого ты все это знаешь?

– Не суй нос, куда не следует, Энни. Сказано тебе – из верных рук.

– Но ты же сама призналась, что никогда не видала черного ворога.



– Сказано – из верных рук. На него еще не надели первой рубашонки, а путь ему был уже предначертан.

– Те, слышишь топот его лошади? Странный звук. Не предвещает ничего хорошего.

– Эй вы, милые, поторапливайтесь, – раздался голос параличной старухи, оставшейся в доме. – Надо ведь успеть все сделать, и прочесть, что положено. Тело совсем уж одеревенело, а если мы не сможем его выпрямить – сами знаете, какая стряется беда.

Рэвенсвуд был уже далеко и не слышал конца этой поучительной беседы. К чести его надо сказать, что он относился с величайшим презрением ко всякому колдовству, дурным предзнаменованиям и предсказаниям судьбы, хотя в то время, особенно в Шотландии, люди слепо верили во все это и даже сомнение в нечистой силе почиталось не меньшим грехом, чем неверие сарацина или еврея. Он знал также, что на несчастных старух, угнетенных годами, болезнями и нищетой, нередко падало подозрение в колдовстве и что сами они, под страхом смерти и нечеловечески жестоких пыток, возводили на себя нелепые обвинения, которыми, к стыду нашему, испещрены страницы судебных летописей Шотландии XVII века. Однако привидение, явившееся ему в то утро, – был ли то действительно призрак или лишь обман зрения, – наполнило его суеверными мыслями, хотя он тщетно старался от них избавиться; к тому же дело, ради которого он спешил в «Лисью нору», едва ли могло развеселить его.

Ему нужно было повидать Мордшуха, кладбищенского сторожа, и договориться о похоронах. Человек этот жил недалеко от дома Элис, и, перекусив в харчевне, Эдгар отправился к печальному приюту, где предстояло покоиться праху верной служанки. Кладбище находилось влучине быстрого, пенящегося ручья, сбегавшего с окрестных гор. В соседней скале была высечена пещера в форме креста; некогда в ней замаливал грехи какой-то пустынный, и потому все это место называли «Пустынь». Позднее богатый Колдингемский монастырь воздвиг поблизости часовню, от которой уже ничего не осталось, кроме окружавшего ее погоста, где очень редко, в особых случаях, еще совершали захоронения. Несколько полузасохших от старости тисов росло на этой некогда священной земле. – Здесь покоились воины и бароны, но имена их были забыты, а памятники разрушились; и только грубые надгробия из неотесанного камня, поставленные над могилами людей простого звания, оставались нетронутыми временем. Одинокая сторожка лепилась у полуразвалившейся стены; крыша, обильно поросшая травой, мхом и лишайником, почти касалась земли, придавая всему жилищу вид заброшенной могилы. Рэвенсвуд постучал в дверь, и ему сказали, что служитель смерти ушел на свадьбу, ибо он не только исправлял должность могильщика, но к тому же был еще и скрипачом. Эдгару ничего не оставалось, как повернуть назад, и, наказав передать сторожу, чье двойное ремесло делало его равно необходимым как в доме радости, так и в доме скорби, что зайдет к нему рано утром, он двинулся в обратный путь. Не успел он войти в гостиницу, как туда прискакал курьер маркиза с известием, что его светлость прибудет на следующее утро; ввиду этого Рэвенсвуд, собравшийся было проследовать в свою уединенную башню, решил дожидаться родственника в «Лисьей норе» и заночевал там,

## Глава XXIV

*Гамлет. Или этот молодец не чувствует, чем он занят, что он поет, роя могилу?*

*Горацио. Привычка превратила это для него в самое простое дело.*

*Гамлет. Так всегда: рука, которая мало трудится, всего чувствительнее.*

*«Гамлет», акт V, сц. I<sup>38</sup>*

Рэвенсвуд провел беспокойную ночь: сон его тревожили ужасные видения, он беспрестанно просыпался, и его тотчас обступали грустные мысли о прошедшем и опасения за будущее. Вероятно, из всех путешественников, когда-либо проводивших ночь в этой жалкой конуре, он единственный не роптал поутру на скверное помещение и ужасные неудобства. Воистину, «тело просит неги, когда спокойна душа».

---

<sup>38</sup> Перевод. М. Лозинскато.

Поднявшись чуть свет в надежде, что утренняя прохлада принесет ему облегчение, которого не дал сон, Эдгар направился к уединенному кладбищу, находившемуся в полумиле от «Лисьей норы».

Легкий голубоватый дымок, вившийся над землянкой, отличая это жилище живых от обители мертвых, означал, что сторож дома и уже встал. И точно, войдя за ограду, Рэвенсвуд увидел старика, копавшего могилу.

«Судьба, – подумал Рэвенсвуд, – словно нарочно, сталкивает меня со зрелищами смерти и печали. Ноя не поддамся ребяческим страхам; я не позволю воображению взять верх над разумом».

Увидев приближавшегося к нему незнакомца, старик перестал копать и оперся на лопату, словно ожидая приказаний; тщетно прождав с минуту, он решил сам начать разговор:

– Надо полагать, вы пришли звать меня на свадьбу, сэр?

– Почему вы так думаете, любезный? – спросил Рэвенсвуд.

– Меня кормят два ремесла, сэр, – весело ответил старик, – скрипка и заступ; прибыль и убыль рода человеческого. Ну, а за тридцать лет я как-никак научился распознавать заказчика.

– На этот раз вы, однако, ошиблись, – сказал Рэвенсвуд.

– Ошибся? – удивился старик, внимательно оглядывая юношу. – Все может быть. И вправду, похоже, что за вашим большим лбом прячутся сразу две мысли: одна – о смерти, другая – о свадьбе. Что ж, сэр, лопата и заступ поработают на вас не хуже, чем смычок и скрипка.

– Я хочу поручить вам погребение старой Элис Грей. Она жила в Рэвенсвудском парке.

– Элис Грей! Слепая Элис! Померла наконец!

Теперь, видно, скоро и мой черед. Помню, как Хебби Грей привез ее сюда с юга. Красивая была молодка и все смотрела на нас, северян, свысока. Ну, да годы поубавили у нее спеси. Значит, она умерла?

– Да. Вчера. Она завещала похоронить себя здесь, подле мужа. Вы ведь знаете, где он лежит?

– А кому же об этом знать? – уклончиво, как все шотландцы, ответил могильщик. – Я здесь всех знаю; знаю, где кто лежит. Так вам, значит, нужна могила для слепой Элис. Господи помилуй! Только если правда, что болтали о старухе люди, обычной могилой тут не обойдешься. Для нее нужно яму футов в шесть глубиной, не меньше, а то ее же собственные приятельницы ведьмы сорвут с нее саван и утащат на шабаш. Ну, да все равно, шесть футов или три фута, а кто, скажите на милость, мне за это заплатит? – Я заплачу все, что следует.

– Все, что следует? Порядком же вам придется заплатить: за место – раз, за колокол – два; правда, он треснул, но это все равно, ну, потом, мне за работу, чаевые, да еще за бренди и эль на помин души.

Так что, думаю, меньше, чем за шестнадцать шотландских фунтов, вам ее никак не похоронить.

– Получите, любезный. Тут даже больше, чем вы просите. Только смотрите не ошибитесь местом.

– Вы, надо полагать, ее родственник из Англии? – осведомился седовласый гробокопатель. – То-то поговаривали, что Хебби был ей неровня. Ну что ж, правильно делаете: дали ей вволю помучиться, пока была жива, а как померла, приехали похоронить прилично. Это вам честь и слава, а не ей. Конечно, пусть эти родственники при жизни справляются, как знают; пусть их сами из беды выпутываются; а вот погребение – это другое дело. Не годится хоронить человека как собаку: покойнику, конечно, все равно, а вот родне бесчестье.

– Вы, наверно, считаете, что родственникам и о свадьбах не следует забывать, – сказал Рэвенсвуд, которого немало забавляло это профессиональное человеколюбие могильщика.

Старик поднял на него серые пронизательные глаза и лукаво улыбнулся, словно одобряя шутку; но тотчас спохватился и продолжал с прежней серьезностью:

– О свадьбах?.. А как же! Кто забывает о свадебных обрядах, тот не заботится о продолжении рода человеческого. Свадьбу нужно справлять весело: чтобы гостей было много и музыки побольше – чтобы и арфа была, и лютня, и волынка. Ну, а если старинные инструменты взять неоткуда, что ж, можно обойтись хорошей скрипкой да флейтой, – И, разумеется, скрипка вполне

заменит все остальное, – заметил Рэвенсвуд.

Сторож снова бросил на него лукавый взгляд.

– Еще бы... еще бы... если на ней хорошо играть. А вот и могила Хэлберта Грея, – сказал он, явно стремясь переменить разговор, – Вон тот третий холмик от большого каменного саркофага, что стоит на шести ножках: под ним лежит один из Рэвенсвудов. Здесь их много, этих Рэвенсвудов, вместе с их вассалами, дьявол их всех побери, хотя семейный склеп у них на другом погосте.

– Вы, кажется, не очень жалуете этих Рэвенсвудов? – спросил Эдгар, которому непочтительный отзыв могильщика о его предках не доставил особого удовольствия.

– А за что их жаловать? – последовал ответ. – Когда у них в руках были земли и власть, они не умели ими, пользоваться. А теперь, вот попали в беду – и кому охота о них печалиться?

– Вот как! – воскликнул Рэвенсвуд. – Первый раз слышу, чтобы об этом несчастном семействе говорили здесь с такой неприязнью. Правда, они теперь бедны, но разве можно презирать их за это?

– А как же? – заявил сторож. – Возьмите хоть меня. Я человек вполне порядочный, а не скажу, чтобы люди относились ко мне с особым уважением.

А вот живи я в двухэтажном каменном доме, все, было бы иначе. Что же до Рэвенсвудов, то я знал их три поколения сряду, и, черт возьми, все они друг друга стоили.

– Мне казалось, они оставили, по себе хорошую память, – сказал потомок этого нещадно поносимого семейства.

– Хорошую память! – подхватил могильщик. – Вот что я вам скажу, сэр: я жил на земле старого лорда еще совсем мальчишкой. Легкие у меня были тогда здоровые, и я лучше всех играл на трубе. Куда лучше Морена, что трубил для лордов во время суда.

Уж его-то я легко заткнул бы за пояс вместе с его дудкой. Разве у него хватило бы духу на «Сапоги и седла» или «Кавалеры, приглашайте дам», или «По коням, ребята!»?

– Не понимаю, какое это имеет отношение к старому лорду Рэвенсвуду, любезный, – прервал его Эдгар, которому, естественно, не терпелось вернуться к основному предмету разговора. – Что общего между ним и искусством игры на волынке?? – А то, сэр, – отрезал могильщик,

– что у него-то на службе я и загубил свои легкие. Я служил у него трубачом в замке: за небольшое вознаграждение должен был возвещать зорю и час обеда, играть для гостей и самого старого лорда. Ну вот, когда ему вздумалось собрать отряд милиции, чтобы драться с пустоголовыми вигами у Босуэл-бриджа, я тоже не утерпел: сел на коня да и отправился вместе с ним.

– А как же иначе? Вы были его вассалом и получали от него жалованье.

– Как вы говорите? Жалованье? Да, получал.

Только за его деньги я должен был сзывать гостей к обеду, ну и в самом крайнем случае играть на похоронах; но я никогда не брался трубить сбор для их кровавой свары. Но погодите, сейчас услышите, что из всего этого вышло. Вот тогда и скажете, должен ли я восхвалять Рэвенсвудов. Ну вот, в одно прекрасное утро, двадцать четвертого июня тысяча шестьсот семьдесят девятого года, мы туда прибыли, как сейчас помню: бой барабанов, грохот выстрелов, топот и ржанье коней. Хэкстона из Рэтилета с отрядом пехоты, вооруженной мушкетамы, карабинами, копьями, мечами, косами и всем, чем ни попало, отрядили охранять мост, а нам, кавалерии, приказали перебраться вброд через реку. Я вообще не люблю воды, а тут еще на другом берегу нас ждали тысячи вооруженных до зубов людей. Старый Рэвенсвуд встал во главе отряда и, размахивая своим «Андреа Феррара», орал: «Вперед! Вперед!», словно посылал нас прогуляться по ярмарке; в арьергарде шел Калед Болдерстон

– этот и сейчас еще жив – и клялся Гогом и Магогом набить свинцом желудок каждому, кто повернет назад; а молодой Аллан Рэвенсвуд – тогда он еще назывался мастер Рэвенсвуд – размахивал заряженным пистолетом (слава богу, что не выпалил) и кричал во всю силу своих негодных легких: «Труби, бездельник, труби же, проклятый трус! Труби, или я размозжу тебе голову!»

У меня совсем дыхание сперло, но я все-таки сыграл атаку. Правда, звук получился такой, что по сравнению с ним даже кудахтанье показалось бы музыкой.

– Нельзя ли покороче? – прервал его Рэвенсвуд.

– Покороче? Да, мне чуть жизнь не укоротили втрое, чуть не оборвали ее во цвете лет, как

говорится в писании. Я о том и толкую. Ну ладно, бросились мы в воду: лошади все сбились в кучу, будто обезумели от страха, да и люди тоже не лучше.

С противоположного берега из-за кустов в нас стреляют виги – все кругом в огне. Наконец моя лошадь достигла берега и только ступила на землю, как вдруг огромный детина – двести лет проживу, не забуду его лица: глаза как у ястреба, бородища шириной с эту лопату – остановился в трех шагах от меня и целит мне прямо в грудь. Тут, слава богу, лошадь моя взвилась на дыбы, я упал, а пуля просвистела мимо. В ту же минуту старый лорд ударом сабли раскроил вигу череп, этот олух повалился на меня и придавил меня своей тушей.

– По-моему, вы должны быть благодарны старому лорду: он спас вам жизнь, – заметил Рэвенсвуд.

– Благодарен? За что? Сначала он втянул меня в опасное дело, а потом опрокинул на меня этого верзилу, который раздавил мне легкие. С тех пор я и стал задыхаться. Другой раз сто шагов не пройду, а уж все во мне хрипит, как у мельничной клячи.

– Из-за этого вы и потеряли место трубача в замке?

– Ну да, потерял, сами понимаете: у меня уже не хватало сил играть даже на флейте. Но ничего, мне оставили жалованье, квартиру и не донимали работой: иногда приказывали пикировать на скрипке, – в общем, все было бы не так уж плохо, если бы не Аллан, последний лорд Рэвенсвуд, который оказался во сто крат хуже своего отца...

– Неужели мой отец... – перебил его Рэвенсвуд, – то есть, я хотел сказать, неужели сын старого лорда – последний лорд Рэвенсвуд – лишил вас вспомоществования, назначенного его отцом?

– Вот именно, лишил. Он промотал свое состояние и отдал нас сэру Уильяму, Эштону, а тот ничего не дает даром. Он выгнал нас всех из замка, где таким беднякам, как я, раньше не отказывали в корке хлеба и миске супа, да к тому же всегда можно было найти угол, где приклонить голову.

– Лорд Рэвенсвуд заботился о своих людях, пока мог, – сказал Эдгар, – и, мне кажется, любезный, уж кому-кому, а его бывшим слугам не пристало поносить его имя.

– Это как вам угодно, сэр, – возразил упрямый старик. – Только меня никто не убедит в том, что лорд Рэвенсвуд исполнил свой долг, разорив себя и своих вассалов. Ведь по его милости нас выставили за ворота. А разве не мог он отдать нам в пожизненную аренду наши дома и наделы? Разве это дело, чтобы в мои-то годы да с моим ревматизмом ютиться в этом склепе, который не то что живым, но и мертвым не годится; а в моем доме, где в окнах настоящие стекла, благоденствует Джон Смит. И все потому, что Аллан Рэвенсвуд управлял своим имением как дурак.

– Пожалуй, вы правы, – пробормотал Рэвенсвуд, задетый за живое, – расточитель причиняет зло не только себе, но и всем вокруг.

– Впрочем, – прибавил могильщик, – молодому Эдгару с лихвой воздается за все, что я претерпел от его семейства.

– Вот как, – удивился Рэвенсвуд. – Каким же образом?

– Говорят, он женится на дочери леди Эштон и готов отдать себя в руки ее милости. Ну, а она уж сумеет свернуть ему шею, можете не сомневаться. Не желал бы я быть на его месте; впрочем, рыбка сама так и просится в сети. Уж чего хуже, если он, забыв о чести, собирается породниться с врагами отца, которые отняли у него все родовые земли и мой славный огородик в придачу.

Сервантес справедливо заметил, что лесть приятна нам даже в устах безумца; однако похвала или порицание также не оставляют нас безучастными, даже если исходят от человека, мнения которого мы презираем, а доводы почитаем неосновательными.

Рэвенсвуд резко оборвал старика и, повторив приказание позаботиться о достойных похоронах для Элис, быстро пошел прочь. Слова могильщика камнем легли ему на сердце: сознание, что все, от самых знатных до самых ничтожных, будут осуждать его помолвку с Люси Эштон, как этот невежественный, жадный мужик, было ему нестерпимо.

– Итак, я унился до того, что люди чернят мое имя, и тем не менее получил отказ. О Люси! Как чиста должна быть ваша любовь, как нерушимо ваше слово, чтобы вознаградить меня за тяжкое оскорбление, которым людская молва и поведение вашей матери бесчестят наследника



Рэвенсвудов.

Он поднял глаза и в ту же минуту увидел перед собой маркиза Э\*\*\*, который, прибыв в гостиницу и не застав там своего молодого родственника, отправился его разыскивать.

Поздоровавшись, маркиз извинился перед Эдгаром за то, что не приехал накануне.

– Я собирался покинуть замок вслед за вами, – объяснил он, – но неожиданное открытие заставило меня задержаться. Оказывается, дорогой родственник, тут замешана любовь, и хотя следовало бы попенять вам, что вы не посоветовались на этот счет со мной, как с главой рода...

– С вашего позволения, милорд, – ответил Рэвенсвуд, – я крайне благодарен вам за участие, которое вы принимаете во мне, но я позволю себе заметить, что сам являюсь главой и старшим моего рода.

– Разумеется... разумеется, – примирительно сказал маркиз, – с точки зрения геральдики и генеалогии, вы, безусловно, глава своего рода. Но я хотел сказать, что в некотором смысле вы находитесь под моим покровительством...

– Осмелюсь возразить вам, милорд, – перебил его Рэвенсвуд, и, судя по тому, каким тоном были произнесены эти слова, дружеские отношения между родственниками висели на волоске; к счастью, в эту минуту могильщик, который, тяжело дыша, все время шел за ними, вмешался в разговор, осведомившись, не желают ли господа скрасить музыкой скудный завтрак, ожидающий их в гостинице.

– Нам не надо музыки, – резко ответил Рэвенсвуд.

– Ваша милость не знает, от чего отказывается, – заявил скрипач с навязчивостью, свойственной людям этой профессии. – Я могу сыграть вам шотландские песни: «Не хочешь ли еще разок» и «Умерла у старика кобыла» – куда лучше самого Пэтти Бирни. Прикажите только, и я мигом слетаю за скрипкой.

– Оставьте нас в покое, сэръ! – оборвал маркиз.

– О, судя по выговору, ваша милость, кажется, прибыли с севера, – не отставал от них музыкант, – я могу сыграть для вас «Старину Коша», и «Муллин „Дху“, и „Кумушки из Этола“.

– Оставьте нас в покое, любезный, и не мешайте нам разговаривать.

– А если ваши милости принадлежат к тем, кто называет себя «честными людьми», – прибавил могильщик, понижая голос, – то я могу сыграть «Килликрэнки» или «Король возьмет свое», а то еще «Вернутся Стюарты сюда». Хозяйка гостиницы умеет держать язык за зубами; она знает не знает и ведать не ведает, какие тосты провозглашают у нее за столом и какие песни поют у нее в доме. Она ничего не слышит, кроме звона серебра.

Маркиз, которого неоднократно подозревали в тайном сочувствии якобитам, не мог сдерживать улыбки и, бросив скрипачу золотой, посоветовал ему отправиться на кухню и, коль скоро ему непременно нужны слушатели, показать свое искусство слугам.

– Что ж, джентльмены, – сказал скрипач, – честь имею кланяться. Я получил золотой – значит, тем лучше для меня; вы остались без песен – значит, тем хуже для вас. Пойду-ка кончу поскорей могилу, сменю лопату на вторую мою кормилицу и отправлюсь веселить ваших слуг: может быть, они больше любят музыку, чем их господа,

## Глава XXV

*О верная любовь, я знаю,  
Нелегко будет жребий твой,  
Богатство, спесь, причуды света  
Грозят тебе борьбой.  
Друзья мне часто говорили,  
И сердце рассказало вновь,  
Что время и причуды могут  
Сгубить и верную любовь.*

**Хендерсон**

– Теперь, когда мы избавились от этого назойливого скрипача, – начал маркиз, – я хочу со-

общить вам, дорогой родственник, что пытался вести переговоры с Эштонами относительно ваших сердечных дел с их дочерью. Кстати, эту молодую особу я видал сегодня впервые, да и то мельком, поэтому, не имея возможности судить о ее достоинствах, но хорошо зная ваши, думаю, я не обижу ее, если скажу, что вы могли бы сделать лучший выбор.

– Весьма обязан вам, милорд, за участие, которое вы приняли в моих делах, – прервал его Рэвенсвуд. – Я отнюдь не собирался утруждать вас этим вопросом. Впрочем, поскольку вам стала известна моя помолвка с мисс Эштон, считаю нужным сказать, что я взвесил все доводы против брака с дочерью сэра Уильяма и если все-таки решился на такой шаг, то, следовательно, имею на это достаточно веские основания.

– Если бы вы дослушали меня до конца, мастер Рэвенсвуд, – ответил ему родственник, – ваше замечание было бы излишне, ибо, не углубляясь в причины, побудившие вас, несмотря на все обстоятельства, добиваться брака с мисс Эштон, я сам употребил все средства, – разумеется, в тех пределах, в каких считал для себя возможным, – чтобы добиться согласия ее родителей.

– Благодарю вас, милорд, за добровольное посредничество, – сказал Рэвенсвуд. – Я искренне признателен вам, ибо уверен, что, ведя переговоры, вы не вышли за Те пределы, какие я считал бы возможными для себя.

– В этом вы можете не сомневаться. Мне и самому было достаточно ясно, какое это щекотливое дело, и я, конечно, не поставил бы кровного родственника в унижительное или двусмысленное положение перед этими Эштонами. Напротив, я представил им все выгоды брака их дочери с наследником знатного и древнего рода, связанного кровными узами с первыми домами Шотландии; разъяснил им, в какой степени родства мы находимся; намекнул на предстоящие политические перемены и дал понять, в чьих руках окажутся теперь козыри. Наконец, я сказал им, что смотрю на вас как на сына или племянника, а не какого-нибудь там дальнего родственника и что ваши дела меня не менее трогают, чем мои собственные.

– Чем же окончились эти переговоры, милорд? – спросил Рэвенсвуд, сам еще не зная, сердиться ли ему на маркиза или же благодарить за вмешательство.

– Лорд-хранитель охотно склонялся к доводам разума. Он очень дорожит своим местом, а ввиду предстоящих перемен ему придется освободить его. К тому же он, по-видимому, расположен к вам, не говоря уже о том, что прекрасно понимает все выгоды этого союза. Но его супруга, у которой он под башмаком...

– Леди Эштон, милорд! – воскликнул Рэвенсвуд. – Прошу вас прямо сказать мне, чем окончились ваши переговоры. Я готов ко всему.

– Очень рад слышать это, – кивнул маркиз. – Право, мне стыдно повторить и половину того, что она говорила. Достаточно сказать – она решительно против... Начальница пансиона для благородных девиц не могла бы с большим высокомерием отказать отставному ирландскому капитану, ищущему руки единственной дочери богатого вест-индского плантатора, чем это сделала леди Эштон, отвергая ваше предложение и мое посредничество. Я отказываюсь понимать ее поступки. Другой такой блестящей партии для дочери ей никогда не представится. Что касается денег, то ее это никогда не заботило. Такими вопросами интересуется ее муж. Мне кажется, она ненавидит вас за то, что вы обладаете титулом, которого нет у ее мужа, и не имеете состояния, которое есть у него. Впрочем, не будем продолжать этот неприятный для вас разговор. Вот и гостиница.

Из всех многочисленных щелей и трещин убогой харчевни распространялись аппетитные запахи: повара маркиза сбились с ног, чтобы приготовить достойное угощение, как говорится – устроить пир на весь мир, в этой забытой богом дыре.

– Милорд, – сказал Рэвенсвуд, останавливаясь на пороге, – вы случайно узнали тайну, в которую я пока не собирался посвящать даже вас, моего родственника, но коль скоро эта тайна, касающаяся лишь меня и еще одной особы, разглашена, я рад, что она стала известна именно вам – моему благородному родственнику и другу.

– Вы можете быть уверены в том, что я не разглашу вашей тайны, дорогой Рэвенсвуд, – ответил маркиз. – Однако, признаюсь, мне очень хотелось бы услышать, что вы отказались от мысли о брачном союзе, который так или иначе будет для вас унижительным.

– Об этом разрешите судить мне, милорд, и, будьте уверены, я сумею соблюсти свою честь и

достоинство не хуже, чем любой из моих друзей. Я не вступал ни в какие отношения с сэром Уильямом или леди Эштон; я связан словом только с мисс Эштон, и дальнейшее мое поведение будет всецело зависеть от нее. Если, несмотря на мою бедность, она предпочтет меня всем богатым женихам, которых ей сватает ее родня, я сочту вполне справедливым поступиться куда менее существенным и осязательным преимуществом высокого происхождения и пожертвую давними предрассудками старинной родовой вражды.

Если же мисс Эштон переменится ко мне, то, надеюсь, мои друзья не станут упоминать о постигшем меня разочаровании, врагов же я заставлю молчать.

– Хорошо сказано! – произнес маркиз. – Но, сознаюсь, я слишком ценю вас, Рэвенсвуд, чтобы не огорчиться вашим решением. Этот сэр Уильям Эштон лет двадцать назад был ловким стряпчим и, подвизаясь в суде и в парламентских комиссиях, сумел кое-чего добиться. Он выдвинулся на дарьенском деле: заполучил верные сведения и, здраво оценив положение, вовремя сбыл с рук все имевшиеся у него акции. Но все, что он мог, он уже совершил. Ни одно правительство не купит его по той бешеной цене, какую они с женой заломили. При его нерешительности и ее наглости они продорожатся, а когда спохватятся и уступят, никто уже не даст за него и гроша. Я не хочу ничего сказать против мисс Эштон, но уверяю вас: если вы породнитесь с Эштонами, это не принесет вам ни чести, ни выгоды, разве что сэр Уильям вернет вам в виде приданого какую-то часть ваших владений. Но, поверьте, вы большего добьетесь, если рискнете обратиться в палату лордов.

А я, со своей стороны, – добавил он, – готов выкурить эту лису из норы и заставить сэра Уильяма проклясть тот день, когда он отклонил даже слишком лестное для него предложение – предложение, исходившее от меня и касавшееся моего родственника.

Возможно, сам того не желая, маркиз перестарался. Эдгар не мог не заметить, что его достойный родственник не столько печется об интересах и чести семьи Рэвенсвуд, сколько разобижен отказом от предложенной им, маркизом Э\*\*\*, сделки. Подобное открытие не вызвало в юноше ни досады, ни удивления. Он еще раз повторил, что связан словом только с мисс Эштон, что не ждет для себя ни выгод, ни почестей от богатства и влияния ее отца и что никто не принудит его расторгнуть помолвку, разве что сама Люси этого пожелает. Наконец, Эдгар просил маркиза никогда не возобновлять этого разговора, пообещав держать его в курсе событий.

Вскоре внимание маркиза привлекли более интересные и приятные предметы. Нарочный, посланный из Эдинбурга в замок Рэвенсвуд, разыскал его в «Лисьей норе» и вручил пакет с радостными известиями, Политические планы маркиза удались как в Лондоне, так и в Эдинбурге; власть, за которой он так гонялся, казалось, уже была у него в руках.

Между тем подали завтрак, приготовленный поварами маркиза, и, надо полагать, такой эпикуреец, как маркиз, должен был получить особое наслаждение, вкушая изысканные блюда в столь жалкой лачуге. Застольная беседа вполне соответствовала утонченным яствам, способствуя приятному расположению духа.

Маркиз без умолку говорил о могуществе, ожидавшем его в недалеком будущем в результате некоторых весьма вероятных событий, и о своем намерении употребить это могущество на пользу дорогому родственнику. Рэвенсвуд, хотя и находил, что не следует так много говорить об одном и том же, тем не менее – в который уже раз! – от души поблагодарил маркиза. Вино подали отменное, сохранившее весь свой букет, несмотря на долгий путь из Эдинбурга, откуда его везли в бочонке; маркиз же, особенно в приятном обществе, имел обыкновение подолгу сидеть за столом. Поэтому отъезд отложили часа на два.

– Не беда! – заявил маркиз. – Ваш замок всего в нескольких милях отсюда, и, надеюсь, вы не откажете в гостеприимстве родственнику, как не отказали лорду – хранителю печати.

– Сэр Уильям взял мой замок приступом, – ответил Рэвенсвуд, – и, подобно многим завоевателям, очень скоро убедился, что не стоило радоваться этой победе.

– Так! Так! – сощурился маркиз, чья чопорность после усиленных возлияний несколько побавилась. – Я вижу, без взятки от вас ничего не добьешься. Пью за здоровье красавицы, которая недавно провела ночь в вашем замке и, кажется, осталась им вполне довольна. Я не такого хрупкого сложения, как она; все же мне хотелось бы провести ночь в той самой комнате, в которой почи-

вала она. Мне любопытно, насколько жестким должно быть ложе, чтобы любовь превратила его в мягкий пуховик.

– Вы вольны, милорд, налагать на себя любую епитимью, – улыбнулся Рэвенсвуд. – Но пожалейте моего старого слугу. Он повесится или бросится с башни, если вы пожелаете так неожиданно. Уверю вас, в замке хоть шаром покати, и нам решительно невозможно вас принять.

В ответ на это признание маркиз заявил, что он неприхотлив и готов сносить любые неудобства, а потому остается тверд в своем решении и непременно поедет взглянуть на «Волчью скалу». Один из его предков, сказал он, пировал там вместе с Рэвенсвудом накануне Флодденской битвы, в которой оба они сложили свои головы. Волей-неволей Рэвенсвуду пришлось согласиться. Он попросил разрешения отправиться вперед, чтобы хоть как-то, насколько это было возможно в столь короткий срок и при таких неблагоприятных обстоятельствах, подготовиться к приему гостя, но маркиз не пожелал лишиться приятного общества и только позволил послать верхового с известием бедняге Болдерстону о неожиданном нашествии.

Вскоре после этого путешественники покинули гостиницу. Рэвенсвуд по просьбе маркиза пересел к нему в экипаж; в пути они короче узнали друг друга, и маркиз стал развивать смелые планы возвышения своего молодого собеседника в случае успеха предпринятой им, маркизом, политической интриги. Он предполагал послать Рэвенсвуда на континент с очень важным тайным поручением, которое можно было доверить только человеку знатному, талантливому и вполне надежному; это дело требовало от исполнителя многих достоинств, а потому оно должно было принести ему не только славу, но и богатство. Нет нужды входить в содержание и цели этого поручения, достаточно сказать, что оно сулило Рэвенсвуду многие выгоды, и он с радостью ухватился за возможность избавиться от тягостного состояния бездействия и нищеты, в котором находился, и обрести независимость и почетные обязанности.

Пока Рэвенсвуд жадно ловил каждое слово маркиза, почтившего его своим доверием, нарочный, отправленный в замок «Волчья скала», успел повидать Калеба и возвратиться с ответом. Старый слуга просил нижайше кланяться и заверить милорда, что, насколько позволит короткий срок, «все будет приведено в надлежащий порядок и готово к приему их милостей».

Рэвенсвуду слишком хорошо был известен образ действий и склад речи старого мажордома, чтобы положиться на эти заверения. Он знал, что Калеб любил поступать по примеру испанских генералов, которые, считая несовместимым со своим достоинством и честью Испании признаться в недостатке людей и боеприпасов, постоянно докладывали главнокомандующему принцу Оранскому, что их полки полностью укомплектованы и снабжены всем необходимым; результаты обмана сказались в день битвы. Ввиду этого Рэвенсвуд счел необходимым предупредить маркиза, что многообещающие заверения Калеба ни в коей мере не могут служить порукой за приличный прием.

– Вы несправедливы к себе, Рэвенсвуд, – сказал маркиз. – Или, быть может, вы хотите сделать мне приятный сюрприз? Из окна кареты я вижу яркий свет в том направлении, где, если мне не изменяет память, стоит ваш замок, и по великолепному освещению старой башни догадываюсь, какой великолепный прием нас ожидает. Помню, лет двадцать назад, когда ваш отец пригласил меня сюда на соколиную охоту, он тоже решил подшутить надо мной, что, однако, не помешало нам чудесно провести время в «Волчьей скале», не хуже, чем в любом из моих поместий.

– Боюсь, милорд, вам придется убедиться на собственном опыте, как ограничены средства нынешнего владельца некогда гостеприимного замка, – хотя излишне говорить, что он, так же как его предки, желал бы достойно принять вас. Однако я сам не знаю, чем объяснить зарево над «Волчьей скалой». В башне очень мало окон, к тому же они узкие, и часть их, расположенная в нижнем этаже, скрыта крепостной стеной. Даже праздничное освещение не может дать такого яркого света.

Однако разгадка не заставила себя долго ждать.

Не прошло и минуты, как кортеж остановился, и у двери кареты раздался голос Калеба Болдерстона, дрожащий от страха и отчаяния:

– Остановитесь, джентльмены! Остановитесь! Ни шагу дальше! Сворачивайте скорее направо! В замке пожар! Все в огне: кабинеты и залы, богатая отделка фасада и внутренних покоев, вся



наша утварь, картины, шпалеры, ручные вышивки, гардины и другие украшения. Все пылает, словно бочка смолы, словно сухая солома. Сворачивайте направо, джентльмены!

Умоляю вас – у Эппи Смолтраш найдется для вас приют и пища. О, горе мне! О, горе мне! Зачем я дожид до этой ночи!

Услышав об этом новом неожиданном бедствии, Рэвенсвуд остолбенел, но уже в следующее мгновение выскочил из экипажа и, наскоро простившись с маркизом, бросился вперед, к охваченному пламенем замку: огромный столб поднимался над башней, и его отражение далеко мерцало в волнах океана.

– Возьмите коня! – крикнул ему вдогонку маркиз, неприятно пораженный этим новым несчастьем, свалившимся на голову его протеже. – Где мой иноходец? Что вы стали? Вперед, в замок, – прибавил он, обращаясь к слугам. – Спасайте, что можно! Выносите мебель! Тушите пожар! Вперед! Вы трусы!!

Вперед!

Слуги засуетились и, приказав Калебу указать дорогу, пришпорили коней. Но верный мажордом не торопился исполнить приказание; перекрывая шум, он закричал громким голосом:

– Остановитесь! Ни с места, джентльмены! Осадите коней, ради всего святого. Пусть пропадает наше богатство! Пощадите человеческие жизни! В погребах старой башни хранятся тридцать бочек пороха, доставленные сюда из Дюнкерка при покойном лорде.

Огонь еще не проник туда, но он уже близко. Ради бога, поезжайте направо! Только направо! По эту сторону горы мы будем укрыты от гибели, потому что, если на нас посыплются камни «Волчьей скалы», ни один лекарь не сумеет спасти пострадавших.

Нетрудно понять, что после такого разъяснения маркиз и его слуги поспешили свернуть на указанную Калебом дорогу, увлекая за собой и Рэвенсвуда, хотя тот сопротивлялся, ничего не понимая из рассказанной дворецким истории.

– Порох! – воскликнул он, схватив за полу старого слугу, тщетно пытавшегося ускользнуть от него, – какой порох! Не понимаю, откуда в замке порох и почему мне об этом ничего не известно.

– Зато я понимаю, – шепнул ему маркиз. – Я все понимаю. Ради бога, не спрашивайте больше ни о чем.

– Ну да, ну да, – подхватил Калев, который, освободившись из рук своего господина, приводел в порядок платье. – Ваша милость не откажется поверить свидетельству их светлости. Их светлость не забыли, что в год, когда умер так называемый король Уилли...

– Те! Молчите, уважаемый, – перебил его маркиз. – Я сам дам необходимые объяснения вашему господину.

– Но почему жители Волчьей Надежды не помогли затушить пожар в самом начале? – спросил Рэвенсвуд.

– О, они, бездельники, прибежали чуть ли не всей деревней! Но я не осмелился впустить их в замок, где столько серебра и других драгоценностей.

– К черту! Бессовестный лгун, – заорал Рэвенсвуд, не помня себя от гнева, – там нет и унции...

– К тому же, – продолжал Калев, дерзко возвышая голос, чтобы заглушить слова своего хозяина, – огонь распространился очень быстро: загорелись гобелены и резная дубовая панель в парадном зале.

А как только эти трусы услышали о порохе, они бросились прочь, точно крысы с тонущего корабля.

– Прошу вас, Рэвенсвуд, – снова вмешался маркиз, – не расспрашивайте его ни о чем.

– Одно только слово, милорд. Что с Мизи?.

– Мизи? – переспросил Калев. – Мне некогда было думать о какой-то Мизи. Она осталась в замке и, надо думать, ждет своей горькой участи.

– Клянусь богом, я ничего не понимаю, – воскликнул Рэвенсвуд. – Как! В замке гибнет старая преданная служанка! Не удерживайте меня, милорд!

Я должен поехать в замок и убедиться воочию, так ли велика опасность, как утверждает этот

болван.

– Что вы! Что вы! – закричал Калеб. – Клянусь вам, Мизи жива и невредима. Я сам вывел ее из замка. Неужели я мог забыть старую женщину, с которой мы столько лет служили одним господом.

– Но минуту назад вы говорили совсем другое!

– Разве? – удивился Калеб. – Я, наверно, бредил: в такую ужасную ночь не мудрено потерять рассудок.

Уверяю вас, Мизи – невредима. В замке не осталось ни одной живой души. И слава богу, иначе все взлетели бы на воздух.

Лишь после многократных клятвенных заверений Калеба, Рэвенсвуд, преодолев в себе страстное желание присутствовать при страшном взрыве, которому суждено было развеять в прах последнюю цитадель его древнего рода, перестал рваться к замку и позволил увлечь себя в селение Волчья Надежда, где не только в харчевне тетушки Смолтраш, но и в доме нашего доброго знакомого, бочара, высоких гостей ожидало богатое угощение – обстоятельство, требующее от нас некоторых дополнительных объяснений.

В свое время мы забыли упомянуть о том, что Локхард, разузнав, каким образом Калеб добыл припасы для обеда, которым потчевал лорда-хранителя, доложил об этом своему господину. Сэр Уильям от души посмеялся проделкам старого дворецкого и, желая доставить удовольствие Рэвенсвуду, рекомендовал Гирдера из Волчьей Надежды на должность королевского бочара, что должно было окончательно примирить его с утратой жаркого из дикой утки. Назначение Гирдера явилось приятным сюрпризом для Калеба. Спустя несколько дней после отъезда Рэвенсвуда старику понадобилось спуститься в рыбацье селение по неотложному делу. И вот как раз когда он неслышно, словно привидение, крался мимо дома бочара, опасаясь, как бы его не окликнули и не спросили о результатах обещанного ходатайства или, чего хуже, не стали бы поносить за то, что водил хозяев за нос, прельщая несбыточными надеждами, Калеб вдруг, трепеща от страха, услышал свое имя, произнесенное одновременно дискантом, альтом и басом.

– Мистер Калеб! Мистер Калеб! Мистер Калеб Болдерстон! – зывали к нему миссис Гирдер, ее почтенная матушка и сам бочар. – Неужели вы пройдете мимо нашего дома и не зайдете к нам промочить горло: ведь мы так вам обязаны.

Калеб не знал, принимать ли ему это приглашение за чистую монету или за насмешку. Предполагая наихудшее, он притворился, что ничего не слышит, и продолжал свой путь, низко надвинув на лоб старую шляпу и опустив глаза долу, словно ему вдруг непременно понадобилось пересчитать булыжники на мостовой. Однако внезапно он обнаружил, что попал в положение величественного торгового судна, которое в узком Гибралтарском проливе окружили три алжирских галиота (да простят мне благосклонные читательницы это морское сравнение).

– Не бегите от нас, мистер Болдерстон, – прощепетала миссис Гирдер.

– Кто бы мог ожидать этого от старого доброго друга, – поддержала ее мать.

– Отказаться от благодарности! – присовокупил бочар. – И это от моей-то: ведь я не часто бываю тороват. Уж не обиделись ли вы на меня, мистер Болдерстон? Или нашелся негодяй, у которого повернулся язык сказать, что я не благодарен вам за место королевского бочара! Погодите, я с ним разделаюсь.

– Видите ли, дорогие мои, хорошие мои друзья... – неуверенно начал Болдерстон, еще не зная, как в действительности обстоит дело. – Стоит ли разводить церемонии? Каждый старается услужить друзьям чем может; иногда это удается, а иногда нет.

Я бы предпочел никогда не слышать этих изъявлений благодарности. Терпеть их не могу.

– Ну, если бы вы только желали услужить мне, то не было бы вам никаких благодарностей. От меня, уж во всяком случае, – откровенно признался бочар, – уж я бы вам припомнил и гуся, и уток, и канарское, для полного счета. Доброе желание – все равно что рассохшаяся бочка, куда не нальешь вина, а вот доброе дело – это славный бочоночек, крепко сбитый, ладный да складный, в котором можно хранить вино хоть для самого короля.

– Да разве вы не слыхали о грамоте, где черным по белому написано, что наш Гирдер назначен королевским бочаром? – сказала теща. – А ведь каждый, кто хоть раз пробовал набить обрuch

на бочку, просился на это место.

– Это я-то не слыхал?! – воскликнул Калев, который уловил наконец, куда дует ветер. – Я не слыхал? – повторил он, мгновенно преображаясь; шаркающая, крадущаяся, будто вороватая, походка сменилась уверенной величественной поступью; шляпа взлетела на затылок, и из-под нее, словно солнце из-за тучи, появилось чело, сияющее всей гордостью, на какую только способна аристократия.

– Ну, конечно, слыхал! Мистер Болдерстон, да не слыхал! – произнесла миссис Гирдер.

– Конечно! Конечно! Кому же и слыхать об этом, как не мне?! – заявил Калев. – А потому я вас сейчас расцелую, хозяйюшка. А вам, бочар, пожелаю успеха на новом поприще. Действуйте смело: теперь вы знаете, кто ваши друзья; вам известно, что они уже сделали и что еще могут сделать для вас. Да я нарочно притворился, будто ни о чем не догадываюсь.

Хотелось узнать, из какого вы теста. Ну, ничего, вы выдержали пробу.

Калев с истинно королевским достоинством расцеловал обеих женщин и в знак покровительства милостиво коснулся твердой, как железо, ладони бочара.

Затем, располагая исчерпывающими и вполне удовлетворяющими его сведениями, Калев, само собой разумеется, без колебаний принял приглашение на торжественный обед, на который, кроме него, были званы не только все именитые люди Волчьей Надежды, но даже исконный враг мистера Болдерстона – стряпчий Дингуолл. Старый дворецкий, конечно, был самым желанным и самым почетным гостем на пиру; он так убедительно рассказывал честной компании, как вертит своим господином, а его господин – лордом-хранителем, а лорд-хранитель – Тайным советом, а совет – королем, что, расходясь (а это случилось, кажется, не ранее первых петухов), гости бочара уже мнили себя вознесенными на виднейшие должности в государстве благодаря усилиям их друга и покровителя, мистера Калеба Болдерстона. За один этот вечер хитрый старик сумел не только возратить себе былое влияние, которым пользовался как доверенное лицо могущественных баронов Рэвенсвудов, но еще более возвысился в глазах жителей Волчьей Надежды. Даже сам стряпчий – такова уж непреодолимая жажда почестей – не мог устоять перед соблазном и, улучив удобную минуту, отвел Калеба в дальний угол, чтобы поведать, конечно с должным прискорбием, о тяжком недуге секретаря шерифа.

– Отличнейший человек, неоценимый человек...

Но уж очень тучен. Все мы только бранные существа... Сегодня мы здесь, а завтра нас уже нет... Когда бедняга отдаст богу душу, надо же будет заменить его кем-нибудь... И, если бы вы посодействовали мне в получении этого местечка, я бы не постоял за благодарностью. Скажем, пара перчаток, туго набитых стерлингами, а? Знаете, друг мой, надо и о себе позаботиться... И потом, мы нашли бы способ полюбовно кончить спор между этими мужланами из Волчьей Надежды и мастером Рэвенсвудом, то есть я хотел сказать, лордом Рэвенсвудом, да сохранит его господь.

В ответ Калев только улыбнулся и, дружески пожав стряпчему руку, тотчас поспешил удалиться, остерегаясь связывать себя какими-либо обещаниями.

– Сохрани меня боже! Ну и дурни! – воскликнул Калев, очутившись на улице и получив наконец возможность дать волю распиравшему его торжеству. – Право, чайки и олуши, летающие над Басом, и те в сто раз умнее. Да будь я сам правительственный комиссар, и то, кажется, они не могли бы больше юлить передо мной. Надо сознаться, я тоже перед ними юлил. Но стряпчий-то, стряпчий! Ха-ха-ха! Оххо-хо! Да, помилуй бог, надо же мне было дожить до седых волос, чтобы провести этого крючка. Секретарь шерифа! Очень хорошо! У меня с этим молодчиком старые счеты, и теперь он мне заплатит сполна.

Уж я заставлю его поклянуть и поклоняться, будто и в самом деле от меня зависит, дать ему место или нет.

А ведь на это нет никакой надежды. Разве что мой господин наберется ума-разума и поймет, как надо жить на этом свете. Но он этого никогда не поймет.

## **Глава XXVI**

*Почему ту вершину окутало пламя*

*И во мраке взвиваются искры снопами?  
Тот огонь, что небесную тьму озарил,  
Он твое родовое гнездо разорил.*

Кэмбел

Обстоятельства, описанные в конце предыдущей главы, объясняют, почему маркиз Э\*\*\*и мастер Рэвенсвуд встретили такой радушный прием в Волчьей Надежде. Едва Калев объявил о пожаре башни, как все селение поднялось на ноги и готово было бежать на помощь. Но старый слуга тотчас охладил рвение верных вассалов, сообщив, что в подвале замка хранится порох; тогда их усердие приняло другое направление. Никогда еще в Волчьей Надежде не резали такого множества каплунов, жирных гусей и прочей домашней птицы; никогда еще не варили столько копченых окороков; никогда не пекли столько сладких пирогов, молочных оладий, овсяных лепешек, коврижек, крендельков и прочих лакомств, почти неизвестных нынешнему поколению; никогда не откупоривали столько бочонков эля и бутылок старого вина. Простой народ настужь распахнул двери перед слугами маркиза – этими предвестниками потока благоденствий, который отныне, миновав все другие города и веси Шотландии, ливнем хлынет на селение Волчья Надежда, близ Ламмермура. Пастор, помышлявший, как говорили, о месте викария соседнего прихода, человека весьма болезненного, потребовал, чтобы именитые гости остановились у него; но Калев предоставил эту честь бочару, его жене и теще, которые буквально прыгали от радости, узнав об оказанном им предпочтении.

Не переставая низко приседать и кланяться, ошастливленные хозяева повели знатных гостей к себе в дом, где все уже было готово к их приему, устроенному со всей роскошью, на какую только были способны эти простые люди; теща, служившая в молодости в замке Рэвенсвуд, имела, как она утверждала, достаточное представление о том, что требуется для их милостей, и, насколько позволяли обстоятельства, распорядилась всем наилучшим образом. Дом бочара был так просторен, что каждому из путешественников отвели отдельную комнату, куда их тотчас же и с должными церемониями проводили отдохнуть с дороги; в столовой тем временем заканчивались приготовления к роскошному ужину.

Оставшись один, Рэвенсвуд, побуждаемый тысячью различных чувств, покинул дом и, выбравшись за околицу, стал поспешно взбираться на вершину возвышавшегося за Волчьей Надеждой холма, откуда открывался вид на башню. Он хотел увидеть собственными глазами, как рухнет дом его предков. Несколько деревенских мальчишек, налюбовавшись запряженной шестерней каретой и пышной свитой маркиза, теперь из любопытства отправились посмотреть, как взорвется «Волчья скала», и Рэвенсвуд слышал, как они кричали друг другу:

– Скорее, скорее! Сейчас старая башня взлетит на воздух! Сейчас она рассыплется, как кожура печеного лука!

«И это – дети вассалов моего отца, – с возмущением подумал Рэвенсвуд, – дети людей, которые как по закону, так и из чувства благодарности обязаны следовать за нами в бой, в огонь и в воду. Гибель замка их ленных владельцев – всего лишь забавное зрелище для них».

В это мгновение он почувствовал, что кто-то дергает его за плащ.

– Что тебе надо, собака? – раздраженно крикнул Рэвенсвуд, давая волю накипевшей злости и горечи.

– Да, я собака, к тому же старая собака, – ответил Калев, ибо это был он. – Чего мне ждать, кроме брани и побоев? Но теперь мне все равно: я уж слишком старая собака, чтобы выучиться новым штукам или искать себе нового хозяина.

Между тем, достигнув вершины холма, Рэвенсвуд увидел замок. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что пожар уже совсем угас – и только края медленно плывущих над башней облаков были красноватого цвета, словно в них отражалось потухающее пламя.

– Башня цела! – воскликнул Рэвенсвуд. – Неужели она не взорвалась? Если в погребах хранилась хотя бы четверть того количества пороха, о котором вы говорили, взрыв был бы слышен за двадцать миль.

– Все может быть, – сдержанно ответил Калев. – Значит, огонь не дошел до погребов?

– Все может быть, – сказал Калев тем же невозмутимым тоном.



– Послушайте, Калеб, – воскликнул Рэвенсвуд, – я теряю всякое терпение! Я сам пойду в замок и взгляну, что там делается.

– Ваша милость не пойдет туда, – решительно заявил Калеб.

– Не пойду? – вспыхнул Рэвенсвуд. – Кто же осмелится мне помешать?

– Я, – еще решительнее сказал Калеб.

– Вы, Болдерстон? – крикнул Рэвенсвуд. – Вы, кажется, совсем уж забылись!

– Нет, ваша милость. Выслушайте меня спокойно, и вы узнаете все, как если бы сами побывали в замке.

Только не гневайтесь и не выдайте себя перед этими ребятишками или, чего хуже, перед маркизом, когда сойдете вниз.

– Говорите же, болван! Не смейте ничего скрывать от меня. Я должен знать все: и хорошее и дурное.

– Ничего хорошего и ничего дурного. Старая башня цела и невредима и так же пуста, как в тот день, когда вы ее оставили.

– Как, а пожар...

– Никакого пожара не было. Разве что сгорело немного торфа, да, возможно, просыпались искры из трубки старой Мизи.

– А пламя? Яркий огненный столб, который был виден за добрых десять миль?

– Пламя? Есть такая старинная поговорка:

«Коль ночь темна, так и свечка видна!» Немного старого папоротника да охалка сухой соломы, которые я поджег, как только этот неуч из свиты маркиза убрался со двора. Вот вам и пламя. Прошу вас, сэр, в следующий раз, когда вам вздумается привести или послать сюда кого-нибудь, то пусть это будут господа, но без доверенных слуг вроде этого проныры Локхарда, который все высматривал да вынюхивал и только искал, где бы найти какие-нибудь неполадки, чтобы потом позорить наш дом. Из-за него я чуть не загубил свою душу, сочиняя с невероятной скоростью одну небывлицу за другой. Уж лучше я, в самом деле, подпалю башню, да и сам сгорю вместе с ней, чем второй раз терпеть такое бесчестье.

– Очень вам благодарен, Калеб, за ваши заботы, – сказал Рэвенсвуд, с трудом удерживаясь от смеха, хотя в душе он все еще сердился на своего дворецкого, – А как же порох? Порох в погребах?

Маркиз, кажется, знает о наших запасах?

– Порох! Ха-ха-ха! Маркиз! Ха-ха-ха! – расхохотался Калеб. – Хоть убейте меня, ваша милость, не могу не смеяться. Маркиз! Порох! Есть ли порох в замке? Был когда-то. Знал ли об этом маркиз? Конечно, знал. В том-то вся и штука. Я полагал, что не так-то легко будет сладить с вами. Вот я и вспомнил про порох, предоставив маркизу заняться этим делом самому.

– Но вы так и не ответили на мой вопрос, – нетерпеливо перебил его Рэвенсвуд. – Как попал порох в замок и куда он потом делся?

– Сейчас все объясню, – прошептал Калеб с таинственным видом. – Несколько лет назад здесь готовилось восстание; маркиз и все лорды с севера были в заговоре. Тогда-то и навезли сюда из Дюнкерка пропасть всяких ружей и палашей, не говоря уже о порохе. Нелегкая это была работа – перетащить в башню столько ящиков и бочонков за одну ночь; сами понимаете, такое дело нельзя было поручить первому встречному. Однако нам пора возвращаться в селение: нас ждут к ужину; по дороге я доскажу остальное.

– Ну, а эти ребятишки? – спросил Рэвенсвуд. – Неужели вы хотите, чтобы они просидели здесь всю ночь, ожидая взрыва?

– Зачем же! Раз вашей милости не угодно, чтобы они здесь оставались, они немедленно отправятся по домам. Впрочем, – добавил он, – с ними и так ничего не приключится, меньше орать будут завтра да крепче спать. Но раз это не угодно вашей милости...

И, подойдя к мальчикам, взобравшимся на соседний холм, Калеб решительно объявил им, что, по приказанию лорда Рэвенсвуда и маркиза Э\*\*\*, взрыв башни произойдет не раньше, чем завтра в полдень.

При этом утешительном известии мальчуганы разбежались, однако один из них, тот самый,

которого Калев уже однажды обманул, унеся у него из-под носу вертел с утками, остался, в надежде получить более точные сведения.

– Мистер Болдерстон, мистер Болдерстон! – закричал он. – А ведь пламя совсем погасло, словно трубка во рту у дряхлой старухи!

– Верно, мой милый, – согласился дворецкий. – Что же ты думаешь, замок такого вельможи, как лорд Рэвенсвуд, так и будет гореть, как ни в чем не бывало, прямо на глазах у его милости. – И, отпустив маленького оборванца восвояси, прибавил, обращаясь к Рэвенсвуду:

– Никогда не следует пренебрегать случаем поучить этих детишек уму-разуму, как говорят умные люди. И, прежде всего, надо внушать им почтение к старшим.

– Но вы так и не сказали мне, Калев, что стало с порохом и оружием? – заметил Рэвенсвуд.

– Ах, оружие! – спохватился Калев, –

Уплыло на запад, ушло на восток,  
А-то, что осталось, сам черт уволок,

Как говорится в детской песенке. А что до пороха, то мало-помалу я выменял его на джин и бренди у капитанов голландских люгеров и французских судов. Эти бочонки долго служили нам верой и правдой. И разве не превосходная мена: получить напиток, веселящий душу, за зелье, несущее смерть!

Впрочем, несколько фунтов я придержал для ваших надобностей. Если бы не эти запасы, право не знаю, где бы я доставал вам порох для охоты. Ну, теперь ваш гнев, кажется, поостыл, согласитесь же, что я поступил правильно: ведь внизу, в Волчьей Надежде, вам куда удобнее, чем в вашей старой, полуразвалившейся башне. Хоть и больно признаться, да что там греха таить!

– Пожалуй, вы правы, Калев; но только, прежде чем сжигать мой замок даже в шутку, не мешало бы предупредить меня об этом.

– Что вы, ваша милость! Еще куда ни шло, чтобы я, старый дурак, лгал да обманывал ради чести рода, но вашей милости это уж никак не пристало. К тому же вы, молодые люди, слишком горячи.

И солжете, да все без толку. Вот возьмем хоть этот пожар, – потому что, имейте в виду, у нас был пожар, и я готов даже сжечь старые конюшни, чтобы положить конец всяким сомнениям, – так вот, этот пожар, говорю я, превосходный предлог, чтобы просить у соседей все, что нам нужно. О, этот пожар не раз еще нас выручит, к тому же без всякого урона для чести дома. Теперь уж мне не придется по двадцать раз на день придумывать одну небылицу за другой, которым эти бездельники и бездельницы все равно не верят.

– Да, не легко вам приходилось, Калев. И все же я никак не пойму, каким образом этот пожар сможет вернуть нам доверие соседей и наше доброе имя.

– Ну, не говорил ли я: молодо – зелено! Как нам поможет пожар, спрашиваете вы? Да это же превосходный предлог, который спасет честь семьи и поддержит ее на много лет, если только пользоваться им умеючи. «Где семейные портреты?» – спрашивает меня какой-нибудь охотник до чужих дел. «Они по» гибли во время большого пожара», – отвечаю я. «Где ваше фамильное серебро?» – выпытывает другой, «Ужасный пожар, – отвечаю я. – Кто же мог думать о серебре, когда опасность угрожала людям». – «Где платье и белье, гобелены и шпалеры? Где кровати под балдахинами с ткаными покрывалами и легкими пологам? Где ковры, скатерти, ручные вышивки?» – «Пожар! Пожар! И еще раз пожар!» Пожар ответит за все, что было и чего не было. А ловкая отговорка в некотором роде стоит самих вещей. Вещи ломаются, портятся и ветшают от времени, а хорошая отговорка, если только пользоваться ею осторожно и с умом, может прослужить дворянину целую вечность.

Рэвенсвуд хорошо знал упрямый характер старика и потому воздержался от бесполезного спора. Предоставив Калебу радоваться успеху его предприятия, он возвратился в Волчью Надежду, где маркиз и обе хозяйки уже беспокоились о нем: маркиз – потому что не знал, куда он направился, а женщины – потому что боялись, как бы не перестоялся ужин. С приходом Рэвенсвуда все облегченно вздохнули и искренне обрадовались, услышав, что пожар в замке сам собою прекра-

тился, не достигнув погребов, – ибо Рэвенсвуд счел возможным ограничиться этим кратким сообщением, воздержавшись от более подробного описания хитроумной проделки Калеба.

Гостей тотчас проводили к столу, уставленному богатым угощением. Несмотря ни на какие уговоры, мистер и миссис Гирдер даже в собственном доме не согласились занять место рядом с высокопоставленными особами, предпочитая исполнять при них обязанности почтительных и ревностных слуг. Таковы были нравы тех времен. Только старая теща, ввиду своих преклонных лет и давнего знакомства с Рэвенсвудами, решила пренебречь правилами этикета. Играя роль не то содержательницы гостиницы, не то хозяйки дома, принимающей гостей значительно выше себя рангом, она потчевала маркиза и Рэвенсвуда, настойчиво предлагая им лучшие куски; причем не забывала и себя, отведывая понемногу от каждого блюда, дабы служить примером гостям.

– Ваша милость ничего не кушает... – то и дело обращалась она к маркизу. – Мастер Рэвенсвуд, вам попалась кость! Увы, разве мы можем предложить вашей милости достойное вас угощение! Лорд Аллан, упокой господь его душу, любил соленого гуся. Он всегда шутил, что по-латыни соленый гусь означает «стаканчик бренди»! Бренди у нас прямо из Франции: наши суда пока еще не забыли дорогу в Дюнкерк, несмотря на все английские законы и таможи.

Тут бочар предостерегающе толкнул тещу локтем, но она и не подумала угомониться.

– Нечего толкать меня, Джон. – Никто не говорит, что ты знаешь, откуда мне привозят бренди. Конечно, тебе как королевскому бочару это не пристало.

Но мне... Велика беда! – повернулась она к Рэвенсвуду. – Королю, королеве или там кайзеру очень важно, у кого такая старуха, как я, покупает щепотку табаку или стакан бренди повеселить душу.

Загладив таким образом мнимую оплошность, почтенная матрона весь вечер одна продолжала занимать гостей, изо всех сил стараясь поддержать беседу, в которой Рэвенсвуд и маркиз почти не принимали участия. Наконец, отодвинув от себя бокалы, они попросили разрешения удалиться на покой.

Маркизу отвели парадную комнату, которая имела в каждом зажиточном доме и обычно пустовала в ожидании особо почетного гостя. В то время штукатурка еще не вошла в употребление, а штофными обоями покрывали стены только в домах знати или дворян. Поэтому бочар, человек столь же тщеславный, сколь и богатый, поступил по примеру мелких землевладельцев и духовенства, украсив стены парадной комнаты тисненой нидерландской кожей с изображениями деревьев и животных из золотой фольги и многими благочестивыми изречениями, которые, хотя они и были начертаны по-фламандски, соблюдались в его доме со всею строгостью. Помещение выглядело довольно мрачно, однако в камине весело потрескивала сухая клепка; на кровати лежали новые, ослепительно белые простыни, постланные ради торжественного случая в первый и, возможно, в последний раз. Над столом висело старинное зеркало в филигранной раме, некогда принадлежавшее к развешанному по всему свету убранству замка Рэвенсвуд.

По одну сторону зеркала, словно часовые, стояли высокая бутылка тосканского вина и длинный узкий стакан, примерно такой, какой можно видеть в руках у Тенирса, когда он изображает себя участником деревенской пирушки. По другую сторону, не сводя взора с двух иноземных стражей, находились два приземистых шотландских караульных: кувшин доброго эля, вмещавший не менее пинты, и стопа из слоновой кости и черного дерева в серебряной оправе – плод мастерства Гирдера, которым он особенно гордился.

Меры были приняты не только против жажды, но и против голода, ибо на туалете, кроме всего прочего, красовался огромный сладкий пирог. Со всеми этими припасами комната могла бы выдержать двух – или даже трехдневную осаду.

Слуга предусмотрительно разостлал парчовый халат маркиза на большом кожаном кресле, подкатив его ближе к камину, на спинку же положил вышитую бархатную шапочку, отороченную брюссельскими кружевами. Но пора нам покинуть знатного гостя, предоставив ему пользоваться всеми этими предметами, приготовленными ради его удобства, – предметами, о которых мы рассказали столь подробно, дабы познакомить читателя с обычаями шотландской старины.

Нет нужды останавливаться на описании покоя, отведенного Рэвенсвуду: хозяева уступили ему свою спальню. Стены этой комнаты были обиты неяркой шерстяной тканью, изготовляемой в

Шотландии, – нечто вроде нынешнего шалона. На видном месте висел аляповатый портрет самого Джона Гирдера, намалеванный каким-то умиравшим с голоду французом, прибывшим в Волчью Надежду бог весть как и за-, чем, не то из Дюнкерка, не то из Флиссингена вместе с контрабандистами. Изображению нельзя было отказать в некотором сходстве с нашим упрямым, своенравным, но вполне здравомыслящим мастеровым.

Однако мосье ухитрился придать выражению лица и позе этакую французскую легкость, которая настолько не вязалась с угрюмой чопорностью оригинала, что невозможно было смотреть на картину, без смеха. Впрочем, все семейство очень кичилось этим произведением искусства, чем вызвало даже осуждение соседей, обвинивших бочара в чрезмерном тщеславии и высокомерии, ибо, заказав себе портрет и, более того, украсив им свою опочивальню, он, по всеобщему мнению, превысил данные ему права – осмелился выйти за поставленные его сословию пределы и посягнул на аристократические привилегии. Уважение к памяти моего покойного друга, мистера Ричарда Тинто, заставило меня остановиться на этом предмете: однако я избавлю читателя от его пространных, хотя и небезынтересных, замечаний о французской школе живописи, равно как и об успехах Этого искусства в Шотландии в начале XVIII века.

В остальном спальня, приготовленная для Рэвенсвуда, была убрана точно так же, как парадная комната, предоставленная маркизу.

На другой день маркиз и его молодой родственник поднялись чуть свет, намереваясь отправиться в дальнейший путь. Но гостеприимные хозяева непустили их без завтрака. Стол ломился от снеди: ростбифов, холодных и горячих, овсяных пудингов, вин и всяческих настоек, молока во всевозможных видах – все это свидетельствовало о неослабном желании радушного семейства почтить дорогих гостей. Между тем вся Волчья Надежда всполошилась, готовясь к отбытию маркиза; отъезжающие расплачивались по счетам, обменивались рукопожатиями с поселянами, седлали коней, закладывали экипажи и раздавали чаевые. Маркиз вручил бочару изрядную сумму для челяди; Гирдер хотел было поначалу присвоить ее, тем более что стряпчий Дингуолл всецело его в этом поддерживал, ссылаясь на понесенные тороватым хозяином издержки, без которых не было бы и благодарности. Однако, несмотря на столь авторитетное суждение, Джон как-то не решился умалить блестящий успех своего гостеприимства неблагоприятным поступком и только объявил слугам, что они будут последними свиньями, если вздумают покупать бренди в чужих погребах, а так как не было никаких сомнений относительно того, каким именно образом они употребят даяние маркиза, то бочар утешал себя мыслью, что денежки все равно перекочат в его карман, причем без малейшего ущерба для его чести и совести.

Пока шли приготовления к отъезду, Рэвенсвуд отозвал в сторону Калеба и обрадовал старика, поведав ему, правда в очень осторожных выражениях – ибо слишком хорошо знал пылкую фантазию своего дворецкого, – о благоприятной перемене, которая ожидается в его судьбе. Он тут же отдал Калебу большую часть личных денег, чуть ли не клятвенно заверив, что почти наверняка получит большие суммы по приезде в Эдинбург. Затем он строго-настрого приказал Калебу, грозя иначе лишиться его своего расположения, прекратить набеги на жителей Волчьей Надежды, их погреба и другие владения, на что, к немалому удивлению Рэвенсвуда, старый слуга охотно согласился.

– Конечно, – сказал он, – стыдно, бесчестно и даже грешно разорять этих бедняг, когда можно обойтись собственными средствами. К тому же,

– прибавил он, – нужно дать им небольшую передышку, чтобы потом в случае надобности можно было бы вновь на них приналечь.

Порешив на этом и дружески простившись со старым слугой, Рэвенсвуд присоединился к маркизу, уже садившемуся в экипаж. Обе хозяйки – старая и молодая, – ошастливленные прощальным поцелуем высоких гостей, стояли на пороге и умильно улыбались, пока роскошный экипаж и его многочисленная свита не скрылись из виду. Джон Гирдер также стоял на крыльце, то поглядывая на свою правую руку, удостоившуюся пожатий лорда и маркиза, то бросая взгляд внутрь дома на царивший там после пиршества беспорядок, словно соизмерял полученные почести с понесенными издержками.

– Так, так, – вымолвил он наконец. – Ну, будет. Маркизы там или мастера, герцоги или гра-



фы, лорды или лэрды, а вам пора за работу. Приберите в комнатах, унесите на ледник остатки жаркого, а что уж вовсе не годится, отдайте бедным. Вас же, дражайшая теща и жenuшка, попрошу об одном: чтобы я больше не слышал ни слова обо всей этой чепухе, ни дурного, ни хорошего. Можете чесать языками у себя взаперти или с вашими кумушками. У меня и так голова идет кругом.

Гирдер пользовался беспрекословной властью, в доме, и потому все тотчас разошлись и принялись каждый за свое дело, предоставив хозяину полную свободу мечтать о грядущих милостях двора, которые он приобрел, поступившись частицей принадлежавших ему мирских благ.

## Глава XXVII

*Что ж, я схватил за волосы Фортуны,  
И если вырвется – моя вина.  
Тот, кто бороться мог с противным ветром,  
С попутным справится наверняка.*  
**Старинная пьеса.**

Наши путешественники без приключений прибыли в Эдинбург, и Рэвенсвуд, как и было условлено, поселился у маркиза.

Между тем долгожданный политический переворот совершился, и тори как в Шотландии, так и в Англии ненадолго пришли к власти. Мы не намерены здесь исследовать причины и следствия этого переворота: скажем только о том, как он сказался на различных политических партиях, в зависимости от их направления и принципов. В Англии многие сторонники Высокой церкви, во главе с Харли, впоследствии получившим титул графа Оксфордского, тотчас порвали с якобитами, за что и получили прозвище «непостоянных». В Шотландии же приверженцы Высокой церкви, или кавалеры, как они себя называли, оказались более последовательными, хотя и менее благоразумными. Они рассматривали происшедшую перемену как первый шаг к возведению на престол после смерти королевы Анны ее брата, шевалье де Сен-Жоржа. Те, кто пострадал за верность претенденту, теперь тешили себя безрассудными надеждами не только возвратить утраченное, но и отомстить политическим противникам. Виги же предвидели возобновление преследований, которым подвергались при Карле II и его брате, равно как и отчуждения имущества, конфискованного у якобитов при короле Вильгельме.

Но более других перепугалось племя осмотрительных, каковое существует при всех правительствах и особенно многочисленно в провинции, такой, как Шотландия. Люди эти, по меткому выражению Кромвеля, «служат судьбе», иными словами, всегда готовы присоединиться к правящей партии. Многие из них поспешили явиться к маркизу Э\*\*\* с повинной и, заметив, что он принимает живейшее участие в своем молодом родственнике, мастере Рэвенсвуде, наперебой принялись давать юноше советы, как лучше действовать, чтобы вернуть хотя бы часть прежних владений и титул, которого был лишен его отец.

Особенно волновался старый лорд Тернтипет.

– У меня сердце обливается кровью, – сокрушался он, – когда я вижу, что такой прекрасный юноша, отпрыск поистине благородного и древнего семейства, а главное, кровный родственник маркиза Э\*\*\*, которого я уважаю более всех на свете, находится в столь тяжком положении.

Со своей стороны, «дабы содействовать восстановлению древнего дома», вышеупомянутый Тернтипет прислал Эдгару, причем совершенно безвозмездно, три семейных портрета (без рам) и шесть стульев с высокими спинками и мягкими сиденьями, украшенных гербом Рэвенсвудов: он приобрел их шестнадцать лет назад при распродаже обстановки в доме покойного лорда Рэвенсвуда в Кэнонгейте.

Маркиз принял этот дар весьма холодно, заявив, что Рэвенсвуд и его друзья только в том случае сочтут себя удовлетворенными, если лорд Тернтипет возвратит поместье, которое он сначала взял в заклад под ничтожную сумму, а затем, пользуясь беспорядками в делах Рэвенсвудов, присвоил с помощью всем известных сутяжнических махинаций. Тернтипет страшно перепугался, но не подал виду и изобразил крайнее недоумение.

Старый приспешник всех правительств попытался было уклониться от требований маркиза: клялся и божился, что не понимает, зачем молодому Рэвенсвуду тотчас вступать во владение означенным поместьем, когда он, несомненно, возвратит себе большую часть своего состояния, отняв имение у сэра Уильяма Эштона, что было бы только разумно и справедливо и чему он, лорд Тернчипет, готов всячески содействовать. Наконец, он даже предложил отказать спорные земли Эдгару после своей смерти.

Однако все эти отговорки ни к чему не привели, и Тернчипету пришлось вернуть чужую собственность, удовлетворившись получением закладной суммы. Не имея другого средства сохранить мир с властью имущими, он возвратился домой, расстроенный и обиженный, горько жалуясь друзьям, что «не было еще такого перемещения и изменения в правительстве, которое не принесло бы ему хоть маленькую выгоду, тогда как нынешнее лишило его лучшего куска».

Точно так же поступили и с другими лицами, нажившимися за счет Рэвенсвудов, и сэр Уильям Эштон со дня на день ожидал, что решения суда, по которым к нему перешли замок и родовое имение Рэвенсвудов, будут обжалованы в палате лордов. Однако мастер Рэвенсвуд считал себя обязанным ради Люси, равно как и в благодарность за оказанное ему гостеприимство, решить это дело полюбовно. Поэтому он написал письмо бывшему лорду-хранителю (ибо сэр Эштон уже не состоял в этой должности), в котором чистосердечно объявлял о своей помолвке с Люси, прося согласия на брак с ней и предлагая покончить споры на любых условиях, угодных сэру Уильяму.

Тому же курьеру было поручено отвезти письмо леди Эштон, в котором Рэвенсвуд умолял простить его, если невольно подал повод к неудовольствию; он описывал свою нежную привязанность и беспредельную любовь к Люси, заклинал леди Эштон, как истинную представительницу рода Дугласов не только по имени, но и по духу, отказаться от давней вражды и ненависти и, наконец, заверял, что в его лице семья Эштонов приобретает друга, а сама леди – почтительнейшего и преданного слугу. Письмо было подписано:

Эдгар, мастер Рэвенсвуд.

Третье письмо было адресовано Люси, и посланный получил приказание изыскать достаточно надежный способ, чтобы тайно вручить его мисс Эштон в собственные руки. В письме заключались пылкие уверения в вечной любви и говорилось об ожидающей Эдгара в ближайшем будущем перемене, которой он придавал немаловажное значение, поскольку эта перемена, возможно, устранит препятствия к их браку.

Он также сообщал о предпринятых им попытках преодолеть предубеждение ее родителей, особенно леди Эштон, и выражал надежду, что они согласятся с его доводами. В противном случае оставалось уповать на то, что за время его отсутствия (ему предстояло уехать по важному и почетному делу) сэр Эштон и леди Эштон изменят свое решение. Он слепо полагался на силу любви и верил, что Люси сумеет противостоять любым попыткам разлучить ее с ним, и так далее, и тому подобное. В письме говорилось еще о множестве вещей, близких сердцу наших влюбленных, но мало чем интересных или поучительных для читателей. На эти три письма Рэвенсвуд получил три ответа, которые были весьма различны по стилю и доставлены ему весьма различными способами.

Ответ леди Эштон привез его собственный нарочный, которому дозволили оставаться в замке ровно столько, сколько понадобилось, чтобы набросать следующие строки:

*Мистеру Рэвенсвуду из «Волчьей скалы».*

*Сэр! Я получила письмо, подписанное Эдгар, мастер Рэвенсвуд. Полагаю, что оно написано самозванцем, ибо семья Рэвенсвудов в лице покойного лорда Аллана была лишена титула за государственную измену. Если полученное мною письмо написано вами, то, да будет вам известно, что, пользуясь правом матери, я намерена устроить счастье своей дочери, мисс Люси Эштон, по собственному усмотрению и что она выйдет замуж за достойного человека, которому уже обещана ее рука. И даже будь мисс Эштон свободна, я никогда не приняла бы предложения от вас, сэр, или членов вашего семейства, зная, что ваш род был всегда враждебен единственно правоверной пресвитерианской церкви. Сэр, никакие быстропреходящие удачи, случайно выпавшие на вашу долю, не изменят моего решения. Мне и прежде, подобно царю Давиду, случалось видеть нечестивца грозного, расширившегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но я*

*прошла, и вот нет его, и даже след его исчез с лица земли. Советую вам для вашей же пользы уразуметь вышеизложенное и прошу никогда более не обращаться к не имеющей намерения оставаться вашей слугой Маргарет Дуглас, +в замужестве Эштон.*

Два дня спустя после получения этого весьма неприятного послания Рэвенсвуд шел по Хай-стрит в Эдинбурге; вдруг он почувствовал, что кто-то задел его локтем, и едва незнакомец снял шляпу, чтобы принести свои извинения, как Рэвенсвуд узнал в нем Локхарда, доверенного слугу сэра Уильяма Эштона.

Локхард поклонился, сунул Эдгару в руку пакет и тотчас скрылся. Содержавшееся в этом пакете письмо состояло из четырех страниц, исписанных убористым почерком, и, как нередко случается с сочинениями великих юристов, не заключало в себе ничего определенного. Из него явствовало только то, что автор его находится в большом затруднении.

Сэр Уильям Эштон очень много распространялся о том, как высоко он ценит и уважает своего молодого друга, мастера Рэвенсвуда, и как беспредельно ценит и уважает маркиза Э\*\*\*, своего дорогого старого друга; он выражал надежду, что, каковы бы ни были меры, принятые касательно давней тяжбы, они окажутся в должном соответствии с законами и постановлениями, вынесенными *in foro contentioso*;<sup>39</sup> он торжественно заверял, что если законы Шотландии, выраженные в решениях ее верховных судов, подвергнутся пересмотру в английской палате лордов, то общественное зло от столь незаконных действий будет для него более тяжким ударом, нежели любые имущественные потери. Затем следовали громкие слова о великодушии и взаимном прощении и, между прочим, несколько замечаний на тему о переменчивости человеческих судеб – предмет, о котором так любят поговорить сторонники проигравшей партии. Он горячо сетовал на то, что столь поспешно был смещен с должности лорда-хранителя, которую благодаря долголетнему опыту занимал не без пользы для общества, и недоумевал, почему ему даже не дали возможности объясниться с теми, кто сменил его у власти, дабы выяснить, действительно ли так уж велики их политические расхождения. Он выражал уверенность, что маркиз Э\*\*\*, так же как он сам, так же как и любой другой человек, не имеет иной цели, кроме служения Обществу, а потому, если бы они встретились и пришли к соглашению относительно тех мер, какими желательно добиваться этой цели, он был бы рад помочь новому правительству своим опытом и личными связями. Что касается помолвки между Рэвенсвудом и его дочерью, то сэр Эштон говорил об этом мало и как-то сбивчиво. Он сокрушался, что этот важный шаг был сделан преждевременно, и напоминал Рэвенсвуду, что сам он никогда не поощрял его любви к Люси. Он не преминул указать, что помолвка, совершенная *inter minores*,<sup>40</sup> без согласия родителей, не имеет юридической силы и считается незаконной. Этот опрометчивый поступок, добавлял он, произвел на леди Эштон крайне неблагоприятное впечатление, которое не изгладилось и поныне. Его старший сын, полковник Дуглас Эштон, полностью разделяет мнение матери, и он, сэр Уильям Эштон, не может идти наперекор их желаниям, дабы не посеять тем самым неизбежный и непримиримый раздор в собственной семье. Во всяком случае, пока об этом не могло быть и речи. Однако он не терял надежды, что время – этот великий целитель – залечит все раны.

В короткой приписке сэр Эштон, прибегая к несколько более ясным выражениям, сообщал, что, так как не желает, даже косвенно, служить причиной жестокого уничтожения шотландского суда, каковым явилась бы отмена решений о замке и поместьях Рэвенсвудов в чужеземной инстанции, он, сэр Уильям, готов сам, без судебного вмешательства, пойти на значительные уступки.

Наконец, неизвестно каким образом, к Рэвенсвуду попало письмо от Люси Эштон.

«Я получила письмо: но ценой какого риска! Не пишите мне сейчас, ждите более благоприятных обстоятельств. Меня не перестают преследовать, но я буду верна своему слову, если только не лишусь рассудка. Знать, что вы счастливы и что судьба к вам благосклонна, – большая радость для меня, единственная в моем теперешнем положении. А мне это сейчас так необходимо». Запис-

---

<sup>39</sup> В разбирательстве с прениями сторон (лат.).

<sup>40</sup> Между несовершеннолетними (лат.).

ка была подписана:

Л. Э.

Пробежав эти строки, Рэвенсвуд пришел в сильное волнение. Несмотря на просьбу Люси, он несколько раз пытался переслать ей письма и даже просил о свидании; но из этого ничего не получилось; к тому же он узнал, что леди Эштон приняла самые решительные меры, дабы пресечь всякую возможность переписки. Важное дело, порученное ему маркизом, не терпело отлагательства, день его отъезда из Шотландии неотвратимо приближался. Рэвенсвуд был в отчаянии. Он показал письмо, полученное от сэра Эштона, маркизу, и тот, прочитав сие витиеватое послание, заметил с улыбкой, что звезда бывшего лорда-хранителя закатилась и теперь ему придется, учиться распознавать, с какой стороны греет солнце.

С большим трудом Рэвенсвуду удалось уговорить маркиза не передавать дела в парламент, если сэр Эштон даст согласие на его брак с Люси.

– Я вряд ли разрешил бы вам так легкомысленно бросаться отцовским наследством, – сказал на это маркиз, – если бы не был убежден, что леди Эштон, или леди Дуглас, или как ее там еще, что называется, закусила удила, а ее муженек не осмелится ей противоречить.

– И все же, – отозвался Рэвенсвуд, – надеюсь, милорд, вы будете считать мою помолвку с Люси Эштон священной.

– Да, конечно, – ответил маркиз. – Я остаюсь вашим другом, даже когда вы делаете глупости, мой дорогой. Ну, а теперь, когда мое мнение вам известно, я попытаюсь по возможности действовать согласно вашему желанию.

Рэвенсвуду оставалось только поблагодарить своего великодушного родственника и покровителя. Уполномочив маркиза вести свои дела, он уехал на континент, где по всем расчетам должен был пробыть несколько месяцев.

## **Глава XXVIII**

*Кто обольщал когда-нибудь  
Так женщин?  
Кто женщину так обольстит сумел?  
Она – моя!  
«Ричард III»<sup>41</sup>*

Со времени отъезда Рэвенсвуда на континент прошел целый год. Возвращения его ожидали гораздо раньше, однако то дело, по которому он был послан, а по некоторым слухам, личные интересы, все еще удерживало его за границей. Что же касается семьи сэра Эштона, то о переменах, происшедших за минувшее время в этом доме, мы сейчас узнаем из беседы, которую мистер Бакло однажды вел со своим закадычным другом и собутыльником, небезызвестным капитаном Крайгенгельтом.

Друзья расположились в столовой замка Гернингтон, по обе стороны огромного, похожего на гробницу, камина. Дрова весело потрескивали; на круглом дубовом столе рядом с бутылкой первосортного бордо стояли два стакана и множество закусок.

Несмотря на явное довольство и достаток, лицо хозяина выражало сомнение, тоску и неудовлетворенность. Крайгенгельт, смертельно боявшийся припадков хандры, как он выражался, у своего принципала, изо всех сил старался изобрести какое-нибудь средство, дабы развеять его дурное настроение.

После длительного молчания, нарушаемого только равномерной дробью, которую Бакло отбивал носком сапога о решетку камина, Крайгенгельт наконец осмелился заговорить.

– Будь я проклят, – сказал он, – если вы похожи на человека, который собирается жениться. У вас такой вид, черт возьми, будто вас не, сегодня-завтра должны повесить.

– Весьма благодарен за комплимент, – отозвался Бакло. – Но, пожалуй, виселица – это ско-

---

<sup>41</sup> Перевод А. Радловой



рее по вашей части, потому что вам, как видно, ее не миновать. А почему, скажите, капитан Крайгенгельт, как вы себя величаете, почему я должен казаться веселым, когда на душе у меня кошки скребут?

– Вот это-то меня и злит: мало того, что вы женитесь на лучшей невесте во всей округе, вы к тому же берете за себя девушку, на которой вы хотели жениться. И вот теперь, когда ваше желание исполняется, вы сидите понуриив голову, словно медведица, которую разлучили с медвежатами.

– Не знаю... – угрюмо заметил лэрд. – Может быть, мне лучше отказаться от этой женитьбы. Только, кажется, я уж слишком далеко зашел, чтобы идти на попятный.

– Идти на попятный! – воскликнул Крайгенгельт, изображая крайнее изумление. – Да теперь это все равно, что столкнуться со свидетелем, а потом отречься от него и оставить на бобах. Идти на попятный! Когда у девчонки такое приданое...

– У мисс Эштон, с вашего разрешения, – оборвал его Бакло.

– Ладно, ладно! Виноват, Но ведь за ней и впрямь дают такой куш, как ни за какой другой невестой во всем Лотиане.

– Не спорю, – сказал Бакло. – Только я не нуждаюсь в ее приданом. Я и сам достаточно богат.

– А теща, которая вас любит как родного...

– Даже больше. Во всяком случае, больше, чем родную дочь, – усмехнулся Бакло. – Иначе не видать... бы мне Люси.

– А полковник Шолто Дуглас Эштон, который спит и видит вашу свадьбу? – Потому что надеется с моей помощью пройти в парламент от нашего графства...

– А отец, который ждет подписания брачного контракта с таким же нетерпением, как я конца удачной партии в пикет?

– Э! – пренебрежительно протянул Бакло. – Сэр Уильям Эштон ведет свою обычную игру: раз ему не удалось променять дочь на поместье Рэвенсвудов, которое английская палата лордов вот-вот вырвет из когтей, он хлопочет о другом выгодном браке.

– Ну, а ваша невеста? Разве она не самая красивая девушка в Шотландии? Вы же сходили по ней с ума, когда она и слышать о вас не хотела. Теперь же, когда она согласна выйти за вас, нарушив слово, данное Рэвенсвуду, вы вдруг заартачились.

Право, вы просто рехнулись: сами не знаете, что вам нужно.

– Я вам скажу, что мне нужно, – ответил Бакло и, встав со стула, прошелся по комнате. – Я хочу знать, черт возьми, отчего мисс Эштон вдруг изменила свое мнение, – А вам-то что до этого? – удивился Крайгенгельт. – Ведь она изменила его в вашу пользу, – Вот то-то и оно! – вздохнул принципал. – Я никогда не имел дела с такого рода девицами и думаю, что они чертовски строптивы и своенравны. Но мисс Эштон переменялась ко мне как-то уж слишком внезапно и слишком круто, чтобы можно было принять ее поведение за простой каприз. Ручаюсь, это работа леди Эштон. Она наверняка знает множество средств, как сломить человека, и у нее их не меньше, чем у нас удил, мартингалов и капцунов, когда мы объезжаем молодых лошадок.

– Но, черт возьми! Без них же не справиться с лошадьё!

– Что верно, то верно, – согласился Бакло: он перестал мерить шагами комнату и облокотился на спинку стула. – Все равно Рэвенсвуд еще стоит у меня на дороге. Вы думаете, он откажется от Люси Эштон?

– Конечно, откажется, – заявил Крайгенгельт. – Зачем ему упрячиться, раз он собирается жениться на другой и Люси тоже избрала себе другого мужа?

– И вы всерьез верите, что он женится на какой-то иностранке?

– Вы же сами слышали, что сказал капитан Уэстенго. Он рассказывал о пышных приготовлениях к счастливой свадьбе.

– Этот капитан Уэстенго слишком похож на вас, дорогой Крайги, чтобы считать его, как говорит сэр Эштон, «отменным свидетелем». Он мастерски умеет пить, играть в карты и божиться и, думаю, к тому же умеет еще лгать да мошенничать. В определенном кругу все это, конечно, полезные качества, но они как-то больше к лицу разбойнику с большой дороги, чем джентльмену, на

слово которого можно положиться.

– Пусть так, – сказал Крайгенгельт. – Но вы же не можете не поверить полковнику Дугласу Эштону, который сам слышал, как маркиз Э\*\*\*, не подозревая о его присутствии, публично заявил, что Рэвенсвуд нашел себе партию получше Люси Эштон и не намерен жертвовать отцовским наследством ради худосочной дочери низвергнутого вига, а потому с радостью уступит Бакло свои обноски.

– Он так сказал! – испуганно заорал Бакло, приходя в страшное неистовство, которое было свойственно ему по натуре. – Будь я при этом, я вырвал бы ему язык из глотки на глазах у всех его прихвостней и подхалимов, всех его заносчивых горцев. Почему Эштон не уложил его на месте?

– Право, не знаю, – ответил капитан. – Маркиз этого вполне заслуживал. Но, видите ли, он – старик, да к тому же и министр, так что больше риска, чем чести, иметь с ним дело. Лучше подумайте, как оградить мисс Люси от грозящего ей бесчестья. Маркиза оставьте в покое! Он слишком стар, чтобы с ним драться, и слишком высоко сидит, чтобы до него достать.

– Ну нет, рано или поздно я до него доберусь.

И до его родственничка тоже. А тем временем позабочусь о том, чтобы честь мисс Эштон не пострадала от их подлой клеветы. Однако трудная это работа – ухаживать за девушкой. Скорей бы уж конец! Я даже не знаю, как с этой мисс Люси разговаривать. Ну, да ладно. Наполняйте стаканы, Крайги, выпьем за ее здоровье. Уже поздно, а перед сном лучше опрокинуть бокал бургундского, чем ломать себе голову по пустякам.

## Глава XXIX

*Ему об этом только и твердила:  
Ночами даже не давала спать  
И за обедом часто упрекала, -  
В гостях на это намекала вечно.  
«Комедия ошибок»<sup>42</sup>*

На следующее утро Бакло и его верный Ахат Крайгенгельт прибыли в замок Рэвенсвуд. Они были приняты с величайшей любезностью сэром Уильямом, его супругой и их сыном, полковником Эштоном.

Всякий раз, как ему случалось попасть в светское общество, Бакло, не знавший страха в других делах, с непривычки испытывал крайнее смущение; и теперь он долго запинался и краснел, прежде чем сумел объяснить, что хотел бы поговорить с мисс Эштон об их предстоящей свадьбе. Сэр Уильям и его сын вопросительно взглянули на леди Эштон, которая без малейшей тени смущения ответила, что Люси тотчас выйдет к мистеру Бакло.

– Я надеюсь, – добавила она с любезной улыбкой, – что наш дорогой мистер Бакло согласится на просьбу моей дочери и разрешит мне присутствовать при этом разговоре: Люси так молода, к тому же совсем недавно у нее обманом вынудили обещание, которого теперь она от души стыдится.

– Конечно, миледи, – ответил оробевший Бакло, – я сам, со своей стороны, собирался просить вас об этом. Я совсем незнаком с этим самым «галантным обхождением» и, уж наверное, нагрожу глупостей, если миледи откажется мне помочь.

Таким-то образом, растерявшийся перед решительным объяснением с Люси, Бакло со страху вдруг забыл, что подозревал леди Эштон в роковом влиянии на дочь, и упустил возможность самому убедиться в истинных чувствах своей невесты.

Сэр Эштон с сыном вышли из комнаты, а через несколько минут возвратилась леди Эштон в сопровождении дочери. Бакло не заметил в Люси особых перемен: она казалась скорее, спокойной, нежели взволнованной; правда, будь на его месте даже более проникательный наблюдатель, то и он едва ли мог бы решить, было ли то спокойствие отчаяния или безразличия. Бакло же сам

---

<sup>42</sup> Перевод А. Некора.

был слишком взволнован, чтобы как следует разобраться в чувствах молодой девушки.

Он с трудом выдавил из себя несколько бессвязных фраз, перепутал все, что хотел сказать, и, запнувшись, умолк на полуслове. Неизвестно, выслушала ли его мисс Эштон или только сделала вид, –: но в ответ она не сказала ни слова. Глаза ее были устремлены на вышивание, пальцы то ли инстинктивно, то ли по привычке быстро двигались.

Леди Эштон поставила свой стул немного поодаль, в глубокой нише, почти скрывавшей ее от собеседников. Теперь, не вставая с места, она проговорила нежным, сладким голосом, в котором, однако, слышались предостерегающие и даже повелительные нотки:

– Люси, дитя мое, помни... Ты слышала, что сказал мистер Бакло?

Несчастливая девушка, казалось, забывшая о присутствии матери, вздрогнула, выронила иглу и быстро, почти не переводя дыхания, пробормотала:

– Да, миледи... Нет, миледи... Простите, я не слышала.

– Ты напрасно краснеешь, дорогая, и совсем уж напрасно бледнеешь и дрожишь, – сказала леди Эштон, подходя к ним. – Мы знаем, что девичье ушко должно быть глуховато к любезностям мужчины. Но не забывай, что мистер Хейстон пришел говорить с тобой о свадьбе, и ты сама уже давно согласилась благосклонно выслушать его. Ты же знаешь, как твой отец и я желаем вашего союза.

В словах леди Эштон, дышавших, казалось бы, горячей материнской нежностью, содержался ловко скрытый, но достаточно выразительный и грозный намек. Тон предназначался для Бакло, которого не трудно было обмануть, суть же – для Люси, превосходно понимавшей, как ей толковать слова матери, хотя их истинная цель была искусно скрыта от постороннего уха.

Люси выпрямилась, кинула вокруг себя взгляд, исполненный страха и какой-то дикой тревоги, но ничего не ответила. Тогда Бакло, не перестававший ходить взад и вперед по комнате, собрался с духом и, остановившись в нескольких шагах от ее стула, заговорил:

– Мне кажется, мисс Эштон, – начал он, – я вел себя чертовски глупо. Я пытался говорить с вами на языке, который, как принято считать, приятен молодым девушкам, но, мне кажется, вы меня не поняли; впрочем, чему тут удивляться, когда я сам, черт возьми, ничего не понял. Однако, что бы там ни было, я должен объясняться с вами раз и навсегда и на чистом шотландском языке. Ваши родители согласны на мое предложение и, если вы не побрезгуете простым малым, который ни в чем не будет вам перечить, я сделаю вас хозяйкой лучшего имения в целых трех Лотианах, а в Эдинбурге вам будет принадлежать дом леди Гернингтон в районе Кэнонгейта – живите где хотите, делайте что хотите, принимайте кого хотите. Вот вам мое слово, и я от него не отступлюсь.

А у меня к вам только одна просьба: место в конце стола для одного моего беспутного приятеля. Я, может быть, прогнал бы его, да он внушил мне, что мне и часу без него не обойтись. Надеюсь, вы не выставите за дверь моего Крайги, хотя, конечно, можно подыскать компанию и получше.

– Полноте, Бакло, полноте! – поспешила вмешаться леди Эштон. – Как могла у вас явиться мысль, что Люси будет иметь что-нибудь против такого прямого, честного и добродушного человека, как капитан Крайгенгельт?

– Ну, что касается искренности, честности и добродушия, – усмехнулся Бакло, – боюсь, что этих добродетелей у него и в помине нет. Впрочем, это неважно. Крайги знает мои привычки, умеет быть мне полезным, так что, как я уже сказал, мне без него трудно обходиться. Но мы отвлеклись от цели. Я нашел в себе смелость, мисс Эштон, объясниться с вами начистоту и хотел бы услышать прямой ответ из ваших собственных уст.

– Дорогой Бакло, – снова вмешалась леди Эштон, – позвольте мне помочь моей застенчивой дочери.

Я повторяю вам в ее присутствии, что Люси вполне согласна положиться в этом вопросе на выбор своих родителей. Люси, дитя мое, – добавила она, по-прежнему облекая в ласковые слова настойчивый свой приказ – игра, которую мы уже отмечали выше, – Люси, милая моя, скажи сама, верно ли я говорю?

– Я обещала повиноваться вам, – ответила бедная жертва глухим, прерывающимся голосом, – но при одном условии...

– Люси хочет сказать, – поспешно пояснила леди Эштон, поворачиваясь к Бакло, – что ждет ответа на письмо, посланное не то в Вену, то в Ратисбон, не то в Париж – кто знает, где его там носит, этого молодчика, – с требованием возратить ей обманом вырванное у нее слово. Я уверена, мой друг, вы не осудите мою дочь за эту щепетильность, дело касается нас всех.

– Нет, почему же? Мисс Эштон поступает правильно... Очень честно даже... – сказал Бакло и не то пропел, не то продекламировал припев старинной песенки:

Не тyani ты с любовью постылей,  
Если новую вздумал завесть.

Но, мне кажется, – сказал он, помедлив немного, – можно было уже сто раз получить ответ от Рэвенсвуда. Черт возьми! Я готов сам поехать и привезти от него письмо, если мисс Эштон окажет мне честь таким поручением.

– Ни в коем случае, – всполошилась леди Эштон. – Нам стоило большого труда отговорить Дугласа (а ему уж это скорее пристало) от такого опрометчивого шага. Неужели вы думаете, что мы разрешим вам, нашему другу, которого любим как родного сына, пуститься в такое опасное путешествие, да еще с таким опасным поручением. Впрочем, все наши друзья едины в своем мнении, и Люси следовало бы к нему прислушаться: если этот недостойный человек не ответил на ее письмо, его молчание, как всегда в подобных случаях, должно быть принято за согласие расторгнуть помолвку. Всякое обязательство теряет силу, если заинтересованная сторона не настаивает на его исполнении. Сэр Уильям, который превосходно знает законы, не имеет никаких сомнений на этот счет, а потому, дорогая Люси...

– Миледи! – воскликнула Люси с необычной для нее энергией. – Не надо меня убеждать. Я уже сказала, что если эта несчастная помолвка будет расторгнута, вы можете распорядиться мною, как вам угодно... Но до тех пор я не могу поступить так, как вы того требуете. Это был бы великий грех перед богом и людьми.

– Но, дорогая моя, если он будет упорно молчать...

– Он не будет молчать, – ответила Люси. – Прошло всего шесть недель, как я послала ему письмо с верным человеком.

– Ты послала!.. Ты осмелилась!.. Ты это сделала!.. – закричала леди Эштон срывающимся от гнева голосом, выходя из принятой на себя роли.

Но тут же опомнилась и пропела как нельзя слаще:

– О дорогая моя! Как ты могла на это решиться!

– Бог с ним, – вступился за Люси Бакло. – Я уважаю чувства мисс Эштон и, жалею только об одном – что она не избрала меня своим посыльным.

– А позвольте узнать, – дорогая мисс Эштон, – иронически спросила мать, – сколько времени обязаны мы ждать возвращения вашего Паколета – вашего волшебного ганца, ибо, как я понимаю, обычному смертному вы не доверили бы столь важное послание?

– Я высчитала недели, дни, часы и даже минуты, – ответила Люси. – Через неделю придет ответ.

Если его не будет – значит, Эдгара уже нет в живых.

Я буду вам признательна, сэр, – добавила она, обращаясь к Бакло, – если вы попросите мою мать до истечения этого срока не возобновлять разговора о свадьбе.

– Я готов умолять об этом леди Эштон, – сказал Бакло. – Клянусь честью, я уважаю ваши чувства, мисс Эштон. И хотя мне не терпится покончить с этим делом, я джентльмен и уж лучше совсем откажусь от сватовства, чем соглашусь причинить вам даже минутное огорчение.

– Мистер Хейстон, – воскликнула леди Эштон, побелев от гнева. – Я отказываюсь понимать вас!

Разве сердцу матери не дорого счастье дочери? Я хотела бы знать, мисс Люси, в каких выражениях было составлено ваше письмо?

– Оно было точной копией предыдущего, которое вы сами мне продиктовали.

– В таком случае, – сказала леди Эштон, и в ее голосе снова послышались ласковые нотки, –



мы будем надеяться, что по истечении недели, дорогая моя, ты примешь окончательное решение.

– Не будем торопить мисс Эштон, миледи, – вмешался Бакло, у которого, несмотря на грубые манеры, сердце было доброе. – Гонец может замешкаться или его могут задержать непредвиденные обстоятельства: однажды я сам потерял в пути целый день, оттого что лошадь моя раскочевалась. Позвольте, я загляну в свой календарь: через двадцать дней праздник святого Иуды. Накануне я должен присутствовать на скачках в Кавертон Эдже: хочу взглянуть, как вороная кобыла лэрда Китлгирта будет тягаться с четырехгодовалым жеребцом лабазника Джонстона. Но я могу прискакать обратно за одну ночь, или Крайги сообщит мне, чем кончились скачки. А пока я и сам не буду надоедать мисс Эштон и надеюсь, что вы, миледи, сэр Уильям и полковник Дуглас тоже не будете торопить ее с ответом.

– Вы великодушный человек, сэр, – сказала Люси.

– Не знаю, мисс, скорей, как я уже вам докладывал, простой и незлобивый малый, который будет рад сделать вас счастливой. Только разрешите мне это и научите, как за это взяться.

Сказав это, он отвесил Люси низкий поклон, обнаруживая при этом сердечность чувств, обычно ему не свойственную, и направился к выходу.

Леди Эштон шла за ним следом и, провожая, не переставала уверять, что Люси глубоко ценит искренность его чувств. Она просила Бакло не уезжать, не повидавшись с сэром Уильямом, «потому что, – сказала она, бросив многозначительный взгляд в сторону Люси, – в день святого Иуды мы должны быть готовы скрепить подписью и печатью брачный контракт».

– Скрепить подписью и печатью, – повторила Люси, как только за ними закрылась дверь. – Скрепить подписью и печатью – скрепить свой смертный приговор! – И, прижав к груди исхудалые руки, бедная девушка почти без чувств упала в кресло.

Шумное появление Генри вывело ее из оцепенения.

Мальчик прибежал за алой лентой, которую сестра обещала ему на банты для новых подвязок. Люси покорно поднялась, открыла маленькую шкатулку из слоновой кости, отыскала ленту, аккуратно отмерила и отрезала от нее два ярда, а затем, по просьбе брата, завязала для него банты.

– Подожди! Не закрывай! – воскликнул Генри. – Мне еще нужно серебряной тесьмы, чтобы привязать колокольчики к кольцу моего нового сокола. Правда, он того не стоит. Мы чуть ноги не протянули, пока достали его из гнезда, а он оказался просто мерзким душегубом: вонзит когти в куропатку, пустит ей кровь – да бросит. А бедной птице что остается? Помучается немного и околеет где-нибудь в вересняке или под первым же кустом дрока, куда хватит сил дотащиться.

– Ты верно заметил, Генри. Ах, как верно! – вздохнула Люси и, передав ему моток тесьмы, с тоской сжала его руку в своей. – Сколько таких разбойников на свете! А сколько насмерть раненных птичек, которые ищут лишь места, где бы им спокойно умереть, и нет для них даже вересковой полянки, даже кустика дрока, куда бы можно было спрятаться, – Ну, – произнес Генри, – это, наверно, что-то из романа. Шолто говорит, что ты из-за них совсем помешалась. Ого! Кажется, Норман свищет сокола. Бегу закреплять пути.

И он умчался, беспечный, веселый мальчуган, а Люси с ее горькими думами осталась одна.

«Видно, так уж мне на роду написано, чтобы все меня покинули, – подумала она, – даже те, кому, казалось, следовало бы любить меня, – покинули и отдали в руки моим преследователям. Значит, так и надо. Я сама, ни у кого не спросясь совета, вступила на путь опасностей, и теперь сама же, ни у кого не спрашивая совета, должна найти выход или умереть».

## Глава XXX

*... То породило  
В нем меланхолию, она ж сестра  
Отчаянья угрюмого и злого;  
И вслед за ней идет болезней рать...  
«Комедия ошибок»<sup>43</sup>*

---

<sup>43</sup> Перевод А. Некора

Чтобы в какой-то мере оправдать легкость, с которой Бакло, и в самом деле, добрый малый, как он любил называть себя, отказался от собственного мнения по вопросу о браке с Люси, склонившись на сторону леди Эштон, мы должны напомнить читателю, в каком строжайшем повиновении держали в те времена женщин в шотландских семьях.

В этом, как и во многих других отношениях, нравы Шотландии мало чем отличались от нравов дореволюционной Франции. Девушки знатного происхождения почти не появлялись в обществе до замужества; и юридически и фактически они находились в полном подчинении у родителей, которые обычно решали их судьбу по собственному усмотрению, не обращая внимания на их сердечные привязанности. Жених довольствовался молчаливым согласием невесты подчиниться воле родителей, а так как молодые люди почти не имели случая познакомиться (мы уж не говорим – сблизиться) до брака, то мужчина выбирал себе жену, как искатели руки Порции – шкатулку: по одному, лишь внешнему виду, в надежде, что в этой лотерее он вытащит счастливый билет.

Таковы были нравы века, и потому нет ничего удивительного, что Бакло, мот и кутила, почти не знавший порядочного общества, не пытался особенно вникать в чувства своей нареченной, – ведь люди гораздо умнее, тактичнее и опытнее, чем он, вероятно поступили бы на его месте точно так же. Он знал, – а для него это было главное, – что родные и друзья невесты решительно на его стороне и что у них имеются веские причины оказывать ему предпочтение.

Со времени отъезда Рэвенсвуда все поступки маркиза Э\*\*\* были направлены к тому, чтобы воздвигнуть неодолимую преграду между его молодым родственником и Люси Эштон. Маркиз искренне желал Рэвенсвуду добра, но, действуя в его интересах, подобно всем друзьям и покровителям, соображался только со своим мнением, нимало не задумываясь, что поступки его могут противоречить стремлениям молодого человека.

Пользуясь властью министра, маркиз подал в английскую палату лордов апелляцию на решение шотландских судов, передавших сэру Уильяму родовые владения семейства Рэвенсвуд. Эта мера, к которой так часто прибегают ныне, тогда была применена в Шотландии впервые, и юристы, принадлежавшие к враждебной маркизу партии, объявили его действия беспрецедентным, произвольным и даже тираническим нарушением суверенных прав Шотландии. Если эта апелляция так возмутила людей посторонних, связанных с сэром Уильямом только политическими интересами, то легко себе представить, что говорили и думали сами Эштоны, узнав о ниспосланном им суровом испытании. Сэр Уильям, в котором жажда земных благ была сильнее даже врожденной осмотрительности, пришел в отчаяние от угрожавшей ему потери.

Его надменный сын впадал в ярость при одной только мысли, что его лишат ожидаемого наследства. В глазах же злобной, мстительной леди Эштон поведение Рэвенсвуда, или, вернее, его покровителя, было глубочайшим оскорблением, вызывающим к самому беспощадному мщению отныне и во веки веков. Под влиянием окружающих даже кроткая, доверчивая Люси находила поступок Рэвенсвуда опрометчивым и в какой-то мере неблагоприятным.

«Разве не отец пригласил Эдгара сюда? – думала она. – Он сочувствовал или по крайней мере не мешал нашей любви. Эдгар должен был бы помнить об этом и хотя бы из чувства благодарности немного подождать с утверждением своих предполагаемых прав. Я бы, не задумываясь, отказалась ради него от двух состояний; а он добивается этого поместья с таким рвением, будто не помнит, что меня все это тоже касается».

Люси страдала молча, боясь своими жалобами усилить враждебные чувства, которые все в замке питали к ее возлюбленному, наперебой осуждая принятые в его интересах меры и объявляя их неоправданными, незаконными, произвольными, словом, такими, какие можно было ожидать в самые худшие времена самых худших Стюартов. Они заявляли, что пересмотр решений, вынесенных учеными судьями Шотландии, английской палатой лордов, членами которой были люди, несомненно, весьма знатные, но отнюдь не сведущие в гражданских тяжбах и, что вполне возможно, предубежденные против шотландских судов, – позор для Шотландии. Ссылаясь на эту вопиющую несправедливость, замышляемую против сэра Уильяма, родственники не щадили сил и не скупались на доводы, чтобы убедить Люси расторгнуть помолвку с Рэвенсвудом, которую они называли не иначе как позорной, постыдной, греховной, упрекая бедную девушку в том, что она

связала себя словом со смертельным врагом дома, и уверяя, что ее упорство усиливает горе, постигшее ее родителей.

Но Люси не теряла мужества. Одна, без всякой поддержки, она нашла бы в себе силы вынести многое: жалобы отца, его сетования на то, что он называл тиранией правящей партии, бесконечные обвинения Рэвенсвуда в неблагодарности, нескончаемые рассуждения о том, как расторгать и аннулировать контракты, цитаты из гражданского, муниципального и канонического права и разглагольствования о *patria potestas*.<sup>44</sup>

Она могла бы вытерпеть или обойти презрительным молчанием язвительные насмешки, а подчас и оскорбления старшего брата, полковника Эштона, дерзкое и назойливое вмешательство друзей и родственников. Но она была бессильна против постоянных, настойчивых преследований леди Эштон, которая, отбросив прочие дела, направила все усилия своего изобретательного ума к единой цели – расторгнуть помолвку дочери с Рэвенсвудом и воздвигнуть между ними неодолимую преграду, выдав ее замуж за Бакло. Умея глубже, чем муж, проникать в тайники человеческой души, леди Эштон понимала, что таким способом нанесет страшный, сокрушительный удар человеку, которого считала своим смертельным врагом, и не колеблясь подняла руку, хотя знала, что этим же ударом разобьет сердце родной дочери. Ни на минуту не забывая о поставленной цели, она старалась проникнуть в душу бедной Люси и на досуге, надевая на себя то одну, то другую личину сообразно обстоятельствам, готовила страшные орудия пытки, которыми можно сломить человека и заставить его отказаться от ранее принятого решения. Некоторые из придуманных ею способов были просты, а потому достаточно лишь бегло упомянуть о них, другие же, характерные для времени, страны и лиц, действующих в этой необычной драме, заслуживают большего внимания.

Прежде всего леди Эштон сочла нужным пресечь всякую возможность общения между влюбленными и, действуя где подкупом, где властью, полностью забрала в свои руки всех тех, кто находился подле Люси; ни одна крепость не подвергалась такой жестокой осаде, как эта несчастная девушка, хотя внешне ее ни в чем не ограничивали. Пределы владений сэра Эштона стали для нее как бы невидимым магическим кругом, начертанным вокруг волшебного замка, куда и откуда не могло проникнуть ничто недозволенное.

Все письма Рэвенсвуда к мисс Эштон, в которых он объяснял причины своего долгого отсутствия, и все записки бедной Люси, отправленные, как ей казалось, через верных людей, неизбежно попадали в руки ее матери. Надо полагать, что в этих конфискованных посланиях, особенно в письмах Рэвенсвуда, заключалось нечто крайне неприятное для леди Эштон, что распалило ее злобу, хотя ее давняя ненависть и без того была уже накалена до предела. Прочитав захваченные листки, она всякий раз сжигала их все до единого, наблюдая, как они превращаются в дым и пепел, – казалось, она была уверена, что точно так же обратятся в пепел чаяния несчастных влюбленных: улыбка не сходила с ее сжатых губ, злобная радость сверкала в пристальном взоре... Судьба обычно играет на руку людям, умеющим быстро пользоваться подвернувшимся случаем. Как раз в это время разнесся слух, основанный якобы на весьма достоверных фактах, на самом же деле совершенно вздорный, будто Рэвенсвуд собирается жениться на богатой и знатной чужеземке. Эта новость вызвала всеобщий интерес, так как и тори и виги, оспаривая друг у друга власть и популярность, охотно разглашали интимные подробности из жизни противников, используя их в политической игре.

Маркиз Э\*\*\*прямо и во всеуслышание выразил свое мнение о браке Рэвенсвуда, и, хотя в действительности не употребил тех грубых выражений, какие впоследствии приписывал ему Крайгенгельт, слова его были весьма обидны для Эштонов.

– Мне думается, что эти слухи весьма правдоподобны, – заявил он. – Я от души желаю, чтобы они подтвердились. Такой брак достойнее и почетнее для молодого человека, чем союз с дочерью старого адвоката-вига, чьи интриги погубили его отца.

Напротив, сторонники Эштона, забыв об отказе, полученном Рэвенсвудом от родителей Люси, возмущались его непостоянством и изменой, словно он обманом вырвал слово у дочери сэра

---

<sup>44</sup> Мощи отечества (лат.).

Уильяма, а потом без всяких причин бросил ее ради новой возлюбленной.

Леди Эштон не преминула позаботиться, чтобы слухи эти достигли замка Рэвенсвуд. Она понимала, что чем чаще будут повторять Люси это известие, чем больше различных людей будут сообщать его, тем достовернее оно ей покажется. Одни рассказывали о предполагаемом браке Рэвенсвуда как о чем-то совершенно обычном, другие преподносили эту новость как нечто чрезвычайно важное; то как злую шутку шептали Люси на ухо, то говорили как о серьезном деле, которое должно заставить ее глубоко задуматься.

Даже юный Генри был превращен в орудие истязаний бедной Люси. Однажды утром он вбежал к ней в комнату, размахивая ивовой ветвью, и со смехом заявил, что это украшение только что прибыло из Германии специально для нее. Люси, как нам известно, была очень привязана к младшему брату, и эта неосмысленная шалость ранила ее больше, чем обдуманное оскорбление старшего брата.

Но она не рассердилась на мальчика.

– Бедный Генри, – прошептала она, обнимая его за плечи, – ты повторяешь то, чему тебя научили.

И слезы неудержимым потоком хлынули из ее глаз.

Несмотря на всю свою ветреность, Генри растрогался.

– Черт меня побери, если я снова соглашусь мучить тебя, Люси! Честное слово, я люблю тебя больше их всех. Хочешь, я дам тебе покататься на моем сером пони? – прибавил он, нежно целуя сестру. – Можешь пустить его галопом и даже поехать за селение, если тебе вздумается.

– Кто тебе сказал, – насторожилась Люси, – что я не могу ездить куда хочу?

– О! Это тайна! – заявил мальчик. – Попробуй выехать за Волчью Надежду, и твоя лошадь тотчас потеряет подкову, или охромеет, или в замке зазвонит колокол, или еще что-нибудь случится, только тебе обязательно придется вернуться. Больше я ничего тебе не скажу: если узнает Дуглас, он не подарит мне настоящий морской флажок, а он уже обещал. Прощай, сестра!

Этот разговор поверг Люси в еще более глубокое отчаяние; теперь она окончательно убедилась в том, о чем прежде только догадывалась: в доме родного отца ее держали как узницу.

В начале нашего повествования мы упоминали, что Люси была девушкой романического склада, зачитывалась рыцарскими романами и любила воображать себя на месте сказочных героинь, чьи приключения, за неимением лучших примеров, постоянно занимали ее мысли. Волшебная палочка, ранее служившая ей, чтобы вызывать чудесные видения, услаждавшие ее одиночество, превратилась теперь в жезл колдуна, верного раба злых духов, окружавшего ее страшными призраками, которые заставляли ее трепетать от ужаса. Ей чудилось, что родные относятся к ней с подозрением, с недоброжелательством, даже с ненавистью, а тот, из-за кого все от нее отвернулись, вероломно ее покинул. И в самом деле, доказательства измены Рэвенсвуда день ото дня становились все убедительнее.

Примерно в это время с континента прибыл некий авантюрист по имени Уэстенго, старый приятель Крайгенгельта. Достойный капитан, всегда усердно помогавший леди Эштон в осуществлении всех ее планов, даже не сговариваясь с ней, и на этот раз без труда убедил старого приятеля подтвердить известие о предстоящем браке Рэвенсвуда, слегка преувеличив кой-какие подлинные факты и присочинив остальные.

Преследуемая со всех сторон, доведенная до полного отчаяния, Люси не выдержала тяжелых ударов судьбы и непрекращающихся гонений. Она сделалась мрачна и рассеянна, и – что совсем уж противоречило ее робкой и мягкой натуре, – часто с раздражением и даже с яростью ополчалась на своих мучителей. Здоровье ее также пошатнулось: лихорадочный румянец и блуждающий взгляд свидетельствовали о душевном недуге. Всякая мать сжалилась бы над несчастной дочерью, но не такова была леди Эштон.

Неколебимо и неотступно стремясь к поставленной цели, наблюдала она за этими признаками умственного и физического истощения, как вражеский генерал следит за башнями осажденного города, шатающимися под огнем его артиллерии; иными словами, леди Эштон рассматривала внезапные вспышки гнева и припадки тоски у Люси как неоспоримые признаки того, что решимость ее жертвы иссякла, и словно рыболов, сторожащий предсмертные мухи и судорожные движения



пойманной рыбы, ждала минуты, чтобы подсесть лесу. Стремясь ускорить развязку, леди Эштон прибегла к некоему средству, весьма характерному для жестоких нравов той эпохи, средству, которое читатель без сомнений найдет отвратительным и поистине дьявольским...

## Глава XXXI

*В той чаще, где царили смрад и мгла,  
Когда-то ведьма злобная жила.  
Она здесь поселилась одиноко,  
Вдали от всех, чтоб черные дела  
И козни адские вершить жестоко,  
Разя несчастных тайно, издалика.  
«Королева фей»*

Вскоре здоровье Люси настолько ухудшилось, что ее пришлось поручить заботам специальной сиделки, более опытной в уходе за больными, чем простые служанки. Выбор леди Эштон по известным ей одной причинам пал на Эйлси Гурли, прозванную Боденской Колдуньей.

Эта женщина пользовалась большой известностью среди невежественных крестьян как целительница различных недугов, особенно падучей и других таинственных болезней, от которых не могут помочь доктора. Она лечила травами, собранными в разные часы ночи, заговорами, заклинаниями и ворожкой, которые, случалось, иногда положительно действовали на воображение больного. Таково было ремесло Эйлси Гурли, и не трудно догадаться, что не только соседи, но и местное духовенство относилось к ней весьма подозрительно. Кроме знахарства, Эйлси еще тайно промышляла колдовством, ибо, невзирая на ужасные наказания, налагавшиеся за это воображаемое преступление, находилось немало людей, готовых из-за нужды или по злобе надеть на себя ненавистную и опасную личину, отчасти ради того, чтобы иметь власть над окружающими, отчасти же ради жалких прибылей, которые они извлекали из своего мнимого искусства.

Эйлси Гурли была не так глупа, чтобы открыто признаться в сообщничестве с нечистой силой: такое признание немедленно привело бы ее на костер.

Подобно Калибану, она уверяла, что ей помогает безвредная фея. Она предсказывала судьбу, толковала сны, составляла снадобья, обнаруживала покражи, устраивала и расстраивала свадьбы, причем порой так удачно, что, по мнению соседей, несомненно пользовалась помощью самого Вельзевула. Величайшее зло, творимое этими воображаемыми кудесниками, состояло, однако, в том, что, чувствуя всеобщее к себе отвращение, они, не задумываясь, шли на любое гнусное дело и под видом колдовства нередко совершали подлинные злодеяния. Читая судебные отчеты о процессах этих несчастных, невольно перестаешь негодовать, когда узнаешь, что многие из них, как отравители, соучастники и бессердечные исполнители тайных семейных преступлений, вполне заслуживали того жестокого наказания, к которому были присуждены за мнимое колдовство.

Такова была Эйлси Гурли, которой леди Эштон поручила попечение о здоровье дочери, надеясь с ее помощью окончательно сломить волю Люси. Женщина менее влиятельная никогда бы не осмелилась на такой шаг; но высокое положение леди Эштон и сила характера делали ее недосягаемой для мнения света: она могла приставить к дочери «эту лучшую во всей округе, опытнейшую сиделку и целительницу», не боясь обвинения в том, что прибегает к помощи сообщницы и союзницы дьявола, Старая ведьма без долгих слов поняла, чего от нее ждут. Она вполне подходила для взятой на себя роли, где требовалось немалое знание человеческого сердца и страстей. Достойная Гурли не могла не заметить, что один ее вид, – с которым мы познакомили читателя выше, когда впервые встретились с ней у смертного одра слепой Элис – заставляет Люси содрогнуться от ужаса, и сразу же возненавидела бедную девушку. Однако, затаив смертельную обиду, она принялась за дело, стараясь ослабить и преодолеть предубеждение мисс Эштон. Это оказалось нетрудным, и Люси скоро забыла об отталкивающей наружности своей сиделки, покоренная ее мнимой добротой и участием, от которых бедняжка за последнее время совсем отвыкла. Заботливая услужливость и расторопность старухи не замедлили снискать ей расположение у ее подопечной, хотя и не приобрели ей полного доверия. Желая якобы развлечь больную, Эйлси

принялась рассказывать легенды, которые передавала очень искусно, и вскоре без труда овладела вниманием девушки: привычка к чтению и склонность к мечтательности заставляли Люси с интересом прислушиваться к подобного рода историям.

Сначала рассказы Гурли были бесхитростны и занимательны. Она говорила

О феях, пляшущих в ночной тиши,  
Любовниках, на муки обреченных,  
И о страдальцах, в замках заключенных,  
Во власти колдунов.

Однако мало-помалу рассказы эти стали приобретать все более мрачный и таинственный характер и, наконец, сделались совсем страшными. К тому же старуха нашептывала их при свете ночника, голос ее беспрестанно прерывался, мертвенно-бледные губы дрожали, костлявый палец то и дело предостерегающе поднимался кверху, голова тряслась, а водянистые голубые глаза злобно сверкали. Все это могло бы навеять ужас даже на человека менее восприимчивого, чем Люси, и в эпоху, менее пораженную суевериями, чем та, в которую она жила. Старая ведьма тотчас сообразила, что Люси попала в ее сети, и стала туже стягивать петлю на шее послушной жертвы. Теперь она перешла к сказаниям о Рэвенсвудах, их былом величии и грозном могуществе, которые народная молва окружила многими суевериями. Старая вещунья повторила от начала до конца, всю историю рокового источника, украсив ее ужасными подробностями; она снабдила таинственными комментариями то пророчество о мертвой невесте последнего из Рэвенсвудов, которое мы уже слышали от Калеба. Наконец, она поведала Люси о призраке, явившемся Рэвенсвуду в лесу, используя преувеличенные слухи, ходившие об этом происшествии благодаря неосторожным расспросам Эдгара в хижине покойной Элис.

Если бы Люси не пала духом или если бы эти рассказы касались другого семейства, она, вероятно, отнеслась бы к ним равнодушно. Но при ее болезненном состоянии они произвели на нее сильное впечатление; мысль о том, что злой рок тяготеет над ее несчастной любовью, овладела всем ее существом; под влиянием суеверных страхов ее рассудок, и так уже ослабевший от горя, страданий и неизвестности, подавленный сознанием того, что она покинута и одинока, окончательно помутился. В историях, сообщаемых ей слугами, было тоже много сходного с ее собственной судьбой, и мало-помалу Люси начала рассуждать с Эйлси о трагических и таинственных предметах, с каждым днем все больше доверяясь старой ведьме, хотя та по-прежнему вызывала в ней невольный трепет. Старуха не преминула ловко воспользоваться этими ростками доверия. Она стала внушать бедной девушке желание узнать будущее – вернейший способ окончательно расстроить рассудок и сломить силу духа. Эйлси принялась разьяснять предзнаменования, истолковывать сны, а возможно, прибегла и к другим плутовским средствам, которыми мнимые приспешники дьявола одурачивали и запугивали свои жертвы.

В обвинительном акте против Эйлси Гурли (отрадно знать, что эту старую каргу судили, приговорили к костру и сожгли на вершине Норт-Берика по приговору специальной комиссии Тайного совета) среди прочих преступлений я нашел упоминание о том, что она с помощью дьявола показывала некоей знатной девице обручение ее жениха, находившегося тогда в чужеземной стране, с другой женщиной. Но в этой, как и в некоторых других частях обвинения, имена и даты, по-видимому, намеренно изменены; возможно, из уважения к заинтересованным лицам. Во всяком случае, совершенно ясно, что Эйлси Гурли не могла разыграть такую комедию одна, полагаясь только на свою ловкость или плутовские проделки. Как бы то ни было, вся эта ворожба произвела свое пагубное действие на больной рассудок Люси: она сделалась еще раздражительнее, здоровье ее день ото дня ухудшалось, она стала ко всему безучастной, мрачной и подавленной. Сэр Уильям, догадываясь о причинах этой перемены, решился наконец проявить какое-то подобие власти, что дотоле было ему не свойственно, и потребовал прогнать Эйлси Гурли из замка. Однако тетива была спущена, и стрела по самую бородку вонзилась в бок раненой жертвы.

Вскоре после ухода Эйлси Гурли родители приступили к Люси с требованием дать ответ Бабло.

– Я знаю, – сказала она с живостью, удивившей ее родителей, – небо, земля и ад ополчились на мой союз с Рэвенсвудом. Но я связала себя словом: я не могу нарушить его и не нарушу без согласия Рэвенсвуда. Я должна быть уверена, – добавила она, – что он возвратит мне свободу или, если угодно, откажется от меня. Мне безразлично, как это будет. Когда уже нет бриллиантов, не все ли равно, в каком футляре они хранились.

Это было сказано с такой твердостью, при этом глаза Люси так странно сверкали, пальцы же были так крепко стиснуты, что родители не осмелились ей перечить. Единственное, чего при всей своей хитрости добилась леди Эштон, – это согласия Люси написать под ее диктовку письмо Рэвенсвуду с требованием дать решительный ответ, намеревается ли он остаться верным их, как говорила Люси, «несчастной помолвке» или согласен расторгнуть ее.

Леди Эштон воспользовалась представившейся возможностью и так ловко составила письмо, что, попади оно в руки нашему благосклонному читателю, он, несомненно, решил бы, что Люси просит своего возлюбленного отказаться от обязательства, противоречащего интересам и склонностям их обоих. Не полагаясь, однако, на эту уловку, леди Эштон в конце концов решила уничтожить письмо, надеясь, что Люси, не получая ответа, придет в негодование и сама откажется от Рэвенсвуда. Однако она ошиблась в своих расчетах.

Время, необходимое для получения ответа с континента, уже давно миновало. Слабый луч надежды, озарявший сердце Люси, почти померк. И все же она не уступала. Ее не покидала мысль, что письмо ее, возможно, не было отправлено. Новая хитрость матери неожиданно доставила бедной девушке случай узнать то, что ее так заботило.

После того как слуга дьявола была изгнана из замка, леди Эштон решила все с той же целью прибегнуть к помощи слуги совсем иного рода

– пресвитерианского священника, уже упомянутого нами достопочтенного мистера Байдибента, известного своими строгими правилами и благочестием; к нему она и обратилась, рассчитывая, что

Послушный мне священник ей докажет,  
Что нет греха отречься от обета,  
Который мне противен, –

Как говорит тиран в одной трагедии.

Но надежды леди Эштон не оправдались. Сначала, используя предрассудки мистера Байдибента, она легко склонила его на свою сторону, изобразив ему ужасные последствия союза дочери богобоязненных, истовых пресвитериан с наследником кровожадного прелата и гонителя, чьи предки обагрили руки в крови мучеников за веру. Достопочтенный пастор тотчас вспомнил союз моавитянского пришельца с дочерью Сиона.

Однако, хотя мистер Байдибент был пропитан всеми предрассудками своей секты и исповедовал ее крайние принципы, он обладал здравым смыслом и состраданием, которому научился в той самой школе гонений, откуда люди нередко выходят с ожесточенными сердцами. Переговорив с мисс Эштон наедине, он был тронут ее горем и, поразмыслив, заявил, что она права, настаивая на том, чтобы ей позволено было самой снестись с Рэвенсвудом. Когда же Люси поделилась с ним своими сомнениями, рассказав, что не уверена, было ли вообще отправлено ее письмо, священник пришел в сильное волнение: покачивая седой головой, он то шагал по комнате, то останавливался, опираясь на посох с набалдашником из слоновой кости.

Наконец, после долгих колебаний, честный пастырь признался, что эти опасения кажутся ему основательными и что он сам беретя помочь ей устранить их.

– Я полагаю, мисс Эштон, – начал он, – что ваша высокочтимая матушка несколько погорячилась, хотя она действовала исключительно из любви к вам и имея в виду ваши интересы, ибо лицо, вами избранное, сын гонителя и сам гонитель, он – кавалер, или, как их иначе называют, «злойбный», богохульник, и нет ему места в колене Иессеевом. Тем не менее мы обязаны быть справедливыми ко всем и держать слово и обязательства, данные врагам нашим в равной мере, как и братьям. И потому я сам, да, да, я сам берусь переслать письмо этому человеку, по имени Эдгар

Рэвенсвуд, в надежде, что помогу вам высвободиться из тенет, коими сей грешник опутал вас.

Но, поступая так, я желаю в точности соблюсти волю ваших достойных родителей, а потому прошу вас слово в слово, ничего не добавляя и не сокращая, переписать письмо, ранее продиктованное вашей поистине достойнейшей матушкой. Я приму все меры, дабы письмо сие было отправлено, и если, достойная леди, вы не получите на него ответа, вам придется заключить, что человек этот решил молчаливо уклониться от исполнения данного им слова, которое, без сомнения, не желает честно и прямо возвратить вам.

Люси с радостью приняла предложение почтенного пастора. Она написала новое письмо, в точности повторявшее предыдущее, и мистер Байдибент передал его Сондерсу Муншайну – превосходному церковному старосте на суше и отважному контрабандисту на море, смело направлявшему свой бриг наперерез ветрам, что дуют между Кампвером и восточным побережьем Шотландии. По просьбе пастора он взялся доставить письмо мастеру Рэвенсвуду, при каком бы иностранном дворе тот ни находился.

Это объяснение понадобилось нам, чтобы помочь читателю понять смысл разговора между мисс Эштон, ее матерью и Бакло, разговора, о котором мы подробно рассказали в предыдущей главе.

Люси напоминала теперь моряка, потерпевшего кораблекрушение в разбушевавшемся океане: несчастный ухватился за доску, силы его с каждым мгновением иссякают, вокруг него неглядная тьма, изредка сверкают молнии, злобно озаряя седые валы, готовые его поглотить.

Дни шли за днями, недели за неделями. Наступил день св. Иуды – последний назначенный Люси срок, – а от Рэвенсвуда не было ни письма, ни известия.

## **Глава XXXII**

*Здесь в книге так несхожа подпись их  
С каракулями грязными других.  
Жених писал уверенно и прямо,  
Как сосны буквы высятся упрямо,  
А у невесты буквы, как цветки,  
Сплели узор, изящны и легки.*

**Крабб**

Итак, день св. Иуды – последний срок, назначенный самой Люси, – наступил, а от Рэвенсвуда, как мы уже сказали, не было ни письма, ни известия.

Зато Бакло и его верный приспешник Крайгенгельт не заставили себя ждать: ранним утром они уже прибыли в замок, чтобы получить окончательный ответ и подписать необходимые бумаги.

Брачный контракт был тщательно составлен под Надзором самого сэра Уильяма, и ввиду слабого здоровья невесты было решено не приглашать на помолвку никого из посторонних. Свадьбу же условились отпраздновать на четвертый день после подписания контракта, на чем особенно настаивала предусмотрительная леди Эштон, опасавшаяся, как бы Люси не передумала или не заупрямилась. Однако несчастная девушка, по-видимому, уже полностью покорилась. Она выслушала известие о предстоящей свадьбе с равнодушием отчаяния, с полным безучастием, свидетельствовавшим о глубокой подавленности. Бакло, не отличавшийся проницательностью, объяснил себе ее поведение естественным для застенчивой девицы страхом перед замужеством, тем более что Люси, как он превосходно знал, шла за него, подчиняясь воле родителей, а не велению собственного сердца.

После положенных приветствий Люси разрешили на некоторое время удалиться к себе для совершения туалета, ибо леди Эштон заявила, что брак только тогда бывает счастливым, когда контракт подписан до полудня.

Люси позволила служанкам одеть себя для предстоящей церемонии по собственному вкусу и разумению, и они облекли ее в роскошный наряд, надев на нее платье из белого атласа и брюссельских кружев, убрали ей волосы множеством бриллиантов, хотя праздничный блеск камней яв-



но не соответствовал смертельной бледности невесты и тревожному выражению ее глаз.

Едва туалет был закончен, как явился Генри, чтобы отвести покорную сестру в гостиную, где все было готово для подписания брачного контракта.

– Знаешь, Люси, – сказал Генри, – я рад, что ты выходишь за Бакло, а не за Рэвенсвуда. Он похож на испанского гранда, и мне всегда казалось, что он собирается перерезать нам глотки, чтобы потом топтать наши трупы ногами. Я рад, что он сейчас за тридевять земель отсюда. Никогда не забуду, как я испугался, когда принял его за оживший портрет сэра Мэлиза. Скажи по совести, Люси, разве ты не рада, что от него отделалась?

– Оставь меня, Генри, – ответила несчастная девушка, – мне все на свете опостылело.

– Э, все невесты так говорят, – засмеялся Генри. – Но ничего, не огорчайся, через год ты запоешь совсем другое. Знаешь, я буду твоим шафером и поеду во главе процессии. Все родственники, знакомые и союзники, наши и Бакло, будут сопровождать тебя в церковь. Я надену пунцовый камзол с кружевами, шляпу с пером, золотую перевязь *point d'Espagne*<sup>45</sup> и кинжал вместо шпаги. Я, конечно, предпочел бы шпагу, но отец и слышать об этом не хочет. Все это и пропасть всякого добра старый Гилберт доставит сегодня вечером из Эдинбурга на мулах.

Я покажу тебе свои обновки, как только он приедет.

Появление леди Эштон, уже начинавшей беспокоиться из-за долгого отсутствия дочери, прервало болтовню мальчика. С нежнейшей улыбкой мать взяла Люси под руку и повела в зал, где их уже ждали сэр Уильям Эштон, полковник Дуглас Эштон в полной парадной форме, Бакло в нарядном костюме жениха, Крайгенгельт, облаченный щедротами своего патрона с головы до пят во все новое и разукрашенный кружевами, как, по его разумению, следовало одеваться капитану, а также преподобный мистер Байдибент, ибо в правоверных пресвитерианских семействах присутствие пастора во всех торжественных случаях считалось совершенно необходимым.

На столе, где был разложен брачный контракт, стояли вина и закуски.

Но, прежде чем собравшиеся подписали бумаги и принялись за угощение, мистер Байдибент, по знаку сэра Уильяма, пригласил их сотворить вместе с ним молитву о ниспослании благодати на брачный союз, заключаемый между достойными сторонами. С обычной для того времени простотой, дозволявшей пастырю говорить без околичностей, он просил всевышнего излечить скорбную душу Люси в награду за покорность достойнейшим родителям, ибо, почтив отца и мать своих, она исполнила заповедь господя нашего, а потому да пребудет в счастье и радости отныне и во веки веков. Потом он просил господя избавить жениха от дурных привычек, отвращающих юношей от стези добродетели, и наставить его, дабы порвал с недостойными друзьями: безбожниками, возмутителями и пьяницами (при этих словах Бакло подмигнул Крайгенгельту), и не znalся с людьми, толкающими его на стезю греха. В заключение мистер Байдибент просил небо ниспослать божественную благодать на сэра Уильяма, леди Эштон и все их семейство и, таким образом, не обошел никого из присутствующих, за исключением Крайгенгельта, которого, надо полагать, считал за коснелым грешником, недостойным молитвы своей.

Вслед за этим хозяева и гости приступили к делу, ради которого собрались. Сэр Уильям подписал контракт с надлежащей торжественностью и аккуратностью, его сын подмахнул бумаги с небрежностью военного, Бакло ставил свое имя с молниеносной быстротой, едва только Крайгенгельт переворачивал страницы, и, кончив, вытер перо о кружевное жабо этого достойного джентльмена.

Теперь настала очередь Люси. Заботливая мать сама подвела ее к столу. Сначала невеста коснулась бумаги сухим пером; когда же ей указали на это, она никак не могла попасть в массивную серебряную чернильницу, стоящую прямо перед ней. Леди Эштон поспешила прийти ей на помощь.

Я сам видел этот роковой контракт. Имя Люси Эштон четко выведено под каждой страницей, и только чуть заметная кривизна букв указывает на то, что рука ее дрожала. Последняя же подпись не закончена, написана неразборчиво и размазана: дело в том, что как раз в тот момент послышался лошадиный топот, затем торопливые шаги по галерее и повелительный голос – при-

---

<sup>45</sup> Испанского кружева (франц.).

езжий требовал, чтобы его тотчас впустили в зал.

– Это он, это он! – вскрикнула Люси, и перо выпало из ее рук.

### Глава XXXIII

*Как, этот голос! Среди нас -  
Монтекки!  
Эй, паж, мой меч!..  
О нет, клянусь я честью  
Предков всех,  
Убить его я не сочту за грех!  
«Ромео и Джульетта»<sup>46</sup>*

Не успело еще перо выпасть из рук мисс Эштон, как дверь в зал распахнулась и Эдгар Рэвенсвуд появился на пороге.

Локхард и второй слуга, тщетно пытавшиеся преградить ему доступ в зал, теперь в оцепенении застыли за его спиной; их испуг немедленно сообщился всем присутствующим. На лице полковника Эштона можно было прочесть не только страх, но и гнев;

Бакло изобразил высокомерие и подчеркнутое безразличие; остальные, даже леди Эштон, не могли скрыть своего ужаса; Люси окаменела, словно перед ней был не человек, а призрак. Рэвенсвуд и в самом деле походил скорее на призрак, чем на живое существо.

Эдгар остановился посреди зала, против стола, у которого сидела Люси; не обращая ни на кого внимания, словно она была там одна, он устремил на нее взгляд, исполненный глубокой печали и нескрываемого негодования. Его темный дорожный плащ, соскользнув с одного плеча, ниспадал широкими складками наподобие мантии; богатая одежда была в беспорядке и забрызгана грязью от быстрой езды; сбоку висела шпага, а из-за пояса торчали пистолеты. Надвинутая на лоб шляпа, которую он не снял при входе, бросала тень на его смуглое от природы лицо; обычно суровое, ныне же осунувшееся от горя и мертвенно-бледное после продолжительной болезни, оно имело теперь жестокое, даже свирепое выражение. В беспорядке ниспадавшие из-под шляпы волосы и застывшая поза делали его похожим на мраморную статую. Он не произнес не единого слова: несколько минут прошло в глубоком молчании.

Наконец к леди Эштон вернулось ее обычное самообладание, и она пожелала узнать, чем вызвано это дерзкое вторжение.

– Миледи, – сказал полковник, – разрешите мне предложить мастеру Рэвенсвуду этот вопрос и просить его последовать за мной, чтобы поговорить наедине.

– Нет, – перебил его Бакло, – я никому не уступлю права требовать объяснений у мастера Рэвенсвуда. Крайгенгельт, – оказал он, меняя тон, – что вы тарашите глаза, словно увидели призрак, черт вас возьми! Мою шпагу! Живо!

– Простите, – заявил полковник, – я настаиваю на моем праве первым требовать удовлетворения у этого человека, нанесшего такое неслыханное оскорбление моей семье!

– Успокойтесь, джентльмены, – сказал Рэвенсвуд, поворачиваясь к ним и подымая руку, словно предлагая прекратить споры, – успокойтесь. Если жизнь опостылела вам так же, как мне, поверьте, я найду время и место для поединка с каждым из вас. Но сейчас мне не до пустяков.

– Не до пустяков! – повторил полковник, обнажая шпагу.

– Не до пустяков! – закричал Бакло, хватаясь за эфес шпаги, принесенной ему Крайгенгельтом.

Сэр Уильям в страхе за сына бросился между ним и Рэвенсвудом.

– Сын мой, я тебе запрещаю! – воскликнул он. – Бакло, умоляю вас! Именем королевы и закона – ни с места!

– Именем господи нашего, – вскричал Байдибент и, воздев руки к небу, встал между против-

---

<sup>46</sup> Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

никами, – именем господина нашего, ниспославшего на землю мир и благоволение, я прошу вас, я приказываю, я требую – откажитесь от насилия. Алчущий крови не угоден господу. Поднявший меч от меча да погибнет!

– За кого вы меня принимаете, сэр! – воскликнул полковник, гневно глядя на пастора. – Что бы я снес такую обиду в доме моего отца? Пустите меня, Бакло!

Он сейчас же даст мне удовлетворение, или, клянусь небом, я немедленно убью его как собаку.

– Ну нет, этого я не позволю, – ответил Бакло. – Он спас мне жизнь, и, будь он сам дьявол, вознамерившийся погубить ваш дом и род, вы убьете его не иначе, как в честном поединке.

Воспользовавшись несогласием, возникшим в стане противника, Рэвенсвуд заговорил снова.

– Успокойтесь, джентльмены! – сказал он решительно. – Если вы ищете опасности, вам придется немного подождать, пока я освобожусь. Мое дело не потребует много времени. Ваша ли это рука, мисс? – спросил он более мягким тоном, протягивая Люси ее письмо.

Чуть слышное «да» сорвалось с ее губ: казалось, она едва сознает, что говорит.

– И это тоже ваш почерк? – продолжал он, протягивая ей их тайный брачный контракт.

Люси молчала. Страх, а может быть, более сильное чувство, сковал ее разум, и едва ли она понимала, о чем ее спрашивают.

– Если вы намерены предъявлять какие-то требования на основании этих бумаг, – вмешался сэр Эштон, – то предупреждаю вас: они не имеют никакой юридической силы.

– Сэр Уильям Эштон, – сказал Рэвенсвуд, – я прошу вас и всех присутствующих здесь выслушать меня и постараться правильно понять, чего я хочу.

Если мисс Эштон, как мне показалось из ее последнего письма, по собственной воле и собственному желанию требует расторгнуть нашу помолвку, эта бумага будет иметь для меня не больше цены, чем сорванный осенним ветром лист, валяющийся на земле.

Но я хочу услышать отказ из ее собственных уст.

И, не получив его, я не уйду отсюда. Вас здесь много, а я один, и вы можете убить меня, но я вооружен, доведен до отчаяния и дорого продам свою жизнь. Вот вам мое последнее слово: я должен услышать решение вашей дочери от нее самой; от нее самой, наедине, без свидетелей. Теперь выбирайте, – прибавил он: правой рукой он вынул шпагу из ножен, левой достал из-за пояса пистолет и, взведя курок, опустил дулом вниз. – Выбирайте, – повторил он, – либо кровь обогреть этот зал, либо вы дадите мне возможность объясниться с моей нареченной невестой, на что я имею полное право по законам божеским и законам этой страны.

Все невольно отпрянули, устрешенные звуком его голоса и решительным видом: человек, одержимый отчаянием, всегда берет верх над людьми, охваченными более мелкими чувствами. Пастор первым прервал молчание.

– Именем господина нашего, – сказал он, обращаясь к сэру Уильяму, – умоляю вас, не отвергайте посредничества смиренного слуги его. Требование мастера Рэвенсвуда, угрожающего нам насилием, кажется мне основательным. Пусть мисс Люси скажет ему, что она сама сочла нужным согласиться с желанием своих родителей и раскаивается в данном ему слове.

И тогда он удалится с миром и не станет больше тревожить нас. Увы! Роковые следствия грехопадения праотца нашего Адама сказываются даже в созданиях, искупленных спасителем; нам же следует выказывать христианское долготерпение к людям, которые, пребывая во гневе и не праведности, поддаются неудержимому потоку страстей своих. Удостоите мастера Рэвенсвуда объяснением, на котором он настаивает. Оно не сможет глубоко ранить сердце мисс Эштон, ибо эта благородная девица уже твердо решила следовать выбору своих достойных родителей. И да будет так, говорю я. Мой долг просить вас согласиться на это мое предложение.

– Никогда! – вскричала леди Эштон, в сердце которой злоба пересилила удивление и страх. – Никогда этот человек не останется наедине с моей дочерью, нареченной невестой другого джентльмена!

Уходите, если вам угодно, я остаюсь. Я не боюсь ни угроз, ни оружия, хотя кое-кто из моей родни, – прибавила она, бросая взгляд на полковника, – кажется, испугался.

– Ради бога, миледи, – воскликнул достойный пастыр, – не подливайте масла в огонь. Я

уверен, что мастер Рэвенсвуд, принимая в соображение нездоровье мисс Эштон и ваш материнский долг, не станет противиться вашему желанию присутствовать при его разговоре с мисс Люси. Я тоже останусь: быть может, мои седины предотвратят ненужные вспышки гнева.

– Пожалуйста, сэр, – сказал Рэвенсвуд. – Пусть леди Эштон также останется, если ей угодно. Но остальных я попрошу удалиться.;

– Вы мне за все ответите, Рэвенсвуд, – сказал полковник, устремляясь мимо него к выходу.

– Когда вам угодно, – отозвался Рэвенсвуд.

– Не забудьте, – криво улыбнулся Бакло, – что вам прежде придется встретиться со мной: у нас с вами старые счеты.

– Разбирайтесь между собой как знаете, – ответил Рэвенсвуд, – но сегодня попрошу вас оставить меня в покое. Завтра же я сочту самым важным для себя делом дать вам обоим удовлетворение, любое, какое вы сочтете нужным.

Полковник Эштон и Бакло удалились, но сэр Уильям решил задержаться.

– Мастер Рэвенсвуд, – сказал сэр Уильям примирительным тоном, – я, кажется, ничем не заслужил этого позора, этого взрыва ненависти в собственном доме. Если вы вложите шпагу в ножны и проследуете за мной в кабинет, то при помощи самых неопровержимых доводов я докажу, вам всю бесполезность предлагаемого вами разбирательства.

– Завтра, сэр, завтра! – перебил его Рэвенсвуд. – Завтра я выслушаю все, что вам угодно, но сегодня мне надлежит заняться другим священным и необходимым для меня делом.

С этими словами он указал на дверь, и сэр Уильям послушно вышел из комнаты.

Рэвенсвуд вложил шпагу в ножны, разрядил пистолет и спрятал его за пояс, затем запер двери зала, возвратился к столу и, сняв шляпу, устремил на Люси взгляд, исполненный жгучего горя, в котором словно растворилась вся его недавняя ярость.

– Вы узнаете меня, мисс Эштон, – начал он, откидывая назад спадавшие на лоб волосы. – Я Эдгар Рэвенсвуд.

Люси молчала.

– Да, – продолжал он все с большим и большим воодушевлением, – я Эдгар Рэвенсвуд, который из любви к вам порвал священные узы, обязывающие его мстить за попорченную честь рода. Я тот самый Рэвенсвуд, который ради вас простил давние обиды; более того – я дружески жал руку гонителю и разорителю моего семейства, человеку; оклеветавшему и убившему моего отца.

– Моя дочь, – прервала его леди Эштон, – не имеет оснований сомневаться в том, что вы Рэвенсвуд: злобная ненависть, которой пышет ваша речь, не замедлила напомнить ей, что перед нею смертельный враг ее отца.

– Прошу вас, не перебивайте меня, миледи, – возразил Рэвенсвуд. – Я жду ответа от вашей дочери.

Итак, я продолжаю. Мисс Эштон! Я Рэвенсвуд, которому вы дали клятву в верности. Правда ли, что вы хотите отречься, от нее и взять назад свое слово?

Бескровные губы Люси зашевелились.

– Этого хочет моя мать, – еле слышно произнесла она.

– Это правда! – воскликнула леди Эштон. – Именно я, по праву, данному мне богом и людьми, не только посоветовала моей дочери, но и поддержала ее намерение отказаться от злополучного, опрометчиво данного ею слова и считать, согласно священному писанию, эту помолвку недействительной.

– Священному писанию! – презрительно усмехнулся Рэвенсвуд.

– Мистер Байдибент, – обратилась леди Эштон к священнику, – прочтите текст, в силу которого вы сами после долгих раздумий объявили недействительной мнимую помолвку, на которой настаивает этот иступленный безумец.

Пастор достал из кармана библию, отстегнул застёжки и прочел следующее:

– «Если женщина даст обет господу и положит на себя зарок в доме отца своего в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоятся».



– Именно о нас говорят приведенные вами слова, – воскликнул Рэвенсвуд.

– Терпение, молодой человек, терпение, – остановил его пастор, – слушайте, что сказано далее: «Если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зарок, которые она возложила на душу свою, не состоятся и господь простит ей, потому что запретил ей отец ее».

– Ну! – торжествующе крикнула леди Эштон. – Разве не о нас говорят приведенные здесь слова? Посмеет ли он отрицать, что, как только мы, родители обманутой им девушки, узнали о данном ею обете, или зароке, который она возложила на свою душу, мы тотчас решительно воспротивились ее поступку и письменно уведомили этого джентльмена о нашем решении.

– И это все? – воскликнул Рэвенсвуд, повернувшись к Люси. – Неужели ради этих жалких, лицемерных софизмов вы соглашаетесь нарушить священную клятву, которую дали по доброй воле, и принести в жертву нашу любовь?

– Слышите? – закричала леди Эштон. – Он богохульствует!

– Да простит ему господь! – вздохнул пастор. – И да наставит его на путь истины – Вспомните, чем я пожертвовал ради вас, – продолжал Рэвенсвуд, по-прежнему обращаясь к Люси. – Честь древнего рода, советы друзей – ничто не могло поколебать моего решения: ни доводы рассудка, ни предзнаменования не могли заставить меня отказаться от вас. Мертвые выходили из гробов, чтобы предварить меня об опасности, но я не внял их предостережениям. Неужели в благодарность за мою верность вы пронзите мне сердце тем самым оружием, которое, слепо веря вам, я сам вложил в ваши руки?

– Мастер Рэвенсвуд, – прервала его леди Эштон, – вы задали все вопросы, которые сочли нужными. Вы видите, что моя дочь не в силах говорить с вами. Но я отвечу за нее раз и навсегда. Вы хотите знать, по своей ли воле Люси Эштон взяла назад слово, которое вы выманили у нее? У вас в руке письмо, написанное моей дочерью, в котором она просит вас расторгнуть помолвку. Если вам мало этого доказательства – взгляните: вот брачный контракт с мистером Хейстоном Бакло, который она только что подписала в присутствии этого достопочтенного джентльмена.

Рэвенсвуд взглянул на лежащие перед ним листы и словно окаменел.

– Мисс Эштон сама подписала этот контракт?

Без насилия? Без обмана? – спросил он пастора.

– Сама, – ответил Байдибент, – клянусь вам а этом.

– Что ж, миледи, вы представили неопровержимые доказательства, – мрачно сказал Рэвенсвуд. – Бессмысленно, да и недостойно тратить время на пустые уговоры и упреки. Вот, мисс Эштон, возвращаю вам залог вашей первой любви; – и он положил перед Люси ее обязательство и половинку золотой монеты. – Желаю вам сохранить верность слову, данному: вами ныне, и попрошу вас вернуть мне свидетельства моего обманутого доверия, или, вернее, моего безумия.

Люси ответила на презрительные речи своего возлюбленного бессмысленным взглядом; однако она, по-видимому, что-то уловила из его слов, так как подняла руку, словно желая развязать голубую ленту, обвивавшую ее шею. Но силы оставили ее, и леди Эштон поспешила прийти ей на помощь. Перерезав ленту, она сняла с нее половинку золотой монеты, которую Люси все еще носила на груди, – письменное обещание Рэвенсвуда давно уже находилось в руках леди Эштон, – и с надменным поклоном протянула то и другое молодому человеку.

«И она могла носить мой дар! – подумал он, и гнев его заметно смягчился. – Носить на груди... Носить у сердца! Даже в ту минуту, когда она... Но к чему сожаления!»

Отерев набежавшую на глаза слезу, Рэвенсвуд с прежней решительностью подошел к камину, бросил в огонь листок бумаги вместе с кусочком золота и, словно стремясь убедить себя в том, что все кончено, раздавил угли каблуком.

– Я не стану более докучать вам, миледи, – сказал он леди Эштон. – В ответ на ваши зложелательства и интриги я позволю себе только выразить надежду, что вы не станете больше играть честью и счастьем вашей дочери. А вам, мисс, – прибавил он, взглянув на Люси, – скажу: дай бог, чтобы люди не показывали на вас пальцем, как на клятвопреступницу.

С этими словами Рэвенсвуд повернулся и вышел из зала.

Опасаясь встречи с Рэвенсвудом, сэр Уильям просьбами и угрозами увлек сына и Бакло в отдаленную часть замка. Однако, когда Эдгар спускался по большой лестнице, Локхард подал ему

записку от Шолто Дугласа Эштона. Полковник просил уведомить его, где он сможет найти мастера Рэвенсвуда через четыре или пять дней, ввиду необходимости по окончании семейного торжества уладить с ним одно важное дело.

– Передайте полковнику Эштону, – холодно ответил Рэвенсвуд, – что я к его услугам и жду его в башне «Волчья скала».

Когда Эдгар спускался по внешней лестнице, ведущей к воротам, его нагнал Крайгенгельт и от имени своего принципала выразил надежду, что Рэвенсвуд не покинет берегов Шотландии по крайней мере в течение ближайших десяти дней, ибо лорд Бакло желал бы отблагодарить его за некоторые прошлые, равно как и недавно оказанные услуги.

– Скажите вашему хозяину, – раздраженно ответил Рэвенсвуд, – что я буду в башне «Волчья скала».

Он найдет меня там в любое время, если смерть не опередит его.

– Моему хозяину! – возмутился Крайгенгельт, осмелев при виде появившихся на террасе полковника и Бакло. – Да будет вам известно, что нет на земле человека, которого бы я признал своим хозяином.

Я не позволю оскорблять себя.

– Так отправляйтесь в ад. Там ваш хозяин! – крикнул Рэвенсвуд, давая волю накипевшей ярости, и с такой силой отшвырнул от себя капитана, что тот кубарем скатился с лестницы и распластался внизу без чувств.

«Какой я глупец! – подумал Рэвенсвуд. – Зачем я набросился на этого презренного труса!»

Стремительно вскочив на лошадь, оставленную перед замком у балюстрады, он пустил ее шагом. Полковник и Бакло наблюдали за ним с террасы. Поравнявшись с ними, Эдгар приподнял шляпу и пристально посмотрел им в глаза. Они ответили таким же пристальным и мрачным взглядом. Затем Эдгар медленно проехал по аллее, словно желая показать, что не избегает, а скорее ищет с ними встречи, но, миновав ворота, обернулся, в последний раз взглянул на замок, прищипнул коня и поскакал прочь с быстротою адского духа, выпущенного на волю заклинателем.

## Глава XXXIV

*Кто был в покое новобрачных?*

*То ангел смерти Азраил.*

**«Талаба»**

После этой ужасной сцены Люси перенесли в ее комнату, где она пролежала несколько часов в полном оцепенении. На следующий день силы и твердость духа, казалось, к ней вернулись, но вместе с тем появилась какая-то безудержная веселость, вовсе не соответствовавшая ее характеру и тем более состоянию. Вспышки безумного смеха перемежались с приступами молчаливой тоски и припадками необычайной раздражительности. Леди Эштон не на шутку встревожилась и послала за докторами. Они явились, пощупали пульс, не нашли в нем никаких изменений и, объявив, что больная страдает душевным недугом, прописали моцион и развлечения.

Люси ни словом не обмолвилась о том, что было накануне. Казалось, она ничего не помнила из того, что произошло, так как то и дело проводила рукой по шее, словно отыскивая голубую ленту, и, не находя ее там, удивленно и разочарованно бормотала:

– Эта нить связывала меня с жизнью.

Несмотря на эти явные симптомы безумия, леди Эштон зашла уже слишком далеко, чтобы отложить свадьбу дочери, даже при ее теперешнем состоянии.

Напротив, она употребила все усилия, чтобы скрыть болезнь Люси от Бакло, ибо превосходно знала, что стоит ему заметить малейшее нерасположение к себе со стороны невесты, как он тотчас расторгнет помолвку, к величайшему стыду и бесчестию семьи. Поэтому леди Эштон решила, что, если Люси не станет хуже, свадьба совершится в назначенный день. Она утешала себя надеждой, что перемена места, обстановки и новое окружение скорее и вернее исцелят расстроенное воображение ее дочери, нежели все медленные средства, предложенные учеными докторами. Сэр Уильям, лелеявший мысль о возвеличении своего семейства и искавший поддержки против

успешных происков маркиза Э\*\*\*,

– охотно согласился на то, чему он все равно, надо полагать, не мог бы помешать, если бы даже захотел. В свою очередь, Бакло и полковник Эштон даже слушать не хотели об отсрочке: по их мнению, после всего случившегося было бы позором отложить свадьбу хотя бы на час, так как кто-нибудь мог подумать, что они испугались непрошеного визита Рэвенсвуда и его угроз.

Впрочем, если бы Бакло знал о физическом или, лучше сказать, душевном состоянии мисс Эштон, он едва ли стал бы ее торопить. Но, по тогдашнему обычаю, жених и невеста могли видаться очень редко, да и то недолго, – обстоятельство, оказавшееся на руку леди Эштон, – так что Бакло не только не знал, но даже и не подозревал о недуге своей будущей жены.

Накануне дня свадьбы у Люси снова был припадок необычайной веселости: она с детским любопытством пересмотрела все наряды, приготовленные для членов семьи по случаю предстоящей церемонии.

Утро этого памятного дня выдалось великолепное.

Нарядные гости съезжались со всех сторон. Не только родственники сэра Уильяма Эштона и еще более знатная родня его супруги, а также множество друзей и близких Бакло, все пышно разодетые, верхом на великолепных конях, покрытых богатыми чепраками, – но и каждое мало-мальски значительное пресвитерианское семейство на пятьдесят миль в округе почли своим долгом присутствовать на свадьбе, которую рассматривали как победу, одержанную над маркизом Э\*\* в лице его родственника Рэвенсвуда. После роскошного завтрака все стали собираться в церковь.

Вышла невеста в сопровождении матери и брата Генри. Вчерашняя веселость уступила место глубокой задумчивости, что нисколько не противоречило торжественному обряду. Глаза Люси блестели, на щеках играл румянец, чего давно уже не было, и, когда она появилась, сияя великолепием наряда, среди гостей поднялся восхищенный гул, в котором слышны были даже голоса дам. Пока гости садились на лошадей, сэр Уильям – человек миролюбивый, к тому же во всем любивший порядок – пожурил младшего сына за то, что тот нацепил не по росту длинную саблю, принадлежавшую старшему брату.

– Уж если тебе во что бы то ни стало понадобилось надеть оружие для такой мирной церемонии, – оказал он, – так взял бы кинжал, который я нарочно выписал для тебя из Эдинбурга.

Мальчик сказал, что кинжал затерялся.

– Скорее всего ты сам его куда-нибудь запрятал, – заметил отец, – лишь бы покрасоваться с этой огромной саблей на боку, которая под стать разве что сэру Уильяму Уоллесу. Ну, все равно, садись на лошадь и смотри за сестрой.

Генри повиновался и занял место в центре блестящей кавалькады. Он был так занят своей саблей, вышитым камзолом, шляпой с перьями и отлично выезженным конем, что ни на кого не обращал внимания; но впоследствии он до самой смерти вспоминал, что когда подсаживал сестру на лошадь, ее влажная рука была холодна, как могильный мрамор.

Свадебный кортеж, пестрой лентой растянувшись по холмам и долам, достиг наконец приходской церкви, которая едва вместила его, ибо, не считая домочадцев, в нем было более ста мужчин и женщин. Венчание было совершено по обрядам пресвитерианской церкви, к которой с некоторых пор принадлежал и Бакло. На паперти под присмотром Джона Мордшуха, недавно получившего повышение в чине и сменившего обязанности привратника заброшенного кладбища на должность сторожа Рэвенсвудской церкви, было роздано щедрое подаяние нищим всех соседних приходов. Эйлси Гурли и две ее подружки, те самые, что обряжали покойную Элис, усевшись поодаль на могильной плите, завистливо сравнивали полученные ими дары.

– Все-таки мог бы Джон Мордшух вспомнить старые времена и уважить старых приятельниц, хотя он и вырядился нынче в черную рясу, – прошамкала Энни Уинни. – Вместо шести селедок мне досталось только пять, да и те никуда не годятся, а кусок говядины по крайней мере на целую унцию меньше, чем у остальных. И разве это мясо? Одни жилы. Вот твой кусочек, Мегги, кажется от лопатки.

– Мой? – отозвалась параличная старуха. – Одни кости! Уж коли эти богатей суют бедняку подачку на свадьбах да похоронах от щедрот своих, так могли бы хоть дать что-нибудь получше.

– Э-э, милая, – усмехнулась Эйлси Гурли. – Они раздают милостыню вовсе не из любви к нам. Их нимало не заботит, сыты мы или умираем с голода.

Да они не посовестились бы сунуть нам камень вместо хлеба, если бы это потешило их тщеславие. Да еще потребовали бы от нас благодарности, словно и впрямь служат ближним из христианской любви.

– Истинная правда, – согласилась ее подруга.

– Эйлси, ты самая старшая из нас, скажи, видала ли ты такую пышную свадьбу?

– Свадьба хороша, – ответила Эйлси, – только похороны будут еще лучше.

– Люблю похороны, – сказала Энни Уинни. – Кормят на поминках не хуже, чем на свадьбах, и не заставляют при этом скалить зубы, умильно хихикать, делать радостное лицо и желать счастья их пустоголовым светлостям, которые обходятся с нами не лучше, чем со скотиной. Нет, уж я люблю похороны – получил милостыньку и пой себе на здоровье славную песенку:

Есть хлеб у меня и монетка в мошне,  
Не лучше тебе, да не хуже и мне.<sup>47</sup>

– Что правда, то правда, Энни. Пошли нам бог ведро в июле да побольше покойников.

– А не скажешь ли, матушка Гурли, – продолжала хромая, – ведь ты у нас самая старшая и самая умная – кто из этих веселых господ первым отправится на тот свет?

– Видите вон ту щеголиху, убранную золотом и драгоценностями? Вон ту, которую подсаживают на белую лошадь позади молоденького вертопраха в пунцовом камзоле, с длинной саблей на боку.

– Да ведь это новобрачная! – воскликнула Энни Уинни, и даже ее холодное сердце затрепетало от жалости. – Это сама новобрачная! Такая молодая, такая красивая, такая богатая! Неужто час ее близок?

– Пора шить для нее саван, говорю я вам, – сказала вещунья. – В песочных часах ее, что держит смерть, высыплются уже последние крупинки. И что тут удивительного – немало их трясли, эти часы! Скоро начнут падать листья, но ей не видать, как в день святого Мартина ветер станет кружить их по земле.

– Ты, кажется, три месяца ходила за ней, – сказала параличная старуха, – и получила за это, чтобы не соврать, два золотых?

– Как же, как же, – криво усмехнулась Эйлси, – и сэр Уильям посулил мне красную рубашку в придачу, позорный столб, веревку и бочку смолы. Недурно? Все за то, что я с утра до вечера нянчилась с его слабоумной дочкой. Приберег; бы лучше такой подарочек для своей женушки.

– Говорят, с ней опасно иметь дело, – сказала Энни Уинни.

– Глядите, – оживилась Эйлси Гурли, – вон она гарцует на серой кобыле. Ишь какой гордой красавицей сидит в седле! А ведь в ней одной больше дьявольщины, чем во всех шотландских ведьмах, что когда-либо летали на шабаш над Норт-Бериком.

– Что вы тут мелете о ведьмах, старые образины! – прикрикнул на них Мордшух. – Уж не творите ли вы здесь чары, чтоб накликать беду на молодых? Убирайтесь подобру-поздорову! А то как возьму дубинку, так живо найдете дорогу до дому.

– Ой, ой, ой! – притворно запрочитала Эйлси Гурли. – Как же мы возгордились в новой черной рясе и напудренном парике! Будто уж сами никогда не знавали ни голода, ни холода. И мы, конечно, будем сегодня пиликать на скрипке и потешать гостей в замке вместе с другими горемузыкантами, сбжавшимися сюда со всей округи? Смотри, как бы у тебя дека не треснула, Джонни. Вот так-то, дружок!

– Будьте свидетелями, люди добрые, – вскричал Мордшух, – она грозитя наслать на меня

---

<sup>47</sup> Реджиналд Скотт сообщает о старухе, успешно лечившей различные болезни, за что она была обвинена в колдовстве. Когда стали выяснять, как и на каких условиях старуха эта занималась врачеванием, оказалось, что за свои услуги она брала только каравай хлеба и серебряную монету, а все колдовство, при помощи которого удалось излечить столько недугов, заключалось в исполнении той самой песенки, что приведена нами выше. (Прим, автора.)



беду, порчу на меня напускает Ну, погоди ж ты у меня. Если нынче ночью со мной что случится или скрипка моя сломается, так тебе не поздоровится. Век меня будешь помнить. Потащу тебя и в суд и в синод. Я теперь сам вроде пастора: не кто-нибудь, а церковный сторож в большом приходе.

Если взаимная ненависть, существовавшая между старыми колдуньями и остальной частью рода человеческого, отвратила их сердца от веселья, то этого никак нельзя было сказать об окрестных жителях.

Великолепие свадебного поезда, яркие наряды, резвые кони, праздничный вид красивых женщин и блестящих кавалеров, прибывших на венчание, – все это произвело свое обычное действие на толпу. Когда жених и невеста вышли из церкви, народ приветствовал их криками: «Да здравствуют Эштоны и Бакло!», грянули выстрелы из пистолетов, ружей и мушкетенов – салют в честь новобрачных, и все собравшиеся повалили в замок. Правда, нашлось несколько стариков и старух, подтрунивавших над помпезным шествием выскочек Эштонов и вспоминавших былые дни благородных Рэвенсвудов, но и они, соблазнившись обильным угощением, которое в этот день ожидало в замке и богатых и бедных, несмотря на предубеждение, признали власть l'Amphitriton ой l'op dine..<sup>48</sup>

Таким образом, сопровождаемая многочисленной свитой, состоящей из богатых, равно как и бедных, Люси возвратилась под родительский кров. Бакло всю дорогу ехал рядом с молодой женой, но, не зная, как вести себя в новом положении, заботился только о том, чтобы показать себя и свое искусство наездника, отнюдь не стремясь завязать с Люси беседу. Наконец под несмолкаемый гул радостных приветствий новобрачные благополучно прибыли в замок.

В старину свадьбы справлялись пышно, при большом стечении народа – обычай, отвергнутый в наш более утонченный век. Эштоны задали гостям роскошный пир, остатков которого хватило не только слугам, но и горланящей у дверей толпе; при этом хозяева приказали выкатить множество бочонков эля, так что веселье во дворе не уступало ликованию в покоях замка. Мужчины, по обычаю того времени, долго сидели за столом, ублажая себя дорогими винами, тогда как дамы с нетерпением ожидали их появления в зале, чтобы, как водится, завершить свадебное празднество балом. Наконец, довольно поздно, мужчины, разгоряченные вином и оживленные ввиду радостного события, явились в зал и, сняв шпаги, пригласили потерявших всякое терпение дам на танцы.

На хорах уже играла музыка, разносившаяся под сводами древнего замка. Хотя по правилам этикета бал должны были открыть новобрачные, леди Эштон, сославшись на нездоровье дочери, сама подала руку Бакло и предложила ему начинать.

Но в ту минуту, когда, грациозно откинув голову, леди Эштон застыла в ожидании первого удара смычка, возвещавшего начало танца, она вдруг увидела странную перемену в убранстве зала.

– Кто посмел заменить портрет? – невольно воскликнула она.

«Все взоры мгновенно устремились на стену, и те из гостей, кому приходилось бывать в этом зале раньше, с удивлением заметили, что на месте изображения отца сэра Уильяма висел теперь портрет сэра Мэлиза Рэвенсвуда, словно с гневом и мстительной усмешкой взиравшего на собравшееся здесь общество.

Подменить портрет могли лишь в короткий промежуток времени, когда зал оставался пустым, и никто ничего не заметил, пока не зажгли люстры и канделябры для бала. Мужчины, со свойственной им надменностью и горячностью, потребовали немедленно разыскать виновника, оскорбившего хозяина и всех гостей; но к леди Эштон уже вернулось самообладание, и она объявила, что это – не стоящая внимания проделка полоумной служанки, содержащейся в замке из милости: бедняжка наслушалась рассказов Эйлси Гурли о «прежнем семействе», как леди Эштон называла Рэвенсвудов. Злополучный портрет немедленно вынесли, и леди Эштон открыла бал. Грациозность и достоинство заменяли ей очарование юности, и, глядя на нее, нельзя было не согласиться с неумеренными похвалами, которые расточали ей старики, уверявшие, что она танцует

---

<sup>48</sup> Амфитриона, у которого обедают (франц).

несравненно лучше молодых.

Возвратившись на место, леди Эштон обнаружила, что, как и следовало ожидать, Люси покинула зал, и тотчас поспешила за нею следом, намереваясь изгладить то тяжелое впечатление, которое, по всей вероятности, должна была произвести на дочь таинственная замена портрета. Повидимому, опасения леди Эштон не оправдались, так как примерно через час она вернулась к гостям и, подойдя к новобрачному, шепнула ему что-то на ухо, после чего тот вышел из круга танцующих и исчез. Музыка играла все громче, пары кружились в танце со всем пылом молодости, вдохновляемой весельем и праздничным настроением, как вдруг раздался страшный, пронзительный вопль. Музыка замолкла, танцы прекратились. Крик повторился. Тогда полковник Эштон, схватив канделябр и потребовав у Генри, исполнявшего обязанности шафера, ключ от спальни новобрачных, бросился туда, сопровождаемый сэром Уильямом, леди Эштон и несколькими ближайшими родственниками; гости, оцепенев от ужаса, ожидали их возвращения.

Подойдя к спальне, Шолто постучался и окликнул сестру и Бакло, но ответа не последовало: из спальни слышались только приглушенные стоны. Тогда полковник решительно толкнул дверь, но что-то лежащее изнутри мешало отворить ее. Наконец дверь подалась – на пороге в луже крови лежал несчастный жених. Присутствующие не могли сдержать крик ужаса, и гости, услышав это новое подтверждение беды, толпою ринулись в спальню.

– Она его убила, – шепнул Полковник матери. – Ищите ее!

И, выхватив шпагу из ножен, он стал на пороге, громко крича, что никому, кроме пастора и доктора, не позволит войти в комнату. Бакло еще дышал; его подняли и перенесли в соседнюю опочивальню, куда собрались его друзья; встревоженные и негодующие, они горели нетерпением поскорее узнать приговор врача.

Между тем сэр Уильям, леди Эштон и прибежавшие с ними родственники обыскали брачное ложе и обшарили всю спальню, но никого не нашли, а так как в этой комнате не было второго выхода, то оставалось предположить, что Люси выбросилась в окно.

Вдруг один из искавших, случайно наклоняв свечу, заметил что-то белое в глубине большого старинного камина. Это была Люси. Она сидела или, вернее, скорчилась, поджав ноги, словно заяц, волосы ее были растрепаны, ночная рубашка разодрана и забрызгана кровью, глаза дико блестя, лицо сводила судорога.

Увидев, что ее обнаружили, она что-то быстро и невнятно забормотала, затем принялась корчить гримасы и, растопырив окровавленные пальцы, торжествуя замахала руками.

Только с помощью служанок несчастную удалось силой извлечь из ее убежища; когда же ее выводили из комнаты, она обернулась и, словно насмехаясь и торжествуя, произнесла единственные за все время членораздельные слова:

– А! Где же ваш прекрасный женишок?

Дрожащие от страха служанки отвели Люси в другую комнату, в отдаленной части замка, где ее уложили в постель и оставили под неусыпным надзором нескольких женщин, как того требовало ее состояние. Невозможно передать отчаяние родителей, ужас и смятение гостей, яростное столкновение между друзьями Бакло и приверженцами Эштонов, кипение страстей, распаленных еще не выветрившимися винными парами.

Только врачу удалось наконец водворить тишину и заставить обе стороны выслушать себя. Он объявил, что, хотя рана Бакло глубока и опасна, она не смертельна, если его оставить в покое и не трогать с места.

Это заявление положило конец неистовству друзей пострадавшего, настаивавших, чтобы его немедленно перевезли в дом кого-нибудь из них. Однако они потребовали, чтобы, ввиду случившегося, четверо из них вместе с должным количеством вооруженной челяди остались в замке для охраны раненого. Полковник Эштон и сэр Уильям приняли это условие, и остальные друзья Бакло, несмотря на поздний час и темноту, тотчас покинули замок. Доктор между тем занялся мисс Эштон, чье состояние, по его мнению, было крайне серьезным. Немедленно послали за другими врачами. Всю ночь Люси металась в бреду, а к утру впала уже в полное беспамятство. Доктора объявили, что вечером наступит кризис. Действительно, к ночи больная очнулась, позволила переменить на себе белье и оправить постель. Но едва она подняла руку к шее, словно отыскивая го-

лубую ленту, как ее охватили ужасные воспоминания, которых она не в силах была вынести. Начались судороги, и вскоре бедняжка умерла, так и не сказав ни слова о том, что произошло накануне между нею и Бакло.

На следующее утро после смерти Люси прибыл шериф и, стараясь по возможности щадить несчастное семейство, произвел расследование печального происшествия. Он не нашел никаких улик, подтверждающих всеобщее мнение, будто невеста в неожиданном припадке исступления заколола жениха на пороге спальни. Правда, в комнате нашли окровавленный кинжал – тот самый кинжал, который пропал у Генри в день свадьбы: Люси, по-видимому, сумела припрятать его накануне, когда брат показывал ей обновки, привезенные из Эдинбурга.

Друзья Бакло надеялись, что, выздоровев, он не замедлит пролить свет на эту темную историю, и настойчиво предлагали ему множество вопросов, но больной все время уклонялся от ответов, ссылаясь на слабость и недомогание. Когда же доктора объявили, что он совсем оправился, и разрешили ему перебраться в собственный дом, Бакло собрал своих близких, мужчин, равно как и женщин, считавших себя вправе рассчитывать на его откровенность, и, поблагодарив за оказанное ему участие, так же как и за предложение поддержки и помощи, сказал:

– Я хочу, чтобы вы знали, что мне нечего сообщать вам и не за что мстить. Если о событиях этой несчастной ночи меня спросит дама, я ничего ей не отвечу, но впредь буду считать, что она пожелала прекратить со мной знакомство. Если же такой вопрос задаст мне мужчина, я приму это за оскорбление и предложу ему встретиться со мной в аллее Герцога.<sup>49</sup>

Такое решительное заявление не требовало дополнительных объяснений. Бакло поднялся с постели другим человеком: серьезным и благоразумным. Он отказался от услуг Крайгенгельта, щедро одарив его на прощание, так что, если бы наш бравый капитан здраво распорядился полученной суммой, он никогда не знал бы ни бедности, ни искушений.

Вскоре Бакло уехал за границу, чтобы никогда уже не возвращаться в Шотландию, и до самой своей смерти никому ни единым словом так и не обмолвился о событиях роковой ночи.

Многие читатели, пожалуй, найдут наш рассказ слишком страшным, чересчур романтичным и припишут это неистовому воображению автора, желающего угодить вкусам толпы, любящей, как известно, все ужасное, но те, кому приходилось читать семейные хроники Шотландии, несмотря на перемену имен и некоторые дополнительные подробности, узнают в нашей истории некое истинное происшествие.

## Глава XXXV

*Чьи ум и сердце так окаменели,  
Чтоб весть о столь неслыханной беде  
Из них бы не исторгла скорбной песни?  
Узреть, как столь достойный кавалер  
Был на землю повергнут и погиб  
Так неожиданно и так ужасно,  
Когда безвестным долом мчался он.  
Стихотворение из «Геральдики»*

**Низбета, т. II**

Сообщив читателю о выздоровлении Бакло и его дальнейшей судьбе, мы несколько забежали вперед, чтобы затем уже не отвлекаться от событий, последовавших за погребением несчастной Люси. Эта печальная церемония совершилась на рассвете в туманный осенний день; Люси хоронили без всякой пышности, ограничившись самыми необходимыми обрядами.

Только ближайшие родственники пришли проводить тело усопшей в ту самую церковь, где всего несколько дней назад она, против своей воли, венчалась с Бакло. Простой гроб, на котором

---

<sup>49</sup> Аллея в окрестностях Холирудского замка, названная так в честь герцога Йоркского, впоследствии Иакова II, который часто гулял по ней во время своего пребывания в Шотландии. Аллея эта в течение долгого времени служила местом дуэлей. (Прим, автора.)

не значилось ни имени, ни числа, опустили в семейный склеп, устроенный сэром Уильямом в одном из приделов церкви, и каменная могила скрыла бранные останки той, что некогда была прелестным, кротким, невинным существом и умерла, доведенная до безумия настойчивым и безжалостным преследованием.

Пока в склепе происходил печальный обряд, три деревенские ведьмы, словно вороны, почуявшие падаль, несмотря на ранний час, уже восседали на могильной плите и по обыкновению вели между собой нечестивую беседу.

– Ну, кумушки, – сказала Эйлси Гурли, – разве я не говорила вам, что за пышной свадьбой последуют пышные похороны?

– Не вижу здесь ничего пышного, – возразила Энни Уинни. – Нет ни мяса, ни эля. Швырнули нам несколько серебряных монет – и все. Стоило плестись ради этого в такую даль. Ведь мы уж не молоденькие.

– Молчи, глупая! – ответила Эйлси. – Никакое угощение не сравнится с блаженным чувством возмездия. Всего четыре дня назад они гарцевали на холеных конях, а ныне бредут такие же понурые и приумолкшие, такими были мы в день их веселья.

Тогда на них сияло золото и серебро, а ныне они черны, как печная заслонка. А эта гордычка мисс Эштон! Она дрожала от отвращения, когда к ней приближалась честная женщина. А теперь даже жаба может квакать на крышке ее гроба, и она не в силах прогнать ее. В груди у леди Эштон

– ад. А сэр Уильям, грозный несчастным виселицами, кострами и позорным столбом! Хотелось бы мне знать, какого он мнения о колдовстве, которым промышляют в его собственном доме?

– Говорят, дьявол стащил молодую с брачного ложа и унес в трубу, а молодому свернул голову на сторону, – прошамкала параличная старуха.

– Не все ли равно, кто это сделал и как он с ними справился, – усмехнулась Эйлси. – Ясно, что здесь не обошлось без нечистого. О, достойные леди и джентльмены надолго запомнят этот день!

– А правда, – спросила Энни Уинни, – правда, будто портрет старого сэра Мэлиза Рэвенсвуда вышел из рамы и напугал всех, кто тогда был в зале?

– Нет, не так. Но портрет действительно оказался в зале, – сказала Эйлси. – Уж кому-кому, а мне доподлинно известно, как он туда попал: он явился, чтобы предречь Эштонам конец их гордыни. Но это было не последнее знамение. И сейчас там, в склепе, тоже нечисто... Вы видели, что их двенадцать в трауре попарно спустились в склеп?

– Очень нужно было на них смотреть, – сказала хромая.

– Двенадцать, я сосчитала, – оживилась старшая из старух, для которой похороны были слишком интересным зрелищем, чтобы смотреть на них равнодушно.

– Вы, верно, не заметили, что к ним присоединился тринадцатый, о котором они ничего не знают, – торжествующе продолжала Эйлси, довольная тем, что превосходит подруг наблюдательностью. – Если старые поверья не лгут, одному из них недолго ходить по земле. Но пойдете отсюда, кумушки. Случись здесь несчастье, мы же первые будем в ответе, а хорошего тут ждать нечего.

И, зловеще каркая, словно вороны перед мором, три пророчицы удалились с кладбища.

В самом деле, когда погребальный обряд кончился, провожающие заметили, что их стало одним человеком больше, и шепотом сообщили эту новость друг другу. Подозрение пало на юношу, одетого, как и все, в глубокий траур. Он стоял, прислонившись к одному из столбов склепа, и, по-видимому, никого не видел и ничего не слышал. Родственники Эштонов начали перешептываться, выражая свое недоумение и неудовольствие появлением незнакомца. Но полковник Эштон, который в отсутствие отца распоряжался церемонией, попросил их замолчать.

– Я знаю, кто это, – сказал он. – У этого человека не меньше, чем у нас, причин для скорби и, вероятно, вскоре будет еще больше. Предоставьте мне заняться им и не нарушайте похоронной службы ненужной оглаской.

С этими словами он подошел к незнакомцу и, тронув его за рукав, произнес негромко, но решительно:

– Следуйте за мной.



При звуке его голоса незнакомец словно очнулся от забытья и машинально повинился. Они поднялись по обветшалым ступеням, ведущим из склепа на погост. Остальные пошли за ними и, задержавшись у двери склепа, с тревогой наблюдали за тем, что происходит между полковником и незнакомцем, которые, отойдя в дальний конец кладбища, остановились в тени старого тиса и, по-видимому, вступили в оживленную беседу.

– Я, без сомнения, говорю с мастером Рэвенсвудом? – спросил полковник, когда они достигли этого уединенного места.

Незнакомец молчал.

– Так, значит, я говорю с убийцей моей сестры? – воскликнул Шолто, дрожа от злобы.

– Вы назвали мое имя, – ответил Рэвенсвуд глухим, прерывающимся голосом.

– Если вы раскаиваетесь в том, что сделали, – сказал полковник, – то пусть прощает вас бог! Меня же вы не растрогаете! Вот мера моей шпаги, – прибавил он, протягивая Рэвенсвуду листок бумаги, – время встречи – завтра на рассвете, место – песчаная коса к востоку от Волчьей Надежды.

Рэвенсвуд взял листок; казалось, он был в нерешительности.

– Не доводите до последней крайности несчастного, уже и так доведенного до отчаяния, – произнес он наконец. – Живите с миром, пока можете, а мне дайте умереть от чьей-нибудь другой руки.

– Нет, не бывать этому! – воскликнул полковник. – Или я убью вас, или вы довершите гибель моего семейства, убив меня. Если вы не примете мой вызов, знайте: я буду всюду преследовать вас, буду оскорблять вас, пока имя Рэвенсвуда не станет символом бесчестья, благо оно уже стало эмблемой низости.

– Вам не удастся покрыть позором честное имя Рэвенсвудов, – гневно воскликнул Эдгар. – Если суждено, чтобы с моей смертью угас наш славный род, я обязан памяти предков оградить их от бесчестья.

Я принимаю ваш вызов и согласен на все условия.

Полагаю, у нас не будет секундантов?

– Мы встретимся одни, – сказал полковник Эштон. – И только один из нас вернется после поединка.

– Да простит господь душу того, кто падет, – произнес Рэвенсвуд.

– Аминь! – отозвался полковник. – Эту милость я готов оказать даже смертельному врагу. А теперь расстанемся, нам могут помешать. Итак, завтра на рассвете, на песчаной косе к востоку от Волчьей Надежды, оружие – шпаги!

– Превосходно! Я не заставлю себя ждать, – ответил Рэвенсвуд.

Они разошлись. Рэвенсвуд направился к лошади, оставленной им за церковной оградой. Эштон присоединился к ожидавшим его родственникам. Вернувшись в замок, Шолто под благовидным предлогом оставил гостей и, сменив траурные одежды на костюм для верховой езды, отправился в Волчью Надежду, намереваясь заночевать в гостинице, чтобы рано утром явиться на место дуэли.

Неизвестно, как провел Рэвенсвуд остаток этого печального дня. Поздно ночью он прибыл в башню «Волчья скала» и разбудил старого Калеба, уже не чаявшего дожидаться своего господина. Сметные, противоречивые слухи о трагической смерти мисс Эштон, вызванной таинственными причинами, дошли до старика, наполнив сердце его глубочайшей тревогой: он опасался за рассудок Рэвенсвуда. Поведение молодого человека нимало не рассеяло эти страхи. Сначала Эдгар ничего не отвечал Калебу, испуганно молившему его подкрепиться с дороги, затем потребовал вина и против обыкновения выпил сразу несколько рюмок. Увидев, что хозяину не до – ужина, Калеб попросил позволения проводить его в спальню. Ему пришлось несколько раз повторить эту просьбу, прежде чем Эдгар, по-прежнему не говоря ни слова, знаком выразил согласие. Однако, когда Болдерстон проводил молодого хозяина в заново отделанную комнату, которую тот занимал со времени своего возвращения, Рэвенсвуд, словно вкопанный, остановился на пороге.

– Не сюда, – сказал он глухо, – проведите меня в комнату, где умер отец, в ту комнату, где ночевала она.

– Кто, сэръ? – спросил Калеб, ничего не соображавший с испуга.

– Она, Люси Эштон! Ты хочешь убить меня, старик! Зачем ты заставляешь меня произносить ее имя!

Калеб хотел было возразить, что старая спальня очень запущена, но, взглянув на хозяина, лицо которого приняло раздраженно-нетерпеливое выражение, не сказал ни слова. Молча, дрожа от страха, старик пошел вперед, освещая путь. Придя в заброшенную комнату, он поставил лампу на стол и кинулся оправлять постель, но Рэвенсвуд тоном, не допускающим промедления, приказал ему удалиться. Старик повиновался, но не пошел спать, а стал молиться за своего господина. Время от времени он прокрадывался к закрытой двери, но всякий раз убеждался, что Рэвенсвуд еще не ложился. До его слуха беспрестанно доносился звук тяжелых шагов, изредка прерываемый глухими стонами. Этот непрерывный стук от тяжело ступающих ног безошибочно говорил ему, что его несчастный хозяин охвачен неудержимым отчаянием.

Старику казалось, что ночь никогда не кончится. Но время не считается с нашими ощущениями и проходит своей чередой, независимо от того, кажется ли нам его течение медленным или быстрым. Наступил рассвет, и румяные полосы легли на необъятную гладь поблескивавшего океана. Было начало ноября, и для поздней осени стояла удивительно тихая, ясная погода. Но ночью поднялся восточный ветер, и волны ближе, чем обычно, подступили к подножию скалы, на которой высилась башня.

С первыми лучами зари Калеб снова подкрался к дверям спальни и сквозь щелку увидел, что Рэвенсвуд измеряет шпаги, хранившиеся в соседнем чулане.

Остановив свой выбор на одной из них, Эдгар пробормотал:

– Его шпага длиннее. Тем лучше! Пусть у него будет еще одним преимуществом больше.

Калебу не нужно было объяснять, что означают все эти приготовления. Он также знал, что его вмешательство ни к чему не приведет. Он едва успел отскочить от двери: Рэвенсвуд внезапно вышел из комнаты и направился к конюшням. Верный слуга бросился за ним. Платье Рэвенсвуда было в беспорядке, взор блуждал, и Калеб мог убедиться, что его молодой хозяин провел эту ночь не сомкнув глаз.

Когда Калеб вошел в конюшню, Рэвенсвуд седлал коня. Протянув дрожащие руки, Калеб прерывающимся голосом попросил разрешения помочь ему, но Эдгар знаком отклонил его услуги и вывел коня во двор. Калеб вышел следом. Эдгар уже занес ногу, чтобы вскочить в седло, когда старый дворецкий, подчиняясь чувству глубокой привязанности к хозяину,

– единственной привязанности всей его жизни, – превозмог страх и, бросившись к ногам Рэвенсвуда, припал к его коленям.

– О сэръ, о мой господин, – молил он. – Убейте меня, если вам угодно, но откажитесь от страшного дела! Подождите один день! Завтра... Завтра приедет маркиз. Он все уладит.

– У вас больше нет господина, Калеб, – сказал Рэвенсвуд, пытаясь освободиться от него. – Бедный старик, зачем цепляться за башню, которая уже готова рухнуть?!

– Нет, у меня есть господин! – вскричал Калеб, не выпуская Рэвенсвуда. – У меня есть господин, пока жив наследник рода Рэвенсвудов. Я слуга, я родился слугой вашего отца, нет, еще вашего деда! Я родился, чтобы служить семье Рэвенсвудов, жил для них и умру за них! Оставайтесь! Оставайтесь, и все устроится.

– Устроится! Устроится! – мрачно повторил Рэвенсвуд. – Глупый старик, в моей жизни уже ничего не может устроиться, и самым счастливым часом я назову свой смертный час.

С этими словами он вырвался из рук старого дворецкого, вскочил на коня и выехал за ворота; но тотчас вернулся обратно, бросив кинувшемуся ему на встречу Калебу туго набитый золотом кошелек.

– Назначаю вас моим душеприказчиком, Калеб! – крикнул он и, натянув поводья, поскакал под гору.

Золото так и осталось лежать на земле: старый слуга, забыв все на свете, смотрел вслед удаляющемуся хозяину, который, свернув налево, пустил коня по узкой извилистой тропинке, спускавшейся через расселину в скале к маленькой бухте, где в былое время стояли на причале лодки Рэвенсвудов. Проследив, по какой дороге поехал Эдгар, Калеб поспешно поднялся на сторожевую

башню, откуда открывался вид на все побережье, до самой Волчьей Надежды. Он видел, как Эдгар во весь опор мчится по направлению к деревне, и вдруг вспомнил страшное пророчество о том, что последний лорд Рэвенсвуд погибнет в зыбучих песках Келпи, лежащих на полпути между башней и песчаной косой, к востоку от Волчьей Надежды. Эдгар достиг роковых песков – и исчез.

Полковник Эштон, снедаемый жаждой мщения, уже прибыл на условленное место и в ожидании противника крупными шагами расхаживал взад и вперед, бросая нетерпеливые взгляды на старую башню.

Солнце уже встало и ярким диском сияло над морем.

Полковник без труда мог различить фигуру всадника, скакавшего к нему с не меньшим нетерпением. Внезапно всадник и лошадь скрылись из виду, будто растаяли в воздухе. Шолто протер глаза: уж не призрак ли ему привиделся? – и бросился к пескам.

С другой стороны навстречу ему бежал Болдерстон.

Они не нашли никаких следов... Осенние ветры и высокие приливы отодвинули границу зыбучих песков, и, по всей вероятности, несчастный в безумной своей поспешности предпочел укатанной тропинке у подножия скалы прямой, но самый опасный путь. Позднее, во время прилива, море выбросило к ногам Калеба черное перо, украшавшее шляпу Рэвенсвуда. Старик поднял его, обшусил и с тех пор носил у сердца.

Узнав о случившемся, жители Волчьей Надежды сбежались к месту ужасного происшествия; они обыскали все побережье и даже выходили на лодках в море, но тщетно: зыбучие пески не отдают своей добычи.

Наш рассказ подходит к концу. Обеспокоенный тревожными слухами и опасаясь за благополучие родственника, маркиз Э\*\*\*на следующий день прибыл в «Волчью скалу». Возобновив поиски и ничего не найдя, он оплакал потерю и возвратился в Эдинбург, где вскоре множество политических и государственных дел помогло ему забыть о случившемся.

Но Калев Болдерстон ничего не забыл. Если бы мирские блага могли утешить старика, он жил бы в довольстве и счастье, ибо к старости был обеспечен не в пример лучше, чем когда-либо в молодые годы; но жизнь утратила для него всякий интерес. Все его помыслы, все его чувства – гордость, радости, горе – были неотделимы от исчезнувшего рода Рэвенсвудов.

Он ходил с опущенной головой, оставил все прежние свои занятия и привычки и только бродил по покоям старой башни, где некогда жил Рэвенсвуд. Он ел, не ощущая вкуса пищи, спал, не обретая покоя; не прошло и года со времени ужасного происшествия, как верный старик умер с тоски по хозяину – преданность, на которую иногда бывает способна собака, но человеческой натуре почти не свойственная.

Род Эштонов просуществовал немногим дольше рода Рэвенсвудов. Сэр Уильям Эштон похоронил старшего сына, убитого на дуэли во Фландрии, а Генри, унаследовавший титул и состояние отца, умер бездетным. Леди Эштон достигла глубокой старости, пережив всех тех, кого погубила своим неукротимым нравом. Возможно, что в глубине души она раскаялась и примирилась с богом, чего мы не хотим и не смеем отрицать, но внешне не обнаруживала ни малейших признаков раскаяния или сожаления, оставаясь такой же гордой, надменной и непреклонной, какой была до рассказанных выше печальных событий. Великолепное мраморное надгробие сохраняет для потомства ее имя, титулы и добродетели, тогда как несчастные жертвы ее не удостоились ни памятников, ни эпитафий.

## **КОММЕНТАРИИ**

Роман «Ламмермурская невеста» – четвертый из цикла «Рассказы трактирщика», вышедшего под вымышленным именем Питера Петтисона, – появился в 1819 году. В период его создания Вальтер Скотт был тяжело болен. Он диктовал «Ламмермурскую невесту» секретарям, которые тут же отправляли готовые страницы в типографию. В основу романа легла легенда, связанная с трагическим событием в семействе Джеймса Далримпла, лорда Стэра (1619–1695), шотландского государственного деятеля и юриста. Скоропостижная смерть его старшей дочери Дженет в 1659 году, последовавшая через месяц после ее свадьбы с шотландским дворянином Дэвидом Данбаром

из Болдуна, вызвала множество толков. По одной из версий Дженет Далримпл тайно обручилась с лордом Рутвенем, но по настоянию матери, леди Стэр, была выдана замуж за Данбара. В припадке безумия Дженет пыталась в брачную ночь заколоть своего мужа. Спустя месяц она скончалась. Вальтер Скотт воспользовался этой легендой, но изменил место и время действия: события романа разворачиваются не в юго-западной части Шотландии, а в восточных районах страны, и на полвека позже.

Как всегда у Вальтера Скотта, судьба главного героя романа Рэвенсвуда оказывается неразрывно связанной с историческими событиями. Время действия романа относится к 1709–1710 годам. Эти годы не отмечены взрывами народных восстаний или бурными столкновениями враждующих сторон в гражданской войне. Тем не менее они едва ли заслуживают названия «мирных».

Государственный переворот 1688–1689 годов, лишивший Иакова II Стюарта английского престола, явился «компромиссом между неофициально, но фактически господствующей во всех решающих сферах буржуазного общества буржуазией и официально правящей земельной аристократией». (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 11, стр. 99 – 100.) Переворот был совершен без участия народа и менее всего отвечал его интересам. Одним из непосредственных результатов достигнутого компромисса была массовая экспроприация крестьянства как в Англии, так и в Шотландии, где этот процесс происходил особенно болезненно.

В 1707 году между Англией и Шотландией был заключен договор, по которому оба государства объединялись в Соединенное королевство Великобритании. Хотя формально Шотландия вступала в союз с Англией на равных началах, фактически как в экономическом, так и в политическом отношении уния 1707 года сулила выгоды только Англии: Шотландия оказалась покоренной и закабаленной своим могущественным соседом. В связи с этим усилились антианглийские настроения в Шотландии, питавшиеся многовековой борьбой и ненавистью к завоевателям.

Этими настроениями умело пользовались сторонники Стюартов, стараясь привлечь шотландцев на сторону изгнанной династии. На протяжении всей первой половины XVIII века в Шотландии то и дело вспыхивали восстания, и первое десятилетие, в которое происходит действие «Ламмермурской невесты», насыщено атмосферой грядущих событий – восстаний 1715–1716 и 1745 годов.

С другой стороны, государственный переворот 1688–1689 годов, поставивший у власти землевладельцев и капиталистов, сопровождался небывалой по своей откровенности и цинизму борьбой за политическую власть. Деятели, подобные беспринципному, алчному интригану Марлборо, возглавили борьбу политических партий – вигов и тори, оспаривавших друг у друга власть.

«Ламмермурская невеста» – самый мрачный из всех шотландских романов Скотта. Ни один из них не заканчивается столь несчастливо – гибелью обоих главных героев, ни в одном из них не встречается такого обилия зловещих пророчеств и предзнаменований. «Трагедией в форме романа» назвал эту книгу Белинский.

«Ламмермурскую невесту» Скотта неоднократно сравнивали с трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта». И тут и там поэтическая любовь принесена в жертву вражде и ненависти. Но здесь причина вражды иная. На этот раз не феодальные пережитки, а беспринципная политическая игра и разгул корыстных интересов – новый порядок нового буржуазного общества – разбивают союз молодых людей, несут им разлуку и смерть. Драматичность сюжета и сравнительно небольшое число действующих лиц позволяли приспособить «Ламмермурскую невесту» для сцены. Из сценических переделок наибольшую известность получила опера итальянского композитора Доницетти «Лючия ди Ламмермур» (1836) и пьеса «Рэвенсвуд» (1890), шедшая с участием крупнейшего английского трагического актера Генри Ирвинга.

Панч и супруга его Джоан – главные действующие лица народного кукольного театра в Англии.

Питер Петтисон – вымышленный автор «Ламмермурской невесты» и других романов («Черный карлик», «Пуритане», «Эдинбургская темница», «Легенда о Монтрозе», «Граф Роберт Парижский» и «Замок Опасный»), включенных Вальтером Скоттом в цикл «Рассказы трактирщика».

... рычать, что твой соловушка... – Шекспир, «Сей в летнюю ночь» (акт I, сц. 2).

... как пленный Самсон, всю жизнь вертеть жерном... – Согласно библейской легенде, Сам-



сон был захвачен в плен филистимлянами, которые заставили его молоть зерно, а затем потребовали, чтобы он забавлял их во время празднества. Самсон, обладавший титанической силой, обрушил на своих врагов храм и сам погиб под его обломками.

... эти чувства выражены, в словах Овидия... – Древнеримский поэт Публий Овидий Назон (43 до н. э. – 17 н. э.), сосланный императором Августом на берег Черного моря, в последних произведениях («Скорбные послания» и «Послания с Понта») постоянно жаловался на свою судьбу и молил вернуть его в Рим.

Далее цитируются «Скорбные послания».

Тенирс Давид Младший (1610–1690) – фламандский художник, прославившийся жанровыми сценами из крестьянского быта.

Уилки Дэвид (1785–1841) – шотландский художник; приобрел известность картинами на бытовые темы, главным образом из жизни шотландских крестьян.

Поп Александр (1688–1744) – английский поэт, глава английского просветительского классицизма.

Джедедия Клейшботэм – вымышленный издатель цикла романов Вальтера Скотта, вышедших под общим названием «Рассказы трактирщика».

... клянусь душою сэра Джошуа... – Имеется в виду сэр Джошуа Рейнолдс (1723–1792), крупнейший английский художник XVIII в., основатель и первый президент английской Академии художеств.

Уильям Уоллес (1270–1305) – национальный герой Шотландии; вел успешную борьбу против англичан. В 1305 г, в результате предательства Уоллес был захвачен в плен английским королем Эдуардом I (1272–1307) и казнен.

Хогарт Уильям (1697–1764) – выдающийся английский живописец и теоретик искусства.

Доменикино (Доменико) Дзампери (1581–1641) – итальянский художник, один из главных представителей итальянского академизма XVII в.

Морленд Джордж (1763–1804) – английский художник, снискавший известность пейзажами и жанровыми картинами из быта крестьян, рыбаков и ремесленников.

... на приз Общества... – Имеется в виду Британское общество – филантропическая организация, основанная с целью помощи художникам.

Соммерсет-хауз – одно из лондонских зданий, в котором устраивались различные выставки. В настоящее время в нем находятся государственные учреждения.

Босуэл – персонаж из романа Вальтера Скотта «Пуритане».

Карл II Стюарт – король Англии и Шотландии с 1660 по 1685 г.

Дэвид Дине – персонаж из романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».

Елизаветинская эпоха – период правления английской королевы Елизаветы I Тюдор (1558–1603).

... в ван-дейковском костюме... – то есть в костюме, характерном для английской знати на портретах фламандского художника Антониса Ван-Дейка (1599–1641), последние годы жизни (с 1632) работавшего при дворе английского короля Карла I Стюарта (1625 –! 649).

Хинес де Пасамонт – персонаж из романа Сервантеса «Дон-Кихот», ловкий плут, хозяин обезьяны-прорицательницы, которая, по его словам, «ничего не сообщает касательно будущего, но только о прошлом и немного о настоящем».

Пуф – персонаж из сатирической комедии английского драматурга Р. Шеридана (1751–1816) «Критик», автор представляемой по ходу действия трагедии. Одно из главных действующих лиц этой пьесы, лорд Берли, выражает свои суждения не словами, а покачиванием головы.

«Генрих VI», ч. II – историческая хроника Шекспира.

Эпиграф взят из акта V, сц. 3.

Незадолго до революции... – Имеется в виду государственный переворот 1688–1689 гг., который в английской буржуазной историографии получил название «славной революции».

В междоусобной войне 1689 года... – Имеется в виду якобитское восстание, целью которого было вернуть престол королю Иакову II Стюарту, свергнутому переворотом 1688–1689 гг. Восстание это было подавлено.

В те дни не было царя у Израиля – выражение, заимствованное из библии и означающее отсутствие правителя в государстве.

С той поры как Иаков VI покинул Шотландию... – В 1603 г. король Шотландии Иаков VI Стюарт (1567–1625), став английским королем под именем Иакова I, покинул Шотландию и в дальнейшем жил в Англии.

Сент-Джеймский двор – двор английского короля. В Сент-Джеймском дворце в Лондоне находилась резиденция английского короля.

Бедствия, происходившие от этой системы правления, походили на несчастья, выпавшие на долю ирландских крестьян... – В результате покорения Ирландии Англией многие земли перешли в собственность английских землевладельцев, а ирландские крестьяне были превращены в арендаторов и батраков. Английские лендлорды, как правило не проживавшие в Ирландии, вскоре совершенно разорили страну и ее население.

Абу-Хасан – персонаж из арабской сказки «Сон наяву, или халиф на час», включенной в сборник сказок «Тысячи и одной ночи».

Епископальная церковь (англиканская) – английская государственная церковь, основанная в 1534 г. Генрихом VIII (1509–1547). Епископальная церковь явилась компромиссом между католической и протестантской. Глава англиканской церкви – король; управление осуществляется на основе строгой иерархии. В Шотландии со второй половины XVI в. государственной церковью была пресвитерианская. Пресвитериане отрицали церковную иерархию и власть епископов. Управление церковными делами, по мнению пресвитериан, должно осуществляться выборными старейшинами. Пресвитериане находились в оппозиции к династии Стюартов.

Партия тори, или кавалеров. – Тори – название английской политической партии, образовавшейся в 80-х гг. из противников билля 1860 г., по которому наследник престола герцог йоркский (впоследствии

– Иаков II) лишался права наследования. Сторонники этого билля назывались вигами. Среди тори многие были сторонниками низложенного Иакова II Стюарта. Кавалерами в период гражданской войны во время английской буржуазной революции (1640–1660) называли сторонников короля Карла I Стюарта.

Мастер – в Шотландии титул наследника барона или виконта.

«Уильям Белл, Клайм из Ключа и др.» – народная шотландская баллада «Адам Белл, Клайм из Ключа и Уильям Клаудсли».

У на – персонаж из аллегорической поэмы английского поэта Эдмунда Спенсера (1552–1599) «Королева фей». Уну в ее странствиях сопровождает лев, укрощенный ее добротой и душевной чистотой.

Миранда – персонаж из драмы Шекспира «Буря», дочь герцога Просперо, отправленная с ним в изгнание на необитаемый остров.

... подобно тыкке пророка, способно возрасти за одну ночь... – Как рассказывается в библии, бог вырастил за одну ночь растение, чтобы пророк Иона мог спрятаться под его тенью от солнечных лучей.

Тристрам – герой одноименного рыцарского романа XIII в., рыцарь, не имеющий себе равных в искусстве стрельбы, фехтования, верховой езды и т. д.

Спенсер. – Эпиграф взят из «Королевы фей» (кн. III, 7).

Так, в долг врагу вся жизнь моя дана? – Шекспир, «Ромео и Джульетта» (акт I, сц. Б).

Каледонские леса. – Каледония – древнее название Шотландии.

Эгерия – в римской мифологии нимфа источника, возлюбленная римского царя Йумы Помпилия.

«Молот ведьм» – название средневекового трактата о «колдовстве», одним из авторов которого был Шпренгер (жил в XVI в.).

Ремигиус (Реми Никола, 1554–1600) – французский судья, приговоривший к смерти сотни людей за «колдовство», автор трактата о «колдовстве».

Битва при Флоддене – сражение между англичанами и шотландцами 9 сентября 1513 г., в котором шотландцы потерпели жестокое поражение. В этой битве были убиты многие знатные дво-

ряне и сам король Шотландии Иаков IV... так же пагубно, как, для Грэма надеть зеленую одежду, для Брюса убить паука или для Сен-Клера переправиться через реку Орд в понедельник. – Имеются в виду старинные шотландские народные предания, в том числе и легенда о том, что паук предсказал шотландскому национальному герою Роберту Брюсу (1274–1329), впоследствии королю Шотландии Роберту I, победу над англичанами; с тех пор в роде Брюсов пауки считаются неприкосновенными.

Генри Макензи (1745–1831) – шотландский писатель и драматург.

Ирландская бригада. – В XVIII в, при дворах многих европейских королей существовали военные отряды, сформированные из ирландцев, эмигрировавших из родной страны после подавления восстаний середины и конца XVII в.

Сен-Жермен – замок близ Парижа, который французский король предоставил Иакову II Стюарту после его изгнания из Англии в 1688 г. Иаков II, а затем его сын Иаков Эдуард, шевалье Сен-Жорж (1688–1766), неоднократно предпринимали попытки вернуть себе престол. Вербуя сторонников, они использовали антианглийские настроения в Шотландии, особенно сильные в среде жителей Верхней Шотландии, пытавшихся противостоять ломке патриархально-родовых отношений, которая усиливалась и ускорялась под давлением Англии. Приверженцев низложенного короля и его сына называли якобитами.

... я вышел бы в «Александре»... – Речь идет о трагедии «Царицы-соперницы, или Смерть Александра Великого» английского драматурга Натаниеля Ли (1653–1692). Далее приводятся строки из акта IV, сц. 2 этой трагедии.

Оссиан. – Имеются в виду «Сочинения Оссиана» шотландского поэта Джеймса Макферсона (1736–1796), выдавшего свою обработку древних кельтских легенд за поэзию Оссиана, легендарного кельтского героя и певца, жившего, по преданию, в III в.

Английский богослов. – Имеется в виду Джордж Херберт (1593–1633), богослов и поэт.

.., семь эфесских отроков проснулись бы... – Как рассказывается в одной из ранних христианских легенд, семь юношей-христиан из Эфеса скрылись от преследований в пещере и были там замурованы. Проспав двести тридцать лет, они вышли из пещеры живыми и невредимыми.

Виги – английская политическая партия. В описываемый период партия вигов находилась у власти.

Бас – скала на берегу Северного моря в Восточном Лотиане (Шотландия).

Норт-Берик – возвышенность в Восточном Лотиане.

Уэстминстер-холл – старинный зал в здании Уэстминстерского дворца в Лондоне, где помещается английский парламент.

Заговор Гаури. – В 1600 г, граф Джон Рутвен Гаури и его брат Александр были зверски убиты в собственном замке во время пребывания там шотландского короля Иакова VI (1567–1625). По официальной версии, братья Гаури пытались напасть на короля, и он убил их, защищая свою жизнь.

Линн – герой шотландской баллады «Наследник Лини», включенной Томасом Перси (1729–1811) в сборник «Образцы древней английской поэзии». Это история о промотавшемся сыне лорда Линна, которому случай помогает снова стать богатым и вернуть себе утраченное поместье.

Граф Ангюс Арчибалд Дуглас (1489–1557) – отчим шотландского короля Иакова V (1513–1542), захвативший власть до его совершеннолетия. Впоследствии Ангюс был обвинен в государственной измене и бежал из Шотландии, куда возвратился только после смерти короля.

Высокая церковь – одно из течений в англиканской церкви в XVIII в. Священники, принадлежавшие к Высокой церкви, отстаивали догматы, близкие к католицизму. Многие из них были тесно связаны с партией тори и принимали участие в политических интригах и борьбе за власть.

Баллантайн Джон (1774–1821) – издатель и книгопродавец, печатавший произведения Вальтера Скотта.

Карл I Стюарт (1625–1649) – король Англии и Шотландии, казненный во время английской буржуазной революции.

Карл II Стюарт.

Иаков II Стюарт – король Англии и Шотландии с 1685 по 1688 г.

Круглоголовые – кличка, которой в период английской буржуазной революции приверженцы короля окрестили сторонников парламента, вступивших с ним в борьбу. Кличка эта указывала на связь последних с простым народом, который, в отличие от джентльменов, носивших локоны до плеч, стриг волосы. В свою очередь, противники короля называли его приверженцев кавалерами. Бакло называет круглоголовыми шотландских пресвитериан.

Клеверхауз Джон Грэм, виконт Данди (1649–1689) – английский военный деятель, ревностный приверженец династии Стюартов. В 1679 г, принимал участие в подавлении восстания шотландских пресвитериан (см. роман «Пуритане»). Необычайная жестокость Клеверхауза стяжала ему в народе прозвище Кровавый.

«Эсуолд» – пьеса шотландской поэтессы и драматурга Джоанны Бейли (1762–1851).

Джон Драйден (1631–1700) – крупнейший английский поэт, драматург и критик периода Реставрации, сторонник Стюартов.

... если бы ее величеству стало известно... – В описываемый период Англией управляла королева Анна Стюарт (1702–1714).

Певец «Надежды». – Речь идет о шотландском поэте Томасе Кэмбеле (1777–1844), авторе поэмы «Утехи надежды». Ниже следует отрывок из его стихотворения «Строчки, написанные при посещении Аргайлшира».

Колридж Сэмюел (1772–1834) – английский поэт.

День св. Мартина – 11 ноября; к этому дню, согласно парламентским актам 1690 и 1693 гг., приурочивалась выплата налогов и податей, & также производились все расчеты с наемными работниками.

Ахал – верный товарищ и спутник троянского героя Эаея ее всех его странствиях, о которых рассказывается в поэме древнеримского поэта Вергилия (70–19 до и, э) «Энеида».

«Паломничество любви» – пьеса английских драматургов Ф. Бомонта (1584–1616) и Д. Флетчера (1579–1625).

Эпиграф взят из акта II, сц. 4.

Генриетта Мария (1609–1666) – английская королева (1625–1642), жена Карла I Стюарта.

Чосер Джеффри (1340–1400) – великий английский поэт, основоположник национальной английской литературы.

Наиболее известны его «Кентерберийские рассказы», в которые входит и «Рассказ пристава церковного суда».

Бери Эдмунд (1729–1797) – английский политический деятель и публицист.

Форт – река в восточной Шотландии, разделяющая страну на северную, горную часть (Верхняя Шотландия) и южную (Нижняя Шотландия), В горной Шотландии в начале XVIII в сохранились еще патриархальные отношения, при которых глава родовой общины (клана) был полновластным хозяином имущества и жизни ее членов, творившим суд и расправу по собственному усмотрению.

Красные мундиры – прозвище, данное народам английским солдатам, так как их форма была красного цвета.

... его Перу и Эльдорадо. – Эльдорадо – несуществующая страна, будто бы богатая золотом и драгоценными камнями».

В Перу, как известно, были значительные запасы золота и серебра.

«Ум, без гроша» – пьеса английского драматурга Д. Флетчера, эпиграф взят из акта I, сц. 1.

... сражавшемуся против святых защитников веры при Босуэл-бридже... – При Босуэл-бридже 22 июня 1679 г, произошло решающее сражение между восставшими пресвитерианами и правительственными войсками, в котором повстанцы были разбиты. Поражение восстания сопровождалось жестокими расправами с пресвитерианами. Сражение при Босуэл-бридже описана в романе Вальтера Скотта «Пуритане».

«Новый способ платить старые долги» – пьеса Ф. Мессинджера (1583–1640). Эпиграф взят из акта III, сд. 3.

Норгхемптон Генри Говард (1540–1614) – государственный деятель и придворный королевы Елизаветы I, а затем короля Иакова I, известный своей беспринципностью.



«Акт соединения королевств» – договор 1707 г., по которому Шотландия вошла в состав Союзного королевства Великобритании.

Фордун Джон (ум. 1384) – шотландский летописец, автор первой истории Шотландии, доведенной до 1153 г.

Мемфивосфей – персонаж из Библии. Увечный сын Ионафана, друга древнееврейского царя Давида, Мемфивосфей после смерти отца пользовался милостями царя Давида и жил при его дворе.

Сара Дженнингс, герцогиня Марлборо (1660–1744) – придворная дама королевы Анны, жена английского полководца и политического деятеля Джона Черчила, герцога Марлборо (1650–1722). Подруга детских лет, а впоследствии фаворитка королевы, Сара Марлборо оказывала значительное влияние на государственные дела.

«Требование прав» – декларация, принятая шотландским парламентом в 1689 г., вслед за аналогичной «Декларацией прав», предъявленной английским парламентом Марии и Вильгельму Оранским перед их вступлением на английский престол. «Декларация прав» ограничивала власть короля и расширяла права английского парламента. «Требование прав» расширяло права шотландского парламента.

«Король и Не-король» – пьеса Ф. Бомонта и Д. Флетчера Эпиграф взят из акта III, сц. 1.

Мерк – старинная шотландская монета, равная 13 шиллингам 4 пенсам.

Кодекс Юстиниана – свод законов римского права, составленный византийским императором Юстинианом (527–565).

Претендент – Иаков Эдуард Стюарт.

«Французская куртизанка». – Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Томас Стихотворец (между 1220–1290) – легендарный шотландский поэт, прославившийся у современников как Пророк и прорицатель.

... приходи, ты из другой семьи. – Шекспир, «Как вам это понравится» (акт 1, сц. 2).

Король Вильгельм и королева Мария – король и королева Англии с 1689 г., царствовавшие: Вильгельм III – до 1702 г., а Мария – до 1694 г.

Томас Хоуп (ум. 1646) – крупнейший шотландский юрист.

Стэр.

Ван-Остаде Адриан (1610–1685) – голландский художник, основоположник крестьянского жанра в голландской живописи.

«Потеряла свинья жемчужину». – Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Хэддингтон – город в восточной Шотландии, административный центр графства Восточный Лотиан.

Вордсворт Уильям (1770–1850) – английский поэт-романтик. Эпиграф взят из «Стихов о названии местностей».

... вороны находятся под особым покровительством лордов Рэвенсвудов... – По-английски имя Рэвенсвуд («Ravenswood») означает «вороний лес».

«Новый способ платить старые долги.» – пьеса Ф. Мессинджера. Эпиграф взят из акта III, сц. 2.

Лоу Джон (1671–1729) – шотландец по происхождению, с 1719 г. – генеральный контролер финансов Франции.

Введенная им финансовая система, основанная на выпуске необеспеченных государственных банкнот, привела в 1720 г. к государственному банкротству. Деятельность Лоу относится к периоду более позднему, чем время действия романа «Ламмермурская невеста».

Король Иаков. – Речь идет о претенденте на английский престол Иакове Эдуарде Стюарте, шевалье Сен-Жорже.

Иерихон – древний город в Палестине, упоминаемый в Библии.

Пресвитер Иоанн – властитель легендарного христианского государства в Средней Азии.

Джон Черчил, герцог Марлборо (1650–1722) – английский полководец и государственный деятель, командовавший английскими войсками в войне за испанское наследство (1701–1714), которая велась Англией в союзе с некоторыми другими государствами против Франции.

Данди Клеверхауз Джон.

Берик Джеймс (1670–1734) – побочный сын английского короля Иакова II, получивший французское гражданство и звание французского маршала. В войне за испанское наследство сражался на стороне Франции. «Герцог против герцога». – Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Дон Гайферос – герой цикла старинных испанских романсов о Гайферосе и Мелисанде.

«Свет помешался, господа» – комедия Томаса Мидлтона (1570–1627).

... никогда зеленые и голубые колесницы не возбуждали такого волнения в цирках Рима или Константинополя... – Состязание колесниц было одним из самых популярных развлечений в древнем Риме и Византии. В Византии соперник чающие партии выставляли свои колесницы, возницы которых были одеты в различные цвета – белый, красный, зеленый и голубой. Партии голубых и зеленых были главными соперниками, и состязания между их колесницами вызывали бурную реакцию зрителей.

Гай из Уорика – герой одноименного стихотворного романа (XIII в.), повествующего о его многочисленных подвигах и рыцарских доблестях.

Уоллер Эдмунд (1606–1687) – английский поэт.

... облечь тело в... шерстяной саван. – При Карле II В целях увеличения спроса на шерстяные изделия был принят закон, по которому разрешалось хоронить мертвых только в шерстяных саванах.

«Андреа Феррара» – палаш или меч, изготовленный итальянским оружейником Андреа Феррара и клейменный его именем. Оружие это высоко ценилось в Англии и Шотландии XVI–XVII вв.

«Килликрэнки» – народная песня, посвященная битве при Килликрэнки (1689), в которой шотландские горцы, выступившие на стороне низложенного короля Иакова II Стюарта, одержали победу над английскими войсками.

Дарьенское дело. – В 1698 г. Шотландия пыталась осуществить колонизацию Дарьена, района в восточной части Панамского перешейка, в надежде извлечь из захвата Дарьена значительные финансовые выгоды. Предприятие это окончилось полным провалом, большинство колонистов погибло.

... так называемый король Уилли... – Речь идет о короле Вильгельме III Оранском (1688–1702).

Галавт – небольшое парусное судно.

Кэмбел. – Эпиграф взят из поэмы «Предостережение Лохиеля».

Шалон – шерстяная ткань, сотканная из глянцевитой (камвольной) пряжи.

Старинная пьеса. – Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

... политический переворот совершился, и тори... пришли к власти.

– Речь идет о смене кабинета министров, происшедшей в 1710 г, в результате победы, одержанной партией тори на парламентских выборах.

Харли Роберт, граф Оксфордский (1661–1724) – английский государственный деятель. Сторонник партии тори, Харли сочувствовал Стюартам и впоследствии был уличен в переписке с Иаковом Эдуардом, претендентом на английский престол.

Кэнонгейт – район Эдинбурга.

... видеть нечестивца грозного, расширившегося... и вот нет его...

– цитата из библии (Псалтырь, псалом XXXVI, 35–36).

«Ричард III» – Шекспир, эпиграф взят из акта I, сц. 2.

«Комедия ошибок» – Шекспир, эпиграф взят из акта V, сц. 1.

Поколет – персонаж из рыцарского романа «Валентин и Орсон» (XIV в.), карлик, владевший волшебным деревянным конем, мгновенно переносившим его в любое место.

«Комедия ошибок» – Шекспир, эпиграф взят из акта V, сц. 1.

... выбирал себе жену, как искатели руки Порции – шкатулку... – По завещанию отца богатая наследница Порция – персонаж из комедии Шекспира «Венецианский купец» – должна была стать женой того, кто выберет тот из трех закрытых ларчиков – золотого, серебряного и железного, – в котором находился ее портрет.

Стюарты – королевская династия, правившая в Шотландии с 1371 г, и в Англии – с 1603 г, по 1648 г, и с 1660 г. по 1714 г.

... вбежал... в комнату, размахивая ивовой ветвью... – Ивовая ветвь считается в Англии символом отвергнутой любви.

«Королева фей» – поэма Э. Спенсера. Эпиграф взят из кн. III, 7.

Подобие Калибану, она уверяла, что ей помогает безвредная фея. – Калибан – персонаж из драмы Шекспира «Буря».

Здесь имеются в виду слова, обращенные к Калибану дворецким Стефано: «Однако, чудовище, твоя фея – хоть ты и говоришь, что это безвредная фея, – сыграла с нами штуку почище блуждающего огонька» (акт IV, сц. 1).

... союз моавитянского пришельца с дочерью Сианя. – Моавитяне – упоминаемый в Библии народ, враждовавший с древними евреями. В Библии евреи называются сынами Сиона, по названию горы в Иерусалиме.

Кампвер – порт в Голландии.

Крабб Джордж (1754–1832) – английский поэт.

Эпиграф взят из поэмы «Приходские списки» (ч. II).

Талаба («Талаба-разрушитель») – поэма английского поэта-романтика Р. Саути (1774–1843).

Уильям Уоллес.

Амфитрион, у которого обедают... – фраз» из комедии Мольера «Амфитрион» (1688). Полностью она читается так: «Настоящий Амфитрион – Амфитрион, у которого обедают».

Имя Амфитриона стало нарицательным для обозначения радушного хозяина.

М. ШЕРЕШЕВСКАЯ